

МАРТ

19 6 6

3

В НОМЕРЕ

0 ПРОЗА

ЮРИИ ПОЛУХИН. По ту сторону добра. 1Л

Повесть.....

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Три рассказа: Лошадь дяди Кязыма. Время счастья. ливых находок. Дом в переулке . . чв

БОРИС ЛАСКИН. В гостях у дяди Коли 99 # ПОЭЗИЯ

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. Дума о Съезде. ИННА КАШЕЖЕВА. Верю! ЛЕВ ТИМО-Э я ФЕЕВ. Судьбы3-*

УЛУРО АДО. «О, если б моему стиху...». Сопка. Озеро. «Сопка спит, под снегом дышит...». «Как в собственную душу...»

(Перевод с юкагирского ял Г. Плисецкого).....

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Проблема преподавания. «Суббота — в девятнадцать лет!...». «Не торопись трещать, будильник...».- «Безлюдный берег Западной Камчатки...». «Канавы надо было вырыть летом...». Сон в океане. Баллада я* о верблюде-рыболове.....

АЛЕКСАНДР ДМОХОВСКИЙ. «Остаются мгновенья».

НИКОЛАИ СТАРШИНОВ. «Я, как грач, хлопотлив и черен...». «Вся даль уже про- я я свечена...». Весенний разговор . .

ВЛАДИМИР КОСТРОВ. Заполярный райком. ОЛЕГ ДМИТРИЕВ. Большевик. На- лг чало нэпа. -'УНЛrjfl

СВЕТЛАНА СОЛОЖЕНКИНА. Раздумье. • * ' Есть тихий дом... Наставления.

ЮРИИ КУКСОВ. Андромеда. «Как страшно г г оступиться в тишине...»..... «»Э

Алла КОРКИНА. «И белый снег, и белый сад...». ТАМАРА ШЕВЕЛЕВА. «Когда дневная четкость схлынет...». ЮЛИАНА КОЛЕСНИКОВА. «В настоящем грядущем живешь...». «Я тебя поня- *?. ла. Ты скромный...»..... "О

ФПУБЛИЦИСТИКА

С. ГЕРШБЕРГ. Весна. Пятилетка. Юность. 5

МИХАИЛ ШУР. Еще шестнадцать мальчи- iT ков..... °*

В. ЗАХАРЬКО, В. МАРТЫНОВ. Завод от- у я правился в разведку..... *Щ

РАДИИ КУШНИРОВ. На деревне расста- ОС вания поют..... oі

ЩРАССКАЗЫ О ПРОФЕССИЯХ

ПАВЕЛ ВОЛИН. Нескончаемая эстафета 81

•ИЗ ПРОШЛОГО

Е. ВАТОВА. Болшевская трудовая комму- пя на и ее организатор..... '*

А, ПОГРЕБИНСКАЯ. Незабываемые ветре- «5 чи..... тл

% СРЕДИ КНИГ

СТАНИСЛАВ ЛЕСНЕВСКИЙ. Силуэты вре- уп мени.....

©НАШ ФЕЛЬЕТОН

3. ПАПЕРНЫЙ. Уважайте труд художни- gt

ков!..... ~в
О К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ
7ГР. АНИСИМОВ. Живая палитра Москвы 64
ф ЗАМЕТКИ .п4
И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ «U1
®СПОРТ
ИНГА ВОРОНИНА (АРТАМОНОВА). «...Я ЯПС
учусь ходить по земле»..... IVJ
фПЫЛЕСОС
ГР. ГОРИН. Почему повязка на ноге?
112

На 1-й, 2-й и 4-й страницах обложки рисунки Э. АРЦРУНЯНА. Портреты Юрия Полухина (стр. 10) и Фазиля Искандера (стр. 46) работы В. КРАСНОВСКОГО.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. З я О к и н а.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского. 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются

А 10558. Подп. к печати 17/Ш 1966 г. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 566. Заказ Л» 261.

Формат бумаги 84x108'/is. Бум. л. 3,68. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина, Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Андрей Дементьев

Дума о Съезде

Товарищ Съезд!

Тебя мы открывали

Сперва в себе, вначале в каждом сердце...

А уж потом тебя откроют в зале

Ровесники, отцы, единоверцы.

Над судьбами людей твои призывы.

Ты в нас вошел, как входит утро в дом.

Мы в эти дни по-новому красивы

И мыслями, и сердцем, и трудом.

Мы знаем — впереди работы много.

Огромен путь от цифр до торжества:

Сойдешь с трибуны — и опять в дорогу —

В рубли и в тонны обращать слова.

Я о твоём величии сужу

По именам, что нас в Кремле представят,

По каждому жилому этажу,

По новым ценам и по новой стали.

И по улыбкам старых матерей,

И по мальчишкам, что родятся завтра,

И по тому, как с каждым днем добрей

Глядят на звезды наши космонавты.

На наше время всем работы хватит.

Гак засучим, товарищ, рукава!

И Ленин, как почетный председатель,

Дает нам на Грядущее права.

Инна Кашежева

Верю!

Как тебя мне, ровесник, встретить!
Перед Будущим мы стоим.
Рапортую тебе, Двадцать Третий,
Двадцать третьим годом своим.
Я за все поколение ратую,
За страной рапортуя вслед,
Верой — самым великим
рапортом —
Я тебе рапортую, Съезд!
Верю в силу партийной правды,
Верю делу, а не словам,
Верю! Если сыны твои.
Партия,
Умирали, тебе не солгав,
Не бравируя фразой помпезной,
А собой утверждая тебя...
Верю жизнью своей,
поэзией,
Всем наследием Октября!
Знает каждое поколение,
Даже то, что еще растет,
Что живыми устами Ленина
Говорит мой родной народ.
Быть не может пути иного,
Оттого мы были и есть.
И теперь за тобою слово,
За тобой и за нами. Съезд!

Лев Тимофеев

Судьбы

Судьбы начинаются с минут.
Люди поднимаются с рассветом.
Завтракают. Тянутся к газетам.
Мягко в пальцах сигареты мнут.
Но уже за первой же строкой
лист газетный выгнут, словно парус.
Окна настезь. Тишина распалась.
Светлый день восходит над страной.
Выверен, рассчитан до минуты,
этот день на судьбы разделен.
Если взять трамвайные маршруты,
то и тех, должно быть, миллион.
Ну а судеб сколько самых разных,
скромных судеб, робких, дерзновенных!
Разве их охватишь взглядом, разве

на вопрос ответишь достоверно!
Учатся, работают, мечтают,
ждут свиданий, строят, хлеб пекут,
чинят обувь, жнут, стихи читают,
варят сталь и газировку пьют.
Создана ли формула для счастья!
Если да, то в ней наверняка
мирный труд, в судьбе страны участие
и любимой теплая рука.
Время из абстрактных категорий
переходит в каждодневный быт:
время — мыслить, создавать, любить...
Время — вспоминать бывшее горе.
Память, память, кто тебя остудит!
Это Время нелегко досталось:
сколько их, солдатских горьких судеб,
общую могилу побраталось!
Но судьба продолжена судьбою,
и едва оглянешься назад,
как встает в одном строю с тобою
недоживший до тебя солдат.
Миллионы судеб, миллионы.
Космонавты, пахари, ткачи,
циркачи, доярки, почтальоны,
песенники, детские врачи.
Где машина для подсчета судеб!
Если бы такая и была,
как сочтешь к исходу каждых суток
каждым совершенные дела!
Нет нужды в подобном аппарате.
И хотя разнообразна жизнь,
судьбы все слагаются в понятия:
Партия,
Народ
и Ленинизм.

С. Гершберг,
кандидат исторических наук

Весна.

Пятилетка.

Юность.

В конце марта, ранней весной, в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, собирается Двадцать третий съезд Коммунистической партии Советского Союза.

Большинство съездов нашей партии происходило весной... И самый первый, в деревянном домике на окраине Минска, — Первый съезд РСДРП, когда сознательное рабочее движение в России еще переживало период своего младенчества. И Третий, в Лондоне, когда большевистская партия стала мужать. И Четвертый, в Стокгольме, и Пятый,

снова в Лондоне, где в борьбе с меньшевизмом оттачивалось оружие ленинской стратегии и тактики большевизма...

После Октября пять съездов подряд ежегодно открывались в марте: Седьмой, Восьмой, Девятый, Десятый, Одиннадцатый.

На Седьмом, в Петрограде, в марте восемнадцатого, В. И. Ленин выступил 16 раз (шестнадцать раз!). Он сделал доклады о войне и мире (политический отчет ЦК) и о пересмотре Программы 1 изменении названия партии. Война или мир? По сути, это был вопрос «быть или не быть». Съезд решил его по-ленински, осудил противников заключения Брестского мира. По предложению Ленина РСДРП(б) была переименована в Коммунистическую партию.

В марте девятнадцатого года Восьмой съезд, как и все последующие, происходил в Москве. В. И. Ленин выступил с докладами — отчет ЦК, Программа РКП(б), работа в деревне. Этот съезд вошел в историю принятием второй Программы партии.

Девятый открылся в марте 1920 года. Гражданская война шла к концу, но экономическое положение Советской России было как никогда угрожающим. Выплавка чугуна составляла всего лишь три процента от довоенного уровня. В промышленности царила разруха. «Положение с железнодорожным транспортом совсем катастрофично», — говорилось в письме Ленина членам Совета Обороны. «Россия во мгле», — так писал Герберт Уэллс... А Ленин на съезде партии выдвигает вопрос о едином хозяйственном плане, рассчитанном на ближайшую историческую эпоху. Его взор проникает сквозь мглу разрухи, он видит Россию, залитую огнями электричества, Россию домен, угольных копров и нефтяных вышек.

Десятый съезд, состоявшийся в марте 1921 года, принимает по докладу В. И. Левина решение о переходе от политики военного коммунизма к новой экономической политике. После Брестского мира это второй поворот в стратегии и тактике партии после завоевания власти. Только ленинский гений мог с полного хода перевести локомотив революции на новые рельсы.

1922 год. Одиннадцатый съезд партии, последний съезд, которым непосредственно руководит Ильич. Последний отчет ЦК, сделанный Лениным 27 марта. Последние слова с трибуны партийного съезда...

В. И. Ленин анализирует итоги первого года нэпа, оставляя партии в наследство величайший образец политической прозорливости, большевистской трезвости и революционной деловитости. Нэп был, по выражению Ленина, «экзаменом соревнования», «соревнования и состязания» с частным капиталом внутри страны на умение хозяйничать, торговать, вести дело. «Практически нужно доказать, что ты работаешь не хуже капиталистов», — внушал Ленин.

Именно на этом съезде Ленин утверждал: «Мы с самого начала говорили, что нам приходится делать непомерно новое дело... Если не два, а даже много раз придется переделывать все сначала, то это покажет, что мы без предрассудков, трезвыми глазами подходим к нашей величайшей в мире задаче».

Именно на этом съезде Ленин говорил: «Нам очень много приходится слышать, мне особенно по должности, сладенького коммунистического вранья, «комвранья», кажинный день, и тошнехонько от этого бывает иногда убийственно».

И еще сказал Ленин — и это звучит как политическое завещание:

«Мы пришли к тому, что гвоздь положения — в людях, в подборе людей». «...Гвоздь всего положения не в резолюциях, не в учреждениях, не в переорганизации. Поскольку они нам необходимы, это делать мы будем, но не суйтесь с этим к народу, а подбирайте нужных людей и проверяйте практическое исполнение, — и это народ оценит».

Разумеется, не временем года определяется значение партийного съезда. Летом 1903 года происходил Второй съезд, положивший основание большевизму.

Летом 1917 года Шестой съезд нацелил партию на вооруженное восстание. В декабре двадцать пятого Четырнадцатый съезд провозгласил курс на индустриализацию, а в декабре

двадцать седьмого Пятнадцатый съезд дал лозунг коллективизации. В феврале 1956 года состоялся переломный Двадцатый съезд партии, оставивший глубокий след во всей нашей жизни... Съезд, от которого мы ведем большой счет ленинских дел, воплощенных в семилетнем плане, принятом Двадцать первым съездом, и Программе коммунизма, принятой на Двадцать втором.

Нет, не случаен мой экскурс в хронологию партийных съездов, — они высечены на скрижалях истории, как вехи великого пути.

Двадцать третий съезд КПСС выступит как наследник всего исторического опыта ленинизма, проверенного революциями, войнами и пятилетками. Он поставит новую веху на трассе коммунизма.

Большинство съездов нашей партии собиралось весной... Конечно, здесь аналогия случая. Но это совпадение мне хочется видеть счастливым. Весна, все выше поднимается солнце, оживает природа, земля жаждет посева...

Вспомним же еще одну весну! Тоже ярко светило нам солнце, когда впервые Советский Союз принимал свою пятилетку.

То был апрель 1929 года. В Андреевском зале московского Кремля собралась XVI Всесоюзная партийная конференция. Мы стояли у нового рубежа. Россия нэповская, как и предвидел Ленин, становилась Россией социалистической. Зажили раны гражданской войны и иностранной интервенции. Дореволюционный промышленный уровень в целом был превзойден. Но разве достигнутый уровень был в рост революции?

Советский Союз все еще стоял на шестом месте в мире по выплавке чугуна, на пятом по добыче угля. Деревня представляла собой океан мелких и мельчайших единоличных хозяйств. Три четверти полевых работ производилось вручную. Почти четверть розничного товарооборота принадлежала частной торговле. Миллион безработных на биржах труда. 18 миллионов неграмотных взрослых людей и подростков.

XVI Всесоюзная партконференция приняла резолюцию о первом пятилетнем плане. Тогда радио было редкостью, и мы с нетерпением ждали газет. Читали их вслух на заводах, в деревнях, в школах.

— Промышленность должна возрасти в 2,8 раза!

— Чугун — утроение, 10 миллионов тонн к концу пятилетки. С шестого на четвертое место в мире...

— Уголь — с пятого места на четвертое. Особенно сильно звучали слова с окончанием на «строй».

— 42 районных электроцентрали построим. Среди них Днепрострой, Свирьстрой, Зуевстрой, Бобрикстрой...

— Магнитострой, Кузнецкстрой, Криворожстрой, Нижегородавтострой, Харьковтракторострой, Ростсельмашстрой...

Принципиальное значение имел не только гигантский объем пятилетки, но и сам факт разработки впервые в человеческой истории плана, рассчитанного на несколько лет и притом в масштабе шестой части земного шара. Глеб Максимилианович Кржижановский в докладе о пятилетке говорил, что рискнуть выступить с планом на пять лет — дело очень трудное, и на это могли пойти только марксисты, владеющие орудием научного познания.

На Всесоюзной партийной конференции при обсуждении пятилетки сильно прозвучал и голос ленинского комсомола. Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев поставил вопрос о подготовке кадров индустриализации. Пятилетка требовала 1 миллиона 300 тысяч квалифицированных рабочих. Шел тогда спор — как лучше их готовить. Комсомол выступил против метода кратковременного «натаскивания» молодых рабочих и вел борьбу за школу ФЗУ, где юношество обретало не только профессию, но и общее образование. То шла борьба за новый тип рабочего. Косарев говорил о диспропорций между совершенством устанавливаемого нового оборудования и недостаточной технической культурой рабочего («Это грозная опасность»), а потому комсомол против «дрессированных» кадров, которым прививаются лишь производственные навыки. «Нам

нужно, — сказал Косарев, — поколение строителей, которое было бы носителем технической революции...»

Комсомол предлагал увеличить ассигнования на школы ФЗУ. Расходы окупятся воспитанием рабочих, сознательной дисциплиной.

Тогда очень острой была проблема прогулов. Подсчеты показывали, что за один 1928 год прогулы обошлись в 300 миллионов. Косарев сказал:

«Промышленность СССР за 1928 год прогуляла триста миллионов рублей, целых два Днепростроя...»

Перед окончанием партийной конференции на трибуну поднялся Валериан Владимирович Куйбышев. Он сказал о том, что повсюду и везде — на шахтах, фабриках и заводах — разлилась волна соревнования, что движение это должно всколыхнуть всех, и «все наши организации должны слиться с колоннами рабочих, идущими за дисциплину, за коммунистический труд...». И он прочитал проект «Обращения ко всем рабочим и трудящимся крестьянам Советского Союза», единодушно принятого конференцией. В Обращении партия высоко оценила почин комсомола в развертывании социалистического соревнования.

Наступил момент закрытия конференции.

«Нами обсужден и утвержден пятилетний план социалистического строительства. Товарищи! Это — величайшее счастье, выпавшее на долю революционеров», — воскликнул председательствовавший Михаил Иванович Калинин.

Какое же счастье выпало на долю тех, кто претворял планы в действительность!

*

В 1929 году я, молодой журналист, работал в Керчи, в Крыму, где тогда — еще до Магнитки — строился первый в СССР новый металлургический завод. Когда я ехал в Крым, то представлял себе землю обетованную, родину сказок, благодатный берег, омываемый теплыми водами Черного моря, блаженный край винограда и яблок, кипарисы, лунные ночи, Бахчисарайский фонтан... Как писал Маяковский:

Хожу,
гляжу в окно ли Я —
цветы
да небо синее,
то в нос тебе
магнолия,
то в глаз тебе
глициния.

Таким действительно был и остается южный Крым. Керчь же — на севере полуострова. Она оказалась городом норд-остов, суровой зимы и пыльного лета, городом в рыжей, сухой степи. Но именно здесь, на плоских, каменистых берегах Керченского пролива, было открыто одно из крупнейших на земле месторождений железных руд, и им нужно было овладеть. Город рыбаков — ловцов знаменитой керченской сельди — должен был стать столицей самой южной тогда в СССР металлургии.

Еще стояла в лесах первая домна, едва намечались контуры других цехов, а мы называли уже свой завод «красавицей Юга». Мы еще видели только во сне, как в гигантских конвертерах варится сталь и мириады ослепительных искр поднимаются к небу, а говорили уже о керченских рельсах, которые будут проложены от Черного до Белого моря. Рассказы о будущих плавках звучали, как песня. Мы жили мечтой.

Сочетайте революционную мечту с революционным делом! — звала в те дни «Комсомольская правда». «Пятилетний план строительства — вот революционные

мечтания, которые воплощаются в действие нашей волей, нашими руками», — писала газета.

Керченский завод строили молодые, быть может, эта стройка явилась опытным полем комсомола.

Не забыть суровую зиму, когда стояли тридцатиградусные морозы, которых не помнили в здешних местах. С моря набежал острый сырой ветер — он замерзал на лету и хлестал колючей ледяной дробью. Наступал жестокий норд-ост, а за ним ураган, валивший телеграфные столбы. Замело дороги, улицы, остановилось движение. На заводе тревожно гудели паровозы и выли сирены: прекращай работу!

А в это время на высоте бригада Марченко собирала коксовый бункер. Еще выше, на газопроводах, работала бригада Ельченко. Смельчаки привязали себя к мосткам, которые ветер раскачивал, как люльки. Руки примерзали к железу. Мы кричали им снизу: «Майна!» (вниз!) Они отшучивались: «Вира!» (вверх!).

Перед пуском домны № 1 нужно было очистить тоннель отходящей воды. Он был забит глыбами застывших шлаков и строительным мусором. Через каждые несколько минут полутораметровый тоннель заполнялся отработанным паром котла из соседнего цеха. Условия работы сложились невыносимо тяжелые. Восемьдесят человек перебивало в тоннеле и оставляло его обессиленными. И тогда комсомолец землекоп Алеша Карамазов собрал комсомольское собрание и объявил набор добровольцев. У входа в тоннель кто-то написал мелом на щите: «Победа или бесчестье». Шестнадцать комсомольцев десять суток работали по колено в воде, задыхаясь в парах, но выполнили добровольно взятое на себя обязательство раньше намеченного срока. Бригада Карамазова была объявлена первой ударной на керченской стройке.

Под шапкой «Революция зовет нас на новый подвиг труда» «Комсомолка» напечатала заявление молодого рабочего в дирекцию Люберецкого завода:

«Прошу вас снизить расценки с гаек М-152, так как в них очень большой установлен расценки — 15 коп. 100 штук. Прошу поставить на них 9 коп., так как при работе они нарезаются больше и легче всех гаек.

Зеленов».

Как только керчане узнали о письме Зеленова, в почте нашей заводской газеты «Домна» появились десятки писем молодых рабочих с просьбами снизить расценки, повысить норму.

Бригада автогенщиков на строительстве коксовых печей явилась к мастеру:

— Мы подсчитали, что при рационализации работ можно нам снизить на каждом дюйме по одной копейке... В месяц экономии — триста рублей...

Группа слесарей подала в профбюро механического цеха заявление о самовольном снижении расценки на 15 — 20 процентов. Посыпались заявления об отказе от получения денег за сверхурочную работу. Предложения бесплатно обучать новичков. Вызовы на участие в субботниках и воскресниках. Всякий новый почин вызывал цепную реакцию добрых дел. У меня сохранился текст одного документа.

«В бюро ячейки доменного цеха. От рабочих газоочистки 4-х бригад доменного цеха.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, рабочие первой, второй, третьей и четвертой бригады сухой газоочистки, ремонтная бригада, совместно с заведывающим газоочисткой в количестве девятнадцати человек, со второго марта 1930 года объявляем себя коммунистической бригадой и просим ячейку ВКП(б) доменного цеха принять нас в ряды Ленинской коммунистической партии... Торжественно обещаем: ни одного прогула, ни одного хозяйственного прорыва, коммунистическое сознательное отношение к труду... В течение трех месяцев полностью ликвидировать политическую неграмотность всех членов бригады... В ближайшие три месяца довести себестоимость одного кубического метра газа до 35 копеек... На основе

этого просим бюро ячейки утвердить нас коммунистической бригадой и назвать нас именем первой пятилетки в четыре года».

Группа комсомольцев организовала дом-коммуну. Члены коммуны сдавали свои продовольственные и промтоварные карточки, приносили получку, оставляя себе только на мелкие расходы; общее собрание решало, кому купить косоворотку, кому туфли. Несмотря на скудные заработки, еще шефствовали над колхозом и детским домом, покупали подшефным сладости и книжки.

И не пищали!

Вспоминая сегодня события тридцатых годов, я спрашиваю: разве письмо Зеленова, рабочего из Люберец, разве подвиг бригад Карамазова, Ельченко, Марченко, примеры отваги рабочего юношества не есть один из истоков, откуда взяла начало бурная река сегодняшнего движения за коммунистический труд?

Комсомольцы называли пятилетку «пятилеткой юных». Они говорили тогда на своих собраниях:

— Кто не успел по возрасту проявить себя в гражданской войне — иди на фронт пятилетки!

И шли. В горы Урала и Кавказа, в тайгу Сибири, в пустыни и полупустыни Средней Азии. Шли в не доношенных отцами шинелях и сапогах, а то и в лаптях.

Первая пятилетка принадлежит истории, но слава ее неувядаема. Мы осуществили несколько пятилеток — и довоенных и послевоенных, но та была первой, проложенной следопытами нового мира. Она подвела прочный фундамент под здание социализма. Она создала стеновой хребет индустриализации. Она стала основанием крепости, о которую вдребезги разбилась гитлеровская машина. Она выкладывала стартовую площадку для наших полетов к звездам.

У нас уже одиннадцать космонавтов, один уходил дальше другого, мы всех их знаем и помним, но первую любовь навсегда завоевал в наших сердцах Юрий Гагарин. И, думается, когда космонавтов будет уже сотня, а тем более тысяча, имя Гагарина станет нам еще дороже... Как наша первая пятилетка.

Первая пятилетка явилась испытанием нашего духа, и она навсегда останется символом неувядаемой революционной романтики для всех поколений.

*

Как и чем измерить расстояние, отделяющее нас сейчас от первой пятилетки? Может быть, тем, что в первом году той пятилетки мы отмечали, как национальный праздник, выпуск первого комбайна на запорожском заводе «Коммунар», а в начале сегодняшней пятилетки посадили на Луну космическую лабораторию?

Может быть, тем, что в канун первой пятилетки вся наша промышленность превосходила наивысший уровень царской России лишь на одну треть, а уже в 1964 году — почти в 56 раз?

Или, может быть, нам приглядеться к цифрам, характеризующим возросшую мощь тяжелой промышленности? Тогда сравним 1928 год с 1965-м. И вот что получится:

выработка электрической энергии увеличилась более чем в 101 раз;

добыча угля возросла более чем в 16 раз;

добыча нефти и выплавка стали — более чем в 20 раз;

производство металлорежущих станков — более чем в 92 раза.

В 1928 году было выпущено 1 300 тракторов и 841 автомобиль. В 1965-м — 355 000 тракторов и 616 000 автомашин.

20 февраля 1966 года опубликован проект «Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966 — 1970 годы». В этом пятилетии намечается поднять объем промышленного производства примерно в полтора раза. Среднегодовой объем производства сельскохозяйственной продукции должен

увеличиться на 25 процентов. Общий объем капитальных вложений в народное хозяйство возрастет почти наполовину. Мы перестали удивляться цифрам, даже если они захватывают дух, потому что выросли в атмосфере непрерывного социалистического наступления. Но то, что намечается пятилеткой в области науки и техники, экономики и культуры, никого не может оставить равнодушным, оно волнует и трогает грандиозностью масштабов.

Нет нужды пересказывать здесь проект Директив — их должен прочитать каждый сам, прочитать и вдуматься в глубокий смысл великих предначертаний. В строках, написанных точным языком науки, вы услышите пафос революционного творчества.

Проект Директив по новой пятилетке отличается своим реализмом. Стремление в максимальной степени удовлетворить возросшие потребности нашего общества сочетается с трезвой оценкой действительных возможностей. Ничто так не противно духу подлинных революционеров, как прожектерство. С тем большей убежденностью можно сказать: то, что намечено, будет исполнено.

В Директивах партия с гордостью подводит итоги достигнутому и в то же время открыто говорит о серьезных недостатках в развитии отдельных отраслей экономики. Это и отставание сельского хозяйства, и медленное освоение новых мощностей, и выпуск многими предприятиями продукции технически отсталой и низкого качества, и недостаточные темпы роста производительности труда. «Партия говорит с народом языком правды, ничего не скрывая и не приукрашивая, показывает как реальные достижения, так и трудности нашего развития». Это сказано в проекте Директив, и это обращено не только к прошлому, а и к настоящему. Что, если каждый тем же языком правды спросит самого себя: все ли, что смог, отдавал он семилетке, с чем он вступает в свою личную пятилетку? Ведь она ожидает его и на стройке и в школе — всюду, где созидание, где борьба с трудностями требуют приложения молодой энергии и инициативы, новаторства и смелого почина.

В проекте Директив каждый советский человек может найти «свою строчку», независимо от профессии, места работы и жительства, возраста, — так всесторонни, всеобъемлющи и универсальны наши планы коммунистического строительства. В пятилетке отражены все сферы труда и все стороны жизни общества, ею объята широкие просторы нашей Родины в целом и каждой республики в отдельности.

Можно было бы назвать «молодежными строчками» пятилетки все то, что сказано в ней, например, о развитии народного образования. В течение пятилетия завершится в основном введение всеобщего среднего образования для молодежи. Более чем вдвое увеличится число учащихся в школах и группах с продленным днем и почти в полтора раза — число учащихся в школах рабочей и сельской молодежи. За 5 лет в нашей стране будет подготовлено примерно 7 миллионов специалистов с высшим и средним образованием. К концу пятилетки чуть ли не удвоится прием учащихся в профессионально-технические учебные заведения.

Можно было бы назвать в значительной степени «молодежными» задания пятилетки о развитии массовых видов физкультуры и спорта, о повышении тиражей книг, об увеличении числа театров, библиотек, клубов, туристских баз.

Но разве не «молодежными» являются и все другие задания пятилетки: гигантский размах новостроек и завоевание новых вершин в науке, расширение торговли и развитие здравоохранения, повышение заработной платы и снижение розничных цен?

Мы начинаем новую пятилетку с высокого трамплина. Первая пятилетка, если поставить цифры в столбики диаграмм, выглядит теперь младенцем, стоящим рядом с великаном.

Мы вступили в новую полосу экономического развития во всеоружии современной науки и техники, владея не только гигантски разросшимися производственными фондами, но и самым ценным — кадрами высшей квалификации. Мы вступили в нее в пору растущего общественного богатства и личной обеспеченности, когда миллионы людей ежегодно вселяются в новые дома, когда подрастающее юношество могло бы увидеть продкарточку только в музее. Слова «штурм на производстве» мы осуждаем, ибо давно пора научиться

работать ровно, ритмично, по плану. И то, что нужно и можно сделать в обычное рабочее время, мы не выносим на субботники и воскресники. Наряду со словами «охрана труда» все чаще слышится: «охрана отдыха». И мы хотим, чтобы людям везде жилось хорошо, и даже в тайге — с определенными удобствами.

Так остается ли в новой пятилетке «место для подвигов»?

Страна отправилась в новую пятилетку, а за вею последуют другие. За далью даль! Но уже теперь можно сказать, что нынешняя пятилетка во многом будет особенной. Именно в этой пятилетке осуществляется глубокая экономическая реформа, несущая коренные изменения в стиль и методы хозяйствования. Приводятся в движение экономические рычаги планирования, научной организации труда и производства, материального стимулирования.

Теперь, больше чем когда-либо прежде, оплата труда будет связана с его количеством и качеством. Каждый заинтересован не только в личном, но и в общем, коллективном успехе, в повышении рентабельности всего производства, ибо сверх ставки, оклада, тарифа, значительная доля заработка сможет быть получена в виде премий из заводских фондов, а их размер зависит от прибыли.

Значение личной материальной заинтересованности возрастет во всем, и даже в социалистическом соревновании. Да, материальное в духовном! Ибо тот, кто в соревновании достигает повышения производительности труда, должен пользоваться и большим числом благ. Но в этих условиях кое-кто может усомниться в значении моральных стимулов (к сожалению, такие находятся) и задать вопрос: остается ли место для подвига? Что там ударники коммунистического труда, вызовы да обязательства — рубль сам постоит за себя!

И вот здесь я поднимаю руку: прошу слова! Прошу слова в интересной дискуссии, поднятой на страницах «Комсомольской правды» совсем недавно.

20 января «Комсомолка» напечатала взволнованное письмо донецкого горняка машиниста электровоза шахты «Октябрьская революция» Владимира Ливерко. Оно называлось «Чем измерить порыв?».

Да, чем измерить порыв?

«Разговор пойдет о самом главном — как жить? — писал Ливерко. — Все время вижу перед собой оппонента, его ухмылку, постную физиономию.

Вопрос большой: прошло ли время жертв, жертвенности, лишений ради нашего общего дела? Мои противники, пусть их немного, но они есть, говорят: жертвы, лишения, отказ в житейских радостях были необходимы во времена наших дедов и отцов. Теперь, дескать, другая песня. Страна у нас могучая и богатая».

С обидой и горечью говорит Владимир Ливерко о тех, кто «один раз живет», кто свой «личный интерес» ставит превыше общего блага. Он рассуждает, что, «какая бы научная организация труда ни была», не раз еще и не два позовут нас и на общественных началах что-то поделывать и своим интересом поступиться. «Придется еще и в палатках начинать, и недоедать, и лишения терпеть, и пострадать за товарищество, за общее дело».

По сути, Ливерко поднял вопрос о духовных стимулах труда и жизни.

Как и следовало ожидать, письмо Ливерко вызвало поток читательских откликов, и некоторые из них газета уже опубликовала.

У Ливерко нашлись противники.

Токарь из Ижевска Р. Камалтдинов, правда, несколько завуалировал свою позицию рассуждениями о жертвах нужных и ненужных, но его вывод: «Человеком должен руководить не порыв самоотверженности, а трезвый расчет и разум» — кажется мне уж чересчур холодным и рационалистическим. В нем не находят себе места «души прекрасные порывы».

Студент из Москвы И. Грядунов думает, собственно, так же, как Камалтдинов, но высказывается прямее: «Только во времена наших отцов были необходимы жертвы и отказ от житейских радостей». На первый план автор ставит вознаграждение. И Камалтдинов и Грядунов противопоставляют, сталкивают лбами материальные и моральные побудители, тогда как социализм зиждется на их единстве. Никто не требует отказа от «житейских

радостей», но как понимать их? Как мещанское благополучие хорошо устроившейся личности? Или как Маркс, видевший счастье в борьбе?

Среди участников дискуссии преобладают сторонники Ливерко. «Смею утверждать, — пишет фрезеровщик В. Анисенков из Павловского-Посада, — что готовность к самопожертвованию не потребность какой-то эпохи, какого-то периода, а признак гражданственности во все времена. Думаю, что и при коммунизме нужны будут жертвы. Так что списывать в архив матросовскую амбразуру, по-моему, просто кощунство».

Могут сказать: амбразура Матросова — это кровавая война. Но и война бескровная требует самоотверженности и отваги, риска и доблести. Это относится не только к полетам в космос, но и к получению высоких урожаев зерна, скоростных плавов стали, достижению мировых стандартов качества. Недаром в годы Великой Отечественной войны трудовые подвиги страна равняла с подвигами воинов, а комсомольско-молодежные бригады заводов назывались фронтовыми.

Дискуссия в «Комсомольской правде» вызывает на размышления об общественном долге и личном интересе.

«Личные интересы, то есть личная жизнь, вечны, — заявляет вальцовщик из Москвы В. Беляев. — Дело в том, чтобы личное «я» не возвышалось над общественными интересами. Чтобы это «я» не обособлялось, а было бы звеном жизни общества».

В этом гвоздь!

Не понимаю юности без порыва. Это все равно, что птица без крыльев.

Пятилетка рассчитывает на юность.

ПОВЕСТЬ

Юрий Полухин

ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА

«Познай, где свет, — поймешь, где тьма».

Александр Блок

1

На юге, вдали, высоко в небо вздымались синие сопки, а кругом тайга стояла ровная, плотная, в один сэро-зеленый цвет и была такой бесконечной, что лесовоз, хотя и шел ходко, казался малым медленным муравьем. Впервые за последние дни Андрей Стрехов подумал о том, что его затея с переездом в Таежный выглядит со стороны, должно быть, нелепо. Металлист, отличный механик, недавно получил квартиру в областном городе — и вдруг на ЛЭП, рубить лес. Он уже забыл, когда и топор-то в руках держал...

Справа мелькнула дорога — отвилок; рубчатые высохшие колеи впечатаны глубоко и даже с виду тверды, как железные гофрированные желоба.

— Видал, дорожка? — спросил шофер, веселый круглолицый парень. Уже с полчаса он рассказывал про какого-то Петю и его подружку Веру. Стрехов не слушал. — Весной тут вода-а, море Лаптевых! На двадцатый угол пошла.

— Двадцатый? Остановись, — неожиданно для самого себя сказал Стрехов.

— Тебе же в Ключи, на участок!

— Нет, сюда. — Лесовоз, проклацав стойками прицепа, встал. Стрехов вытащил из-под ног рюкзак, ружье и вылез.

— Тулка?

— Винчестер.

— О-о! — с завистью протянул шофер и понимающе улыбнулся. — Охотник?

— Балуюсь.

— До Ключей километров пять осталось, — успокоил его шофер. — Чудной ты парень: за два часа три слова из себя выжал... Ну, давай! Глухаря принесешь — зови, бутылку ставлю! — Он рассмеялся и сильно хлопнул дверцей.

Стрехов подумал, что в одиночестве есть и хорошие стороны.

Теперь ему жить в балке с рабочими. На этом самом двадцатом углу — очередном повороте трассы. Он решил не ехать пока в Серебряные Ключи, в контору участка. Сперва — в бригаду.

Машины шли одна за другой. Истолченная, взбитая до невесомости пыль першила в горле. Солнце светило будто бы сквозь пергамент, листва осин была коричневой, и только сопки по-прежнему выделялись своею акварельной синевой.

Прошагав с километр от поворота, Стрехов присел на валежину, вытер пот со лба и долго сидел так. Солодово-сладко пахла хвоя, зудела мошка; тоненько, печально просвистела птица; деревья дышали просторно, легко; издалека приходили неясные шорохи и скрипы. Но все эти звуки воспринимались как тишина. Так умиротворенно-спокойно бывало Стрехову только в лесу. Он знал это и не торопился идти дальше. Блаженное состояние! Здесь все просто, понятно, никто не будет лезть к тебе с соболезнованиями и советами.

Стрехов представил себе пузатый, как самовар, обшарпанный пароход, на котором он плыл в Таежный; завалы чемоданов, тюков на палубе, топоры, пилы и другой инструмент, аккуратно обвязанный тряпками, скрипка без футляра, небрежно брошенная на кадку с огурцами; камвольные сибирские платки, повязанные по самые брови; модные сейчас, будто лакированные, шляпы с дырочками; шелуха семечек, гора пустых бутылок перед давно закрывшимся буфетом...

Фиолетовые сопки, черные скалы, голубая река и раздольная песня «Из-за острова на стрежень...». Прошел всего год после того, как на Двадцатом съезде партии страну позвали в новый поход на освоение Сибири, и словно вся Русь тронулась в путь, неудержимая, пестрая, жадная... Зачем все эти люди едут сюда?

С привычною болью Стрехов опять вспомнил жену Таню. Несколько дней назад, собираясь куда-то, он нашел в шкафу ветхое ситцевое платье, еще хранившее сеной, душноватый запах ее тела, и долго сидел, опустив руки, забыв о том, что надо идти.

Лучше бы сразу отдать или просто сжечь, выбросить старые платья, пузырьки духов, гребешки, шпильки... Но он хранил их, будто бы казня себя. За что?..

Он встал, закинул за плечо рюкзак, ружье и пошел дальше.

«Здесь все будет иначе. Труд до седьмого пота, незнакомые люди, тайга, охота, жизнь без прошлого».

Трасса открылась ему внезапно за рощей кондовых мшистых пихт, опустивших свои седые лапы прямо к земле. Поверженные деревья громоздились на просеке, тянули изломанные сучья к небу; желтыми солнцами сверкали в траве срезы пней. Поодаль, у кромки леса, стоял балок — домушко из бруса, на полозьях. Рядом гомонили люди. Видно, было время обеда: в траве, у каменки, на которой дымился прокопченный чан, валялись алюминиевые плошки, а бригада, человек шесть, сидела тут же за столом из грубых тесин.

— Не бренчи заслонкой, Коля! — обращаясь к маленькому скуластому эвенку, воскликнул детина в ковбойке и сатиновых шароварах, таких широченных, что они свисали под скамьей, словно юбка. — Ведро ни в жисть не выпьешь!

— Зачем не выпью? — ответил Коля. — У нас так: чай не пьешь, откуда силы возьмешь?

Рабочие загоготали, а первый парень, пошарив в карманах, шлепнул о стол зелененькую бумажку.

— Не выпьешь! Полсотни ставлю! Кто отвечает? На секунду все притихли. В тишине кто-то — Орехов не разобрал, кто — насмешливо проговорил:

— Отвечаю. Азиаты — упрямый народ. Они все могут.

Коля довольно рассмеялся. Смех у него был по-детски радостный.

— Варька! — крикнул детина, полуобернувшись к балку. — Неси заварки! Больше неси!

Оттуда никто не ответил. Эвенк живо встал и пошел к балку.

— Зачем Варька? — говорил он, улыбаясь. — Я чай пить буду. Значит, свой надо. У меня есть.

Минуту спустя он вынес три пачки чая.

В кругу уже стояло ведро с кипятком. Все сбились плотно к столу, заговорили разом. Стрехов подошел ближе. Его не замечали.

Кто-то черпнул кружкой из ведра, брякнул ею о тесину. Коля неторопливо снял кожаную опояску и залпом выпил чай. Потом вторую кружку.

— Удав! — воскликнул опять насмешливый голос, и Стрехов разглядел чернявого остролицего парня. — Плакали, Жадов, твои полсотни.

— Плакали? А я еще петуха ставлю! Добавляешь? — Жадов шлепнул о стол другую бумажку.

В круг вдвинулся безбровый лысенький старичок.

— Збарский, я добавлю, — заискивающе попросил он чернявого. — Ведь выиграем. Ей-богу, выиграем!

— Выиграем! — передразнил его Жадов. — С под него течет уже. — Он громко захохотал. Смех его поддержали нестройно.

Эвенк отодвинул сухонькой рукой мятые бумажки и проговорил тихо, но строго:

— Зачем деньги? Не хочу на деньги. Так выпью.

— Струсил? А-га-га! — опять загоготал всем телом Жадов, и шаровары его заплескались волнами.

— Струсил? Никогда не трусил. Наливай! — Лицо Коли потемнело.

— Четвертак, четвертак! — бормотал старик. — Жадов, видишь? Я доложил, я красненькую доложил...

— Вы что, люди, на скачках, что ли? — удивленно спросил светловолосый парень в гимнастерке.

— Молчи, армия! — Жадов замахнулся на него. — Не хошь — не играй!

— Да не в игре дело!.. Ах, не умею я сказать!..

Палило солнце, эвенк пил, вытирая пот со лба рукавом, и в глазах его чернела отрешенная от всего обида.

— А ну, стой! — громко сказал Стрехов. Все оглянулись. Выйдя из-за деревьев, он сбросил на землю рюкзак, ружье, шагнул к столу, одним движением поднял ведро и выплеснул чай. — Верно, как на скачках, — резко добавил он.

Жадова к нему словно пружиной бросило.

— Ты что, падло? Куда лезешь? — Белокурый, ладный, он был бы красивым, если бы не изломанные злобным углом плечи и отекавшие, мутноватые глаза.

— Зачем вылил? — нервно заговорил и эвенк. — Три пачки чая! Зачем добро на землю лить? Кто такой?

— Ты что же, не понимаешь, что измываются над тобой? — Стрехов старался говорить спокойно.

— Кто измывается? Мы друзья, поспорили...

— А ведь прибью я тебя, паря, — с тихим изумлением выговорил Жадов, и глаза его повеселели.

— Ишь ты, шароваристый какой! — Стрехов усмехнулся.

— А что? — Жадов недоуменно взглянул на свои ноги. — Шаровары в порядке.

— Я не про них, а так, вообще. — Стрехов покрутил пальцами у виска.

За столом засмеялись, заспорили:

— Правильно сделал, чего тут!

— Да кто он такой? Распоряжаться пришел!

— Зачем правильно? Зачем чай выливать?.. Стрехов не торопясь оглядел всех. Запомнились ему черные, насмешливые глаза сухолицего паренька, которого кто-то назвал Збарским.

— Бригадиром я к вам послан, — объяснил Стрехов.

— Буго-ор! Бугров я не бью, — сразу поскучнев, объявил Жадов и пошел в балок.

— Документик-то у тебя есть, милый человек? — вкрадчиво спросил безбровый старичок.

— Есть. — Стрехов достал и протянул им бумагу.

Читали, передавая из рук в руки:

«Выписка из решения бюро Таежнинского горкома КПСС. Рассматривали: заявление механика А. В. Стрехова, члена КПСС, попросившего добровольно направить его на трудный участок строительства — линию электропередачи Юхта — Таежный. Постановили: удовлетворить просьбу А. В. Стрехова».

Сбоку резолюция начальника строительства ЛЭП: «Бригадиром в балок на 20-м углу трассы».

— Это дело! — воскликнул парень в солдатской гимнастерке. — Механик? Я тоже механик: танк водил, только... 1

Его перебил старик. Окая по-сибирски, он сыпал слова, как горох из кузовка:

— Коммунист! Подфартило нам, слышь, ребята! За их держаться надо, с ими, коммунистами, теперь всегда легче.

Из балка вышла женщина лет двадцати двух, большегрудая, крепкая, с монгольским росчерком глаз.

— Варя, — окликнул ее старик. — Корми гостя! Какой «гостя»! Хозяина! Бригадиром к нам! Проголодался, небось, с дороги-то.

— Бригадиром? — певуче протянула женщина и подошла, играя бедрами в тугой юбке. — Варя. — Она протянула ладошку.

— Стрехов, — назвал Андрей и чуть дотронулся до ее руки.

Внимательно, будто дразнясь, она оглядела его невысокую, ладную фигуру, коричневатую ковбойку, упрямый выпуклый лоб, белесый чубчик и проговорила все так же певуче:

— Бригадир-то ничего, годящий. Сколько лет-то?

— Двадцать пять.

— Годящий, — повторила она, — только робкий, видать, — засмеялась и пошла к каменке.

— Видал? — Старик покачал головой. — Не баба — конь стоялый! Аль тебе Мишки мало?

— А тебя завидки берут, старый хрен? — уже лениво спросила Варя, и все рассмеялись.

Стрехов ел кашу — она вкусно пахла дымом, смолой — и думал, что с этими людьми ему заживется пусть нелегко, но просто. Главное, просто. Так, как он хотел.

2

На рассвете все, кроме Вари, уходило в тайгу. Мглистые тени-птицы бесшумно скользили к вершинам елей. Коснешься плечом ветки — лицо обдаст росой. Зябко после сна. Мышцы еще вялые, мысли тяжелые, неповоротливые.

Ничего, кроме пил, топоров, лопат, у них нет. Участок двести километров длиной. Деревины одна к одной, спокойные, с белесыми прядями мха на лапах. Нужно прорубить просеку шириной в две самых высоких ели. Через каждые пятьдесят — семьдесят метров — пикет. Тут надо рыть трехметровые ямы для опор. Для опор годятся только лиственницы. С них срубают сучья, шкурят до костяной белизны, связывают бревна буквами «А» или «П» и ставят. Потом натягивают провода.

Все это вроде бы не так уж хитро. Но как пройти бригаде двести километров за полтора месяца? Лес, лес, лес... Когда долго пилишь, а после этого поднимешь голову, перед глазами встают синие плавучие круги, а тайга кажется мохнатой, темной пропастью. Бывают такие пропасти в детских снах. Но там есть и пробуждение. А тут... Случаются дни, когда они едва-едва проходят один пикет.

Спорее всех на просеке Егор Исаич Перетолчин, безбровый старичок. Он успевает отдыхать во время коротких переходов от одного дерева к другому, целый день на ногах, только мелькает в зелени серая, выцветшая до нитяной белизны рубаха.

Стрехов каждый день прицеливался к тому, чтобы не отстать от Егора Исаича. Удавалось это далеко не всегда. Андрей спешил, задыхался, топор бил вкривь и вкось, ноги спотыкались о корни. Спешить было нельзя. Но и не спешить нельзя. В висках стучала кровь, лес перед глазами ходуном ходил, на плечи будто тесную шубу накинули, а Егор Исаич уже ушел вперед!

Больше ничего сейчас не существовало для Андрея, кроме этого ритма, бешеного для отвыкших от такой работы мышц. Даже засыпая, он думал о том, под каким углом опускать топор, с какой силой толкать пилу, чтобы она не прыгала попусту и не заедала... Зато, когда он впервые догнал Перетолчина, какая это была радость! Андрей и похохатывал, и хлопал старика по плечу, и восхищался сверх меры его выносливостью.

Примерно через час-полтора перекур. Вся бригада собирается у какого-нибудь пня покрупнее. Жадов всегда садится первым и начинает балагурить, набивая козью ножку махоркой — к махре он привык в заключении, где пробыл несколько лет.

— Перекурим — тачки смажем, тачки смажем — трап наладим, трап наладим — перекурим, перекурим — лягим спать.

Глаза у него блеклые, с прищуром. Лицо цвета сухой темной глины и в таких же морщинах-трещинах.

— Ты уж, Миша, сегодня пятый раз перекуриваешь, — невесело откликается Андрей.

— А что? Табак мозги просветляет, а то от такой работы в них червяки заводятся.

Збарский, ни на кого не глядя, как бы невзначай говорит:

— Я в одной брошюре читал: по всему течению Чары во всех леспромхозах давно уже есть электропилы. Комплексная механизация. — Он ложится на спину и закрывает глаза. Збарский произносит эту фразу каждый день и всегда одинаково: скучающим тоном. Но она, как брошенный в воду камень: идут круги.

— Двадцатый век! — Жадов смачно сплевывает. — Век автоматики! Кнопку нажмешь — и зад вспотеет...

В лице у Жадова есть что-то нагловатое и в то же время гордое. Глядя на него, Андрей, да, наверное, не только он, думает о том, как после ужина Мишка уйдет с Варей в лес, и, когда вернется, глаза у него будут веселые. А Варя придет взбудораженная, счастливая и будет угождать всем... Но ни вспоминать, ни думать ни о чем не хочется. Хорошо лежать вот так, раскинув ноющие руки в пахучей сухой траве, чувствуя каждой клеточкой тела, как медленно уходит из него усталость. Смотреть в небо, легкое, белесое, как бабья косынка, все лето калившаяся на солнце. Ни о чем не спорить.

Краснея — он всегда краснеет, когда говорит о чем-нибудь серьезном, — Боря Кузьмин обиженно гудит:

— А в газетах пишут про нас: алмазы! Богатство Родины! Кладовая!.. С этими топориками мы еще год гдесь тюкать будем! — Он берет топор, рукава гимнастерки у Бориса по локоть засучены, руки жилистые, громадные, и топор в них кажется маленьким, нелепым.

Егор Исаич, сидя на корточках, стамеской разводит зубья пилы. На секунду он поднимает глаза; в них светится искреннее удивление.

— Куда торопишься? Ишь, торопыга! Небось, ты и родился-то восьмимесячным, да?.. Деньги платют, ну и знай работай себе. А там, — он ткнул заскорузлым пальцем вверх, — без нас поймут, куды да что.

— Правильно, дед, — подхватывает Жадов. — Плоское кати, круглое тащи, доллары капают!

— Как же можно так рассуждать! — Кузьмин горячится, приподнимает с земли свое длинное, нескладное тело. — Это же просто не уважать людей!

Збарский молчит. Егор Исаич опять удивленно таращит глаза.

— За что вас уважать-то? Подшибы этаки! У вас что, хоромы о пяти окнах есть? Или, може, вчера коров купил!..? Гол, как сокол, небось, даже портянок на смену нет, а уважения требует! Ишь!..

Старик долго, залиvisto смеется. Круглое в рябинах лицо его добреет.

— А ну вас! — машет рукой Кузьмин и ложится ничком.

Боря вообще не любит спорить. Минуту спустя он говорит примирительно:

— С другой стороны, и хорошо, что одни топоры с нами. Как в семнадцатом веке. Как на Древней Руси. Чел: мы хуже сибирских землепроходцев? Они завоевали землю, а мы первые строители на ней.

Он недолго молчит, а потом начинает рассказывать: в низовьях реки Яны есть село Русское Устье. Первые казаки как дошли туда, так и осели. Потом потеряли всякую связь с внешним миром. Живут так же, как жили три века назад: те же обычаи, то же платье, те же песни и обряды!

— Вот бы попасть к ним, посмотреть, а?

Все долго обсуждают: есть такое село или нет. Только Збарский молчит. Странный он парень: всегда молчит. Но в глазах его Стрехов уже не раз ловил непонятную ему насмешку. Все знают, что имя его Виктор, но зовут по фамилии. Стрехов тоже привык к этому с первого дня. Когда-то Збарский, кажется, был студентом...

Еще любят вспоминать, как ехали сюда, в спецпоездах, с песнями, лозунгами. Как впервые попали в Таежный, молодой город в тайге: новенькие деревянные дома, карьер с зеленоватым кимберлитом, первая фабрика, на которой всем приезжающим показывали под биноклем горсть добрых алмазов. Радужные разломы граней, сверкание льдов, запутанные лабиринты, летний слепой дождь, таинственные тени — все это уместилось под маленьким стеклышком прибора.

— Ну да, — мрачно говорит Жадов, — а рядом охранник с пушкой на боку. Я не пошел смотреть...

За лесом всходит солнце. Воздух становится душным. Пахнет прелым листом, хвоей. Над ухом жужжат комары, громадные, как мухи. Со смешливой ласковостью щуря и без тоге узкие глаза, Коля глядит по очереди на спорщиков и говорит тихонько:

— Зачем шуметь, ну? Зачем спорить? Тайга шума не любит. Тайга смирных людей любит... Идешь по ней день, два — о-ля! — слушаешь, а она тебе песни шепчет. Хорошо! — Он встает, подтягивает сыромятные торбаса. — Пошли-ко работать, что ли?

Встает и Андрей. Вставать трудно.

— Дай два дыма, дед, — говорит Жадов Егору Исаичу. — Не жмотничай!

Взяв у старика сигарку, он дважды шумно затягивается и возвращает окурок.

По дороге Перетолчин говорит Стрехову:

— Ты, Васильич, сходил бы на участок, узнал насчет пил механических. С имя, глядишь, кубиков по двадцать на рыло каждый день давали бы, а то и больше.

— Схожу. Завтра, может, схожу.

И опять они разбредаются по деляне. Каждый на свое место, каждый сам по себе, каждый со своими мыслями. Опять бухают, как в глубоком колодце, топоры. Пот заливает глаза, росинками падает на пропыленные сапоги... А кругом стоит спокойная тайга, улыбочиво шелестят ветви.

В понедельник к вечеру привезли зарплату. Верхом на лошади приехал кассир участка, худой, недобрый человек. Говорили, у него язва желудка. За день лошадь совсем ошалела от мошки, пауков, взбрыкивала, путала сбрую. Кассир нервничал: ему надо было

успеть еще в одну бригаду. Не дожидаясь Стрехова и рабочих, он оставил деньги Варя и уехал.

В среднем каждому пришлось на день рублей около шестидесяти. Бригада рассчитывала на большее.

Первыми получали зарплату Коля Сафронов и Егор Исаич. Пересчитав деньги, старик долго прятал их куда-то под койку, шелкал замком. Николай положил в развязанную понягу стоявшую у всех на виду. Егор Исаич выглядел удрученным и, против обыкновения молчал. Пришел Жадов, небрежно, веером раскинул пачку денег, скомкал ее, бросил Варя, которая накрывала на стол.

— Человек! На всех шампанского! Ананасы и судака-орла!

— Ишь ты! Взорлил! — прикрикнула Варя. — Собери деньги-то!

— Деньги? — Мишка вдруг ослабил. — Нищему на пропитание!.. Слышь, бугор?

— Он повернулся к Стрехову. — Ты зачем сюда назначен? Плохо рисуешь! Кремлевку в день не дашь — все разбежимся, понял?

— Кремлевку? — мечтательно протянул Егор Исаич. — Сто рублей то ишь... Баско!

Стрехов молчал, растерянный. Деньги лежали на столе.

— Будет вам, петухи, — взглянув на Стрехова, словно жалеючи его, нараспев заговорила Варя. — Кашу ешьте, я ее бычками в томате заварила. Егор Исаич, тебе чай сразу, как всегда?..

Вдруг Жадов ахнул по столу алюминиевой плоской.

— Паек слабый, Варя! К черту! Мне бычок нужен не в томате — на веревочке! — Он повалился на койку, задрал сапоги на ее спинку.

Скуластое лицо Вари разом оплыло, состарилось.

— Какого рожна я тебе сварю? — закричала она. — Где достану? Не хочешь — не жри, привередливый! Стараешься, из кожи лезешь, а ты!..

Она заплакала.

— Ты что себя против всех ставишь, Михаил? За что Варю обидел? — заговорил было Стрехов.

— Плевал я на всех вас с высотного дома! — перебил его Жадов, сплюнул на пол и запел фальшиво:

1 Понята — у охотников нечто вроде рюкзака с деревянной подложкой, плотно прилегающей к спине.

А там на повороте —

Гоп-стоп, не вертуйся! —

Да вышли два удачных молодца...

— Не паясничай! — Андрей первый раз за все время повысил голос.

— А ну вас, заступнички! — Жадов грязно выругался, сорвался с койки и выскочил из балка.

Все замолчали. В неловком этом молчании, как показалось Стрехову, было что-то неприязненное по отношению к нему. Чтобы избавиться от этого ощущения, он сказал, стараясь быть спокойным:

— Вот и ссора в благородном семействе! — А сам подумал: «Какую чушь я несу!» И добавил: — Я уверен, все выяснится, и тогда...

Его с недоброй усмешкой перебил Збарский:

— Правильно. Зачем ссориться? Потерпите, детки. Все выяснится, и тогда... — Он снял с себя пропотевшую рубаху и сказал лениво, как о чем-то давно известном: — Сколько Русь стоит, столько вдалбливают людям в голову: «Терпи, терпи, терпи! Калачик тебе за это дадим». Раньше царь-батюшка да поп проповедовали, а теперь Стрехов...

— При чем тут Андрей Васильич! — воскликнул Кузьмин.

— Как при чем? По глазам видно, сейчас он, как и ты, заговорит: «Люди сюда на подвиг приехали!..» Действительно, зачем ты сюда приехал, Стрехов? Доброволец? Патриот? Зачем? — с искренним любопытством и с улыбкой, почти ласковой, спросил Збарский, но тут же демонстративно зевнул и вяло сказал: — Впрочем, мне это безразлично.

— Я отвечу. — Стрехов опустил голову. — Отвечу... Думал, буду нужнее здесь... Нет. Если честно, главное, может быть, другое: у меня жена умерла, тяжело было оставаться в городе. Вот так... — Он встал и подошел к окну. Плечи его были несчастными.

Варя испуганно всплеснула руками. Перетолчин аккуратно облизал ложку, вытер ее краем рубахи и вздохнул. Кузьмин, стоя на месте, виновато перебирал ногами в кирзовых сапогах.

— Андрей Васильевич, — заговорил он наконец. — Не обижайтесь на нас. Мы разве что против вас имеем? Мы понимаем... Ах, не умею я сказать!

— Ладно. Хватит на сегодня! — Не поднимая головы, Стрехов быстро вышел из балка.

На завалинке курил Жадов. Андрей сел рядом. Долго молчали. Жадов косил на него глазом. Совсем стемнело, даже луны не было. В тайге поднялся ветер, жалобно скрипела какая-то лесина. Андрей усмехнулся.

— Вот ночка! А, Миша? Как ты пел: «Вышли два удалых молодца»? «Гоп-стоп, не вертухайся!»?

— Точно, бугорок: «не вертухайся!» «А коли вертухнешься, в тюрягу попадешься!» — так у нас пели, — произнес Жадов уже без прежнего раздражения.

— Нет, Миша! Вертухаться, наверное, надо... Вот что я тебе скажу: кремлевку в день обещать не буду, а работку веселую выхлопочу. Это точно. И харч хороший. Как?

— Был бы харч! А деньги Миша сам найдет. И не серчай на меня, если что: Миша добрый. Идет?

— Идет. Только... ты перед Варей извинись. Жадов рассмеялся:

— Лягим спать, она сама передо мной извинится! Ясно?.. Пойдем-ка уши выпрямлять...

Когда они вошли в балок, все молча, не глядя друг на друга, укладывались спать. Только Коля Сафронов сидел на лавке, устало положив маленькие ладошки на колени, и задумчиво говорил:

— Зачем опять шумят люди?.. Зачем?.. Из-за денег?.. В тайге много зверя живет: медведь, лиса, волк, хорек, соболь, рысь, росомаха, белка, горностай, сохатый... — Он перечислял, загибая пальцы. — Во, пальцев не хватило. Богато зверя добывают, шибко богато! А то еще в тундру далеко уходят. Там одних песцов сколько разных! Слепушка, норник, — он опять стал загибать пальцы, — крестоватик, чаешник, синяк, недопесок... Бывают дошлые, бывают недошлые, плохие, значит. За сезон шибко зарабатывают охотники! Шибко много!.. А я, — Коля вздохнул горестно, — не могу: жалко мне зверя стрелять, вот как жалко! И все денег не было. Баба есть, двое детей есть, а денег нет...

— Неужели у тебя двое детей, Коля? — удивился Кузьмин.

— А что? Мы рано женимся. Бывает, парню пятнадцать лет, а уж баба есть...

Он долго еще рассказывал о своем селе. Жадов громко зевнул и сказал:

— Скучно с вами... Дед, слышь, что ли? Хоть бы ты рассказал, как тебе квартиру в Таежном давали.

Историю эту все слышали уже не раз, но Егор Исаич с охотой повторял ее.

Квартиры в первых домах Таежного распределяли в позапрошлом году, ко Дню строителя. Егор Исаич победил тогда в соревновании плотников, но жил он здесь без семьи, никто не думал вносить его в списки на жилплощадь.

В одном из домов записали квартиру за начальником строительства Куприяновым. До тех пор он жил в вагончике, специально привезенном от железной дороги на пароходе и дальше — на тракторных санях. Куприянов приказал отдать ее лучшему плотнику. Нет семьи? Все равно отдать: пусть привезет семью, такие кадры надо закреплять.

Обычно Егор Исаич с удовольствием рассказывал о том, как ему вручили ключи, как неделю оч жил один в двух комнатах и как потом отдал квартиру дружку, а сам уехал на ЛЭП: тут заработки больше.

Сейчас старик пробормотал только:

— Зачем она мне нужна, квартира-то? За площадь плати, за отопление плати, за свет плати да еще за услуги какие-то тоже плати. Не квартира, а сто рублей убытку. Мне и так баско...

Жадов рассмеялся.

— Ты говорил, и с дружка деньги содрал?

— Зачем содрал? Взял отступного. Пять сотен. Он бы и больше дал: не знамо как рад был... Ох-хо-хонечки-хо-хо!.. Соберу денег и подамся обратно в село. Сына меньшего женить надо, дом ему ставить. Старшего выделил, а теперь меньшего надо. В армии он сейчас, — пояснил старик и зевнул сладко. — Задуй-ка свет-то, спать пора.

Вспыхнул на миг и померк фитиль лампы. Наступила тишина.

Стрехов смутно слышал, как Варя шептала Михаилу:

— Из вяжись ты к Андрею Васильевичу, Миша, ладно? Зачем ты так-то? Хороший он и переживает за всех, я же вижу. Зачем ты?.. И деньги, миленький, не пропивай, одеться нам надо, ладно?.. Что молчишь-то?..

— Цыц ты! Не ной! — тоже шепотом ответил Жадов.

Варя вздохнула, и все утихло. Только ветер скрежетал железной крышей балка.

3

Стрехов с Жадовым вышли рано. В кустах черемухи, шиповника, в бледной листве осин еще сквозили хлопья тумана. Но вот поднялось солнце, вздрогнули листья, ровно прошумел ветерок, и сразу стало сухо и жарко. Терпко запахло смолой, ярче вспыхнули на сухих пригорках сибирские тюльпаны — жарки. Над ними лениво взмахивали крыльями большущие бабочки-шоколадницы. Все в тайге преувеличенно ярко, огромно. Даже эти бабочки.

Шли молча.

Жадов чуть позади.

Андрей так и не спал до утра. Его познабливало, и мысли были знобкие, те же, что и ночью. Не так, не так вел он себя вчера, не то говорил!.. Надо было ответить Жадову и Збарскому иначе. Но как!.. Долг, мужество... Округлые фразы магнитофонно жужжали в голове. Все мы напичканы фразами, как пироги рисом.

Мужество... А сам вчера, как заговорил о Тане, и», мог поднять головы. Губы дрожали, к окну отвернулся, несчастенький!..

Дорога вышла на пологий склон сопки. Собственно, какая это дорога? Прошел бульдозер, повалил, раздвинул ножом сосенки, березы, подмял траками гусениц кусты — вот и дорога.

Метрах в двадцати впереди, прошуршав высокой сухой травой, лениво взлетели два глухаря, грудастые, красноперые...

— Эх! — Полоща шароварами, Жадов вымахнул вперед, протопал сапожищами метров десять, — Улетели... Что ж ты, Васильич, ружье не взял!

Стрехов усмехнулся: он сам только сейчас вспомнил, что собирался тут охотиться. Дальше пошли рядом.

Стрехов все еще не мог отделаться от мыслей о вчерашнем.

— Слушай, Миша, — спросил он, — а зачем ты приехал сюда?

— Я-то? — Жадов искренне удивился. — Жить! — Подумав, он пояснил: — Я же в Сибири пять лет отсидел. Что мне на западе? Здесь вольно!

Стрехов рассмеялся.

— Ты что?

— Так...

«Жить. Просто жить!» — подумал Стрехов и внимательно оглядел Жадова: прокаленное солнцем лицо, руки, как корни, медвежеватая походка, опущенные плечи... Для иных жизнь — это город, квартира с телевизором, такси, асфальт, кинотеатры. А запри Жадова в городе — сбежит. Разве мох на деревьях, прозрачный, как туман, небо, красноперые глухари, шум деревьев, труд до седьмого пота — разве все это не жизнь? Именно этого он, Стрехов, и хотел, когда ехал сюда!.. Жить просто... «Просто» — хитренькое, обманное, как утиный манок, словечко!..

Андрей спросил:

— И получается это у тебя? Так, просто?

— Чего получается?

— Ладно, — махнул рукой Стрехов. — Скажи лучше: что за мужик начальник участка? Как его? Иванов?

— Иванов! — Жадов рассмеялся, оскалив желтые зубы. — Свой мужик, правильный.

— А что смеешься?

— Сам увидишь. — Он помолчал и добавил удивленно: — Не поймешь тебя, Андрей. Чего ты хочешь?

— Я и сам не пойму...

Деревушка Серебряные Ключи раскинулась по-над берегом Чары. Найти избу — контору участка — было легко: около нее стояли машины, на завалинке сидели люди.

Стрехов велел Жадову подождать и вошел в контору.

Просторная горница была разделена надвое новенькой тесовой перегородкой. Фанерная дверь. Секретарша, немолодая уже женщина, двумя пальцами печатала на машинке. Каждую клавишу она, морща лоб, долго искала глазами.

— Иванов здесь?

— У него начальник строительства, — не поднимая головы, ответила секретарша.

Из-за перегородки слышался шум голосов. Стрехов сел на широкую лавку, огляделся. Сбоку торчал угол громадной русской печки. Зауток меж ней и стеной был отгорожен ситцевой занавеской, за которой кто-то брэнчал посудой. На стене висел пожелтевший плакат, на нем — счастливая молодая чета с ребенком и надпись: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Рядом — маленькая полочка, застеленная кружевами, на ней — пластмассовый динамик. А на перегородке, над секретаршей, — громадный фанерный циферблат с тремя стрелками, прибитыми дюймовым гвоздем. Две стрелки черные и одна красная. Черные указывали время, а красная уходила к самому краю циферблата, где были намалеваны надписи: «Лесосеки», «Склады», «Таежный», «Юхта», «Трасса», «Гаражи», «Дом», «Контора». Сейчас острие красной стрелки воткнулось в «Контору».

— Зачем это? — удивился Андрей.

— Иванов сейчас в конторе. — Секретарша ответила строго, но глаза ее улыбались. Шум голосов за стенкой усилился.

— Здесь, на десятом углу, зачем тебе лежневка? — спрашивал глуховатый бас. Видимо, это был Куприянов, начальник строительства. Ему что-то ответили быстро и неразборчиво.

— Болото! — вскричал Куприянов. — Лужа это, а не болото! В первый же мороз замерзнет, и никакой лежневки не надо, хоть экскаватор тащи! Ты мне брось крутить! Рабочих не можешь занять! Вот и лепишь черт знает что!..

С минуту Андрей опять ничего не мог разобрать, а потом снова загудел Куприянов:

— Ну, что отвернулся? Балок рубленый, потолок 8 два наката, деньги за него плачены, а где этот балок? Липой стал заниматься?

— Липа липе рознь, Семен Петрович! — Человек, возражавший Куприянову, теперь говорил медленнее, и Андрей стал различать слова. — Если я рабочим не заплачу, убегут они, с кем останусь? Им жить надо!..

От звуков этого голоса что-то в душе Стрехова словно бы покачнулось тревожно. Где он слышал этот голос? Где?..

— Как звать Иванова? — быстро спросил Стрехов секретаршу.

Ц; Та наморщила лоб — опять потеряла нужную клавишу. «Сейчас скажет — и все!» — с непонятным страхом подумал Стрехов, и в памяти его мгновенно встал обожженный солнцем рыжий склон горы, смерч глины, камней, поднятый из земли взрывом, крик: «Ложись, козла в твою рожь!» — и грузное тело Иванова, упавшее на него сверху, и звон в ушах, невысказанный, разламывающий череп...

— Александр Степанович, — сердито ответила секретарша.

Не может быть!

Но тут из-за перегородки его голос — его! — воскликнул:

— Я ему говорю: «Козла в твою рожь! Что ж ты мне шарики крутишь?..»

Так мог говорить он один. Стрехов рывком поднялся, распахнул легкую дверь.

— Саша!..

4

Стрехов служил тогда в армии первогодком. Было это лет семь назад в Таджикистане. Выдалась невысказанно жаркая весна. Уже в начале марта в горах сникли, едва успев расцвести, тюльпаны. Пыль над дорогами висела такая, что Стрехов — он водил трехтонку — запомнил ее на всю жизнь. Через час езды даже в кабине высидеть было невозможно: пыль разъедала кожу, слепила глаза. Волосы сбивались в паклю, приходилось отмывать их в трех водах.

А потом зарядили дожди, какие бывают только в Средней Азии, — равной силы, днями подряд, будто все небо разверзлось и никогда не быть ему больше синим. На перевалах поползли сели, где-то сдвинулись ледники; казалось, земля устала дыбиться горами, плескаться океанами, и теперь все перемещается в сплошном месиве грязи.

Но дожди кончились так же внезапно, как и начались. Уже через день дороги высохли. Тут-то и случилась беда, которая свела потом Стрехова с Ивановым: обрушились берега безымянной речушки, запруда подняла воду чуть не на десять метров, а рядом — стройка, карьеры... Взбесившаяся река нашла себе новый ход. Вся масса воды с минуты на минуту могла ринуться на поселок строителей.

Вызвали воинскую часть.

Выход был один: взрывом поднять запруду и бросить ее метров за пятьдесят в образовавшуюся протоку, которая ширилась с каждым часом.

Целый день и еще ночь солдаты бурили шпур, закладывали в них аммонит. Стрехов на машине мотался к складам, от берега к берегу, в объезд, возил оборудование, взрывчатку, людей.

Взрывать запруды должны были разной силы зарядами, с двух ее краев, невидимых друг другу за склоном горы и рощей платанов. Сперва назначили взрыв на девять утра, но солдаты сработали хорошо, и срок перенесли на семь.

Был алый беспокойный рассвет — синие гребни гор на зоревом небе. Река стала темно-коричневой, только пена в водоворотах, бурунах мыльного цвета. Река с силой билась о каменную грудь завала, ворочая валуны, как мелкую гальку. Склон холма был выжжен солнцем. Лишь в самой низине глаз отдыхал: там, у берега, притулился беленький глинобитный домик (как называют их здесь — хона). За таким же белым забором цвели яблони, меж ними змеился арык, узорная тень лежала на сочной траве.

В жаркий день, должно быть, хорошо было лежать под этими деревьями, в бархатной траве. А вечером — развести костерок и жарить над ним шашлык, слушая, как капли жира, шипя, падают на угли...

И все это должен был сейчас смести смерч: хона находилась в зоне взрыва.

Андрей Стрехов, где на машине, а где и пешком, проверил оцепление и всю зону: не остался ли кто-нибудь там. Ему поручил это старшина Овсянников. Сейчас вместе с другими Андрей смотрел на глинобитную хону из укрытия. Солдаты откуда-то уже вычислили, что жила в ней разбитная вдовушка, таджичка, и зубоскалили по этому поводу. Четверть часа назад Андрей видел, как сквозь нечастую цепь солдат пыталась пройти к хоне черноволосая, еще молодая женщина в широкой юбке, похожая на цыганку, и что-то лопотала по-своему. Ребята, смеясь, ловили ее и возвращали обратно. Может, это и была та самая вдовушка?

Взрывники уже ушли от реки. Было без семи минут семь. Тревожное чувство владело всеми: сейчас, сейчас... И тут солдаты увидели, что из-за угла мазанки, не торопясь, вышел человек, до пояса голый, и наклонился над арыком.

— Эй! — в ужасе заорал старшина Овсянников. Солдаты подхватили в десять глоток:
— Эй!.. Эй!..

Но человек за шумом реки не слышал их, лениво плескался, отирал ладонями шею, плечи.

Все последующее свершилось в несколько секунд. Андрей выскочил из окопчика, уже шагнул вниз и остановился. Как-то сразу увидел он ровные, гладкие, какие-то сытые стволы платанов вдаль, а на этом берегу — бело-розовые цветы яблонь. Ни в чем не было тревоги, а только покой, такой же благодатный, ленивый, что и в движениях человека, наклонившегося над арыком. Но тут же Стрехов увидел искаженное гневом, загорелое лицо старшины Овсянникова и услышал его крик:

— Беги! Приказываю! Беги! — Дальше шел замысловатый мат.

Андрей ринулся вниз.

Склон, рыжий, с выбитой травой, стал вдруг невысказанно длинным. Андрей бежал и как бы смотрел на себя со стороны: посреди громадного пустого пространства двигался маленький, нескладный человечек, длинноногий, в солдатских сапогах с широкими голенищами. Может, не будь голенища такими, человечек бежал бы быстрее. Где-то Андрей уже видел похожую картину. Наверное, 8 кино. Фронт. Одинокий солдат бежит по полю, изрытому воронками, а его преследует, настигает самолет с черными крестами. Никуда не спрятаться, не добежать. Все. Амба.

Вспомнив об этом, Андрей несколько метров даже пробежал зигзагами. А потом пришла мысль, которая впоследствии, когда он лежал в больнице, мучила его непрерывно: если бы не приказ Овсянникова, решился бы он или нет?..

А человек все еще стоял лицом к реке. Андрей что-то кричал ему на бегу, но тот ничего не слышал. Оглянулся он в тот момент, когда Андрей перемахнул через глинобитный заборчик, а где-то вдаль отгремел предупредительный выстрел. Глаза у человека стали круглыми от испуга.

Андрей уже тянул его за руку к спасительному окопчику.

— Взрыв! Взрыв сейчас! — кричал он, но человек, вдруг напряженившись, дернул его обратно и тоже закричал:

— Дурак! К реке! Быстро!..

Человек был высокий, сильный, из его цепких пальцев нельзя было вырваться. Он выволок Андрея из сада и потащил к реке, к хаосу валунов, глины, камней, который вот-вот должен был взлететь в воздух. Андрей подумал, что человек этот, наверное, сумасшедший, и теперь им спасения нет.

Громыкнуло сразу несколько громов. Грязно-серое облако поднялось к небу. Что-то грузное, жаркое упало на Стрехова и сбilo с ног. Он рухнул на землю, больно ударившись головой.

Когда он открыл глаза, стояла тишина. Только этот тип бормотал что-то, тормоша его. Наконец Стрехов разобрал слова:

— Да все же в порядке, солдат!.. Голову ты зашиб только, когда падал. Слышишь? Эк тебя развезло!.. Ну вот и глаза открыл. — Он заулыбался крупным белозубым ртом, глаза у него были веселые. — Какой же ты солдат, козла в твою рожь! На взрыв, на взрыв бежать

надо было, весь завал над нами пронесло, а иначе... Эх, видать, кроме как на фронте, нигде этому не научишься!..

У Стрехова было сотрясение мозга. Его отвезли в больницу, и этот тип каждый день приезжал к нему. Работал он на стройке снабженцем. Назвался Александром Степановичем Ивановым. Впрочем, ни по фамилии, ни по имени-отчеству величать себя не разрешал, а только Сашей. Был Иванов словоохотлив, много шутил и все вспоминал то утро.

— Понимаешь, на баб у меня талант. Не могу я без них. Вот и пошел к этой вдовушке. Думал, последнюю ночь в хоне переспать. Кто ж вас, чертей, знал, что вы на семь взрыв перенесете! Да и поддал с вечера, — он щелкнул себя по горлу, — спал, как мертвый. Может, если бы я был в самой хоне, вы меня и нашли бы, да жарко в ней, я и пристроился в тесовой прирубке. А вдова моя утром, козла в ее рожь, за самогонкой побежала... Но ты молодец, а? Не побоялся!..

Они подружились. Но Стрехов вовсе не казался себе молодцом. Его все мучила та самая мысль: «А если бы не ругань Овсянникова, смог бы я побегать?»

«Струсил! Хоть на мгновение, но струсил! Хожу в спасителях, а на самом деле не я спас Иванова, а он меня. Он-то не растерялся, не струсил. Он-то побегал навстречу взрыву. Навстречу взрыву...»

Хотя проверить в то утро весь район было поручено именно Стрехову, никто не винил его в том, что Иванова забыли. Ну да, он ведь сам скрывался от всех.

Обвинить Стрехова можно было только формально. Возможно, его и обвинили бы, если бы Иванов погиб. А сейчас и на стройке и в части сочли, что Стрехов все искупил собственной смелостью. Смелостью... Если бы не та минута слабости, когда он выскочил из окопа и остановился!

Пытаясь то ли понять, то ли оправдать себя, он начинал думать и так: все мы привыкли к приказу, потеряли самостоятельность; даже поступки хорошие, если они сопряжены с риском, мы совершаем только по приказу... Но кто это «мы»? Нет, это чепуха, увертка, чтобы уйти от ответственности.

Ответственности? Но ведь и Иванов из прихоти своей, из-за женщины, из-за водки рисковал жизнью Стрехова. Да, рисковал. Но он-то и спас ему жизнь. Не Стрехов ему, а он Стрехову. И не только жизнь: в глазах других людей Стрехов остался человеком с чистой совестью.

Мысли об этом сбивались, путались. В конце концов оставалось только смутное ощущение, что теперь всю жизнь он, Стрехов, будет чувствовать себя перед Ивановым в неоплатном долгу. И еще была зависть к Иванову: он удачлив и не мучит себя раздумьями. Он тоже в чем-то виноват перед Стреховым, но балагурит, смеется над собой и над ним. Все ему нипочем. Странный человек!

Конечно, это был он!

— Не узнал, козла в твою рожь? — улыбаясь, спросил Андрей.

Иванов тяжело потоптался на месте и всплеснул руками.

— Стрехов?... Неужто ты? Откуда взялся? Ну да, бригадир новый! А я-то думаю: что за Стрехов?

Надо, мол, съездить! — Иванов говорил это и похохатывал, обнимал Андрея, хлопал ручищами по его спине.

— Что, друзья встретились? — вяло спросил Куприянов. Только тут Андрей взглянул на него. Рыхлый, отечный, он хмуρο навис над столом.

— Э-э, да какие еще, Семен Петрович! Смертью обвенчались! — объяснил Иванов и опять счастливо рассмеялся. — А ну повернись, сынку! Все такой же! И так же брови хмуришь... Нет, в плечах раздался. Мужчина, а был выюнош!

Куприянов посмотрел на часы, достал платок, шумно высморкался.

— Ну, хватит лирики. Мне ехать надо.

Они со Стреховым знали друг друга: начальник строительства был на бюро горкома, когда Андрея посылали на ЛЭП.

— Как первые впечатления? — спросил Куприянов.

— Плохие. — Все еще улыбаясь, Андрей взглянул на Иванова. Тот тоже улыбнулся в ответ, подмигнул: давай, мол, выкладывай. Стрехов рассказал, что люди на трассе предоставлены самим себе, в нарядах путаница, снабжение никуда не годится, а главное, не видят они смысла в своей работе, потому что вручную, без техники, бульдозеров, электропил, им никогда не уложиться в срок.

— А раз так, настроение у рабочих падает. — Андрей вспомнил слова Бориса Кузьмина и повторил их: — Люди ехали сюда, как на подвиг, а тут..., Понимаете?

В маленьких отечных глазах Куприянова сверкнуло хитроватое любопытство, но тут же они опять стали непроницаемо льдистыми. Иванов по-прежнему улыбался. Стрехов подумал с внезапным раздражением: «Что он улыбается? Ведь ругаю-то я его!»

— Понимаю, — хмуро сказал Куприянов. — Но думаю, это — явление временное. Сейчас по всей Сибири стройки, техника нужна везде. Наступление большое идет, а в большом наступлении тылы всегда отстают... Но вот что, Иванов, этот участок я знаю: там деревинки одна к одной. Через три дня чтоб пилы в его бригаде были.

— Где же я их возьму: Дайте!

— В Таежном их нет, ты знаешь. Достанешь сам, ясно? Где — твое дело.

— Семен Петрович, да разве мое это дело? Орел мух не ловит!

— Орел! — уже раздраженно перебил его Куприянов и пристукнул пухлой ладонью по столу. — Достанешь! Ясно?

— Ясно, — пробурчал Иванов и, поскучнев, отвернулся к окну.

— И последнее, — как бы угрожая, продолжал Куприянов. — Чтоб на Долоновке люди работали! Даю срок неделю, ясно?

— Ясно, — совсем уже обреченно проговорил Александр Степанович. Вдруг он распахнул раму окна, высунулся наружу всем своим грузным телом и закричал: — Курочкин!.. Курочкин! Ты почему не на трассе? Ты почему в деревне? Зайдешь ко мне, поговорим! — Иванов захлопнул окно и опять поскучнул.

— У меня все, — сказал Куприянов и, не попрощавшись, ступая тяжело, по-слоновьи, вышел.

Стрехову всегда бывало неловко, когда при нем отчитывали других. Он сказал виновато:

— Крутенок мужик... Иванов спросил сердито:

— А ты все такой же: руку на друзей поднимаешь, да? Подорвать меня хочешь? — Сдвинутые к переносице брови его вдруг разлетелись в стороны, он захохотал. — Подорвать, да?... Ладно, ладно! Я не сержусь! Каждый за себя, а не за дядю дерется... Ну вот что, пошли ко мне! — Заметив, что Стрехов хочет возразить что-то, он нахмурился и спросил с куприяновской грозной интонацией: — Ясно? Они рассмеялись.

Иванов, наверное, ничего не умел делать тихо. Пропустив вперед Стрехова, он так хлопнул дверью, что тесовая стенка задрожала, повернулся к странному фанерному циферблату и передвинул стрелку на «лесосеки».

— Марь Иванна, ясно?

Секретарша закивала головой и заулыбалась, порозовев почти счастливо.

В сенцах и у завалинки он громко здоровался с рабочими, называя почти каждого по имени. Разморенные жарой люди отвечали с готовностью, вставали, веселея, пытались заговаривать, но Иванов останавливал их:

— Нет, нет, нет! Сегодня я уехал! Некогда! Завтра!

Видно было, что рабочие не обижались, что здесь любили его.

Палило солнце. Вдали на белесом холсте неба четко отпечатались синие контуры елок. Тени от домов, глухих заборов лежали в пыли прямые, жесткие. Перед Стреховым опять возникло давнее и почти забытое... Говорят о пилах, консервах, о Долоновке, но какая

все это чепуха по сравнению с тем, что связывает его и Сашу! Андрей опять подумал: что бы ни случилось, он, наверное, всегда будет чувствовать себя перед ним виноватым.

А Иванов, будто не замечая его состояния, говорил, говорил...

— Я уж привык к таким встречам! Нас, строителей, мотает по всему белу свету. Приедешь в какую-нибудь дыру. Ну, думаешь, зачахнешь тут в одиночестве, пока обзнакомшься! Смотришь — и тут друзья! Но сюда-то я, правда, по вызову приехал: Куприянов вызвал, я уж сто лет его знаю. С ним жить можно! Всегда так — чуть что начнется, он меня вызывает: нужен ему Иванов! На Ангаре завод ставили, приехал я первым — ничего нет! Снег да пни кругом. Ни кирпича, ни леса, ни рабочих, ни техники, ни лимитов — ничего! А я достал! Достал все, что нужно! Куприянов приезжает, а у меня поселок стоит. Вот оно что! Думаешь, зря он насчет пил сказал? Он сам не достанет, а я достану! У меня на примете уже одна мыслишка есть. Достану я тебе пилы, завтра же достану, козла в твою рожь!

В прогале между домами открылась Чара. Светлая на стрежне, у берегов река отливала темной зеленью, но и тут оставалась такой прозрачной, что даже отсюда видно было, как посверкивают на дне, будто покачиваясь под тугими струями воды, мелкие камни. Дальний берег круто вздымался вверх. Из коричневых скал его торчали измочаленные, истерзанные корни деревьев. Лес над ним темнел щеткой. А Чара уходила к горизонту, петляя, синяя тонкой нитью среди зеленого поля тайги.

— Ох, красотища! — воскликнул Стрехов, замедлив шаг.

— Красиво, — равнодушно согласился Александр Степанович, обгоняя его, и через плечо, как бы между прочим, спросил: — Слушай, а что, если так: я тебе — пилы, а ты со своей бригадой на Долоновку идешь, ладно?

— А что там?

— Да нет, ты не подумай, ничего страшного! Но ведь какой народ к нам идет? Ребятишки сопливые, только-только от маминой юбки, ничего в жизни не видели. Куда их пошлешь? Жалко ведь!.. И оргнаборовцы. А эти — на тебе, боже, что нам негоже. С ними тоже не просто. Свои кадры нужны, свои, понимаешь? Растить надо. Но пока их вырастишь! — Он помолчал и, вздохнув, добавил: — Были в Сибири свои кадры: заключенные, посылай хоть к черту на рога! Да теперь не то время. Куприянов вообще отказался от заключенных. А Долоновка — речушка такая болотистая, комарье, сырость. Две бригады оттуда сбежали... Так как, согласен? Чего тут думать! Такое время сейчас! Коммунисты, вперед! — говорил он, убежденно взмахивая сильной, сжатой в кулак ручищей. Стрехов рассмеялся.

— Ты чего смеешься? — Иванов обиделся. — К Долоновке от Таежного уже с проводами подошли. Если просеку не прорубить, монтажники встанут, понимаешь?

Нет, на него невозможно сердиться: уж очень прост он в своей хитрости. Душа нараспашку.

— Насчет Долоновки надо подумать. С бригадой поговорить.

— Конечно, поговори! — сказал Иванов и вдруг спохватился: — Да что это мы все: пилы, Долоновка! Это ерунда, утрясется! Разве нам об этом говорить надо? — Будто сам удивившись своей мысли, он восхищенно воскликнул: — Откуда же ты взялся? Вот чертушка, козла в твою рожь! — И тут же, не ожидая ответа, стал рассказывать про свою жену Дашу. — Жены для ЛЭПа, как для преферанса, — враги. А моя нет! Помощница! Геолог, а свою профессию бросила. За мной по всяким углам скитается. Одно слово, помощница! Придем сейчас — сам увидишь...

Даша, верно, понравилась Стрехову. Невысоконькая, круглолицая, улыбчивая, она не торопясь, но споро ходила по избе. Будто сами собой появились на столе противень с жареной дичью, белотелый соленый таймень, нарезанный крупно, розовая редиска и сметана к ней в берестяном туеске, черемша, справленная луком, огурчики прошлогодние, но даже на вид не осклизшие в рассоле, а плотные, пупырчатые, сало, консервы. А в русской печке, в загнетке, уже шипело на огне еще что-то.

К слову Даша рассказала о какой-то давней неожиданной встрече, потом, опять-таки к месту, вспомнила:

— А знаете, меня с детства один вопрос мучит. Помню, еще во втором, что ли, классе на елку мы пришли, и Дед Мороз у нас спрашивает: — Назовите мне, дети, русское имя на букву «А!» Тут посыпалось: Анна, Анастасия, Авдотья, — а он все говорит: «Неверно». То греческое это имя, то еще какое. Так и не догадались... Бывает же... чепуха, а запомнится! И сразу елку вспомнишь: огни, весело, хорошо...

Она улыбнулась тихо, застенчиво, как бы подсмеиваясь над собой. В этой улыбке ее и в округлых жестах белых рук было что-то уютно-домашнее. Еще была в ней такая же, как и в самом Иванове, наивная ребячливость, но не наигранная, не кокетливая, а такая, что идет от сердца, словно бы в глубине души Даша постоянно удивлялась чему-то. Стрехов смотрел на них и думал: «Хорошая пара».

Стучал по полу когтями, тыкался в колени лохматый, ушастый спаниель Кузьма, а рядом, на пестром рядне, ползал без штанов сын Ивановых, полуторагодовалый Антошка. Ему на маленькую скамеечку поставили тарелку с супом: пес искоса, но сторожко следил, как ест Антон, а когда тот отодвинул тарелку, подошел и стал дохлебывать суп, посверкивая красным язычком. Андрей прикрикнул было на пса, но Александр Степанович пробасил:

— Ничего! Вымоется!.. Кузьма у нас умница! Он] знаешь какой пес? Еду я как-то с ним в Иркутска на такси, на заднем сиденье. Шофер — женщина. Видать, не торопится, а я куда-то спешу. «Кузьма, — говорю, — что-то мы тихо едем. Нажми-ка ты, брат, на акселератор!» Что ты думаешь? Привык к машинам, подлец! Перепрыгнул через спинку к мотору и жмет лапой на скорость! У шоферши аж челюсть от удивления отвалилась! Золотой пес! А на охоте — о-о! .

Он развел руками. Даша улыбалась мужу.

— Саша, а зачем у тебя циферблат в приемной висит? :

— Забота о человеке.

— Что?

— К секретарше десятки людей за день подходят: где, да что, да когда? Всем я нужен! Я и говорю: повесь. Марь Иванна, циферблат и двигай стрелки — «лесосеки», «гаражи», «склады». Все ясно! Вопросов нет!

— Это как сейчас — на «лесосеки», да?

— Ладно, ладно! Ты не подковыривай!..

Иванов наливал в кружки разведенный спирт. Перед ними стояли и лафитники, но Александр Степанович объяснил: отвык в тайге пить из стеклянной тары, потчевал Андрея, опять и опять принимался рассказывать о стройках, о жене, не брезгая порою и философией:

— Нет, меня на этих законах не собьешь. Я прагматик. Никаких систем, закономерностей нет! Есть только практика! Опыт — святая святых. Я знаю только то, что знаю...

Стрехов не понимал: в шутку он говорил все это или всерьез?

Спаниель кончил хлебать суп и улёгся под столом. Антон взял тарелку и, покачиваясь, принес ее матери. Та погладила его по голове.

— Умка! Весь из ума сшитый!..

Проговорили до позднего вечера. Укладываясь спать, решили: утром Стрехов вернется в бригаду, а Жадов, заночевавший у знакомых, останется в Ключах, поедет с Ивановым за пилами. Александр Степанович пригрозил:

— Насчет Долоновки подумай, поговори со своими. А то пилы в другую бригаду отдам! — И подмигнул лукаво.

Заснули сразу, довольные друг другом.

Заболел Збарский. Вчера, разгоряченный, искупался в холодном роднике и схватил грипп. Утром, когда ему измерили температуру, он проговорил, по обыкновению задумчиво растягивая слова:

— Приснился мне нынче сон: лежу я в гробу, а в руках бумажный цветочек, за счет профсоюза купленный.

Все засмеялись, а он добавил:

— Хоть бы окно заклеили, дует. Романтики... Кузьмин послушно занавесил окно тряпкой, но сказал сердито:

— Уж больно ты злой, Збарский. Ну зачем словото лапать? — И передразнил: — «Романтики»!

— Боря, — не вступая с ним в спор, спросил Збарский, — у тебя по ночам лопатки не ноют?

— Нет. А что?

— Ангел ты у нас, Боря. Вот-вот крылышки прорежутся. Тебе бы еще «Капитал» наизусть выучить, крылышки-то, глядишь, и прорезались бы.

Все опять засмеялись, а Борис, сдерживая улыбку, проворчал:

, — Что-то ты сегодня разговорился!..

«Действительно, что-то я сегодня разговорился?» — подумал Збарский, когда все ушли и в балке остались только он и Варя. И вдруг почувствовал саднящую усталость, как бы копившуюся в нем все эти месяцы, пока он жил в тайге. Тело, отяжелев, вдавилось в койку. В висках поламывало, мысли путались... «Это грипп... Романтики... А что? Давно пора •озить в тайгу дсмики, легкие, передвижные, вроде балка, только просторней, теплей. Можно даже целый городок на колесах: автобус-дом, баня, магазин, кинотеатр. Построили завод или там ЛЭП — снялись и поехали всем поездом дальше...» Варя рассказывала:

— Николай мне щавеля в лесу набрал и грибов. Сейчас я тебе щи зеленые сварю, а потом грибов пожарю. Вкуснотища! Сразу вся хворь пройдет... Жалко только, сметаны нету...

Она мыла щавель, резала его быстрыми, мокрыми пальцами. Предплечьем откинула со лба прядь волос, улыбнулась. Наклонилась к печке подбросить дрова, лицо ее осветило огнем, оно стало розовым. Приятно было наблюдать за ней.

Варя нарочно стала готовить не на улице, а здесь, чтобы побыть со Збарским.

— Знаешь, сидишь, сидишь одна — надоест, ужас! А когда ветер в тайге, даже страшно... Одиноко... Нет, хорошо, что ты заболел! — Она рассмеялась.

Збарский подумал: жить одному хоть на Северном полюсе — это еще не одиночество. Быть одному среди людей — вот что страшно. Где-то он читал эту фразу.

— Ты Стрехова любишь?

— А чего ж его не любить? Он хороший. Вы все тут хорошие. Только Егор Исаич чудной какой-то: все-то он о деньгах, все-то о деньгах! Куда ему столько?.. Ну да, — вспомнила она, — сыну копил... Наверное, если бы у меня был сын, я бы тоже копила, себе во всем отказывала... — Она вздохнула быстро, словно украдкой, и примолкла, глядя в огонь. Потом принялась чистить грибы и опять оживленно заговорила.

Но Збарский уже не слушал Варю. Ее слова о Стрехове были ему неприятны. «Уж не ревную ли?» — подумал он и сам усмехнулся этой мысли. Збарский привык смотреть на всех людей в бригаде не то чтобы сверху вниз, но с тем холодноватым любопытством, которое пробуждается у человека в скучном и давно знакомом музее: все ждешь чего-то интересного и не находишь, экспонаты, картины кажутся мертвыми. Вот именно, экспонаты.

Несмотря на шум в голове, лежать было уютно: голос Вари убаюкивал.

— Как ты думаешь, Збарский? — спросила Варя.

— Что? Что ты говоришь?

— Правду говорят, что килограмм грибов заменяет полкило мяса?

— Не знаю.

— Ты и не слушаешь, что я говорю? Мешаю, да? Голова болит? — В голосе ее слышалась неподдельная тревога. — Ах ты бедненький, Витенька!..

Варя подошла к его койке, и Збарский увидел: глаза ее стали точь-в-точь такими, какие бывают у женщин в особенные, сердечные минуты: глубокими, теплыми и будто бы влажными. Варя присела к нему. Прикосновение бедра ее обожгло Збарского, он оторопел, уж очень все неожиданно было: и ее искренняя ласковость, и эти глаза, а главное... главное, пожалуй, то, что в первый раз за многие дни его назвали не по фамилии, а по имени. Збарский подумал: «А что? Она бабец в порядке!» — и, неловко повернувшись, крепче прижался к ней животом. Варя ничего не заметила. Теплой, пахнувшей грибами ладонью гладила его лоб, лохматила волосы и все говорила что-то. Збарский опять не слушал ее и видел только раскосые глаза, полные и, наверное, теплые плечи под ситцевым платьем и близко-близко тугую ложбинку в вырезе платья, смуглую, крепкую кожу.

— Ты... ласковая... — хрипло сказал он. — Ты со всеми ласковая?

— Не ласковая, жалостливая, — словно бы ничего не замечая, Варя произнесла это тоном, каким уговаривают капризных детей, и снова гладила его волосы. — Нам, бабам, на роду жалость написана.

Продолжая игру, Збарский обнял ее за шею и приподнялся. Варя вдруг рассмеялась.

— Эх вы, мужики! Чуть чего — и сразу лезете... Коса ее, уложенная в пучок, упала на спину. Она подняла руки каким-то — так показалось Збарскому — самодовольным жестом и стала укладывать волосы на затылке. При этом она коснулась пальцами его пальцев, но не сдвинула, не прогнала их.

А Збарский подумал: «Шалишь! Не пошевелюсь больше! Ведь, небось, приятно, что мужики лезут!» Он усмехнулся недобро.

Дверь с визгом распахнулась. Они повернулись и увидели Переточчина. Егор Исаич стоял на пороге, смотрел на них и видел все-все: и испуганные глаза Збарского, и руку его на Вариной голой шее, и упавшую на спину черную косу. Збарский быстро, по-воровски убрал руку. Варя продолжала сидеть. Старик хмыкнул понимающе, заюлил глазами, пробормотал:

— Тут где-то стамеску оставил... маленькую такую... Окно хотел заделать. Не видели?

Варя — она все еще укладывала косу — ответила спокойно:

— Не там ищешь, Егор Исаич. Она у тебя на улице, на верстаке лежит.

— А-а, — удивленно протянул старик и вышел. Варя прикусила шпильку, тут же взяла ее, воткнула в волосы, искоса взглянула на Збарского.

— Что, заробел? — Голос ее прозвучал насмешливо. — Малой ты еще, совсем малой!

— Намного ли младше тебя?

— Да вить мне двадцать три. Может, и немного, а много.

Она встала, подошла к печке, сняла крышку со сковородки, принялась ложкой отчерпывать темную воду, выпарившуюся из грибов. Грибы яростно шипели.

— Ах, кобели вы все, кобели! — неожиданно зло сказала Варя. — Я уважала тебя, думала: чистенький, студент... А ты!..

Эти слова его не обидели, а, наоборот, успокоили. Варя, с ее легкой жизнью, с нераздумчивым отношением ко всему и к Мише Жадову, ее хозяину, показалась ему сейчас жалкой.

— Так ведь вы нас за то и любите, что кобели, — грубо сказал он. — Кобели — значит, сильные. Сильнее вас... Вот Мишку ты любишь?

— Мишку-то? Люблю. — Варя подбросила дров в печку, захлопнула дверцу, поднялась с колен, и вдруг глаза ее оживились. — Мишка, он смелый! Он за любовь на все пойдет!..

— Да не в любви дело! Мишка — сильный человек. Потому что ему на все наплевать. Главное — сила, понимаешь?

— Как это наплевать?

— А так! На все наплевать. И на любовь тоже. На всякие там выдумки про коллектив, дружбу, товарищество. Он ничем не связан.

— Что-то уж больно мудрено ты говоришь. Как это на любовь наплевать? Да и какой же он сильный? Он добрый, а не сильный.

Варя присела к столу и начала рассказывать, как познакомилась с Жадовым. Было это в Бодайбо, на прииске, где она родилась. В клубе, на танцах. Парни в темном прирубке пристали к Варе. Она не успела даже понять ничего, какой-то верзила раскидал их в секунду и пошел ее провожать, пьяноватый, веселый. До тех пор они не знали друг друга: он только заехал на прииск, к друзьям. Варя спросила: «Зачем меня отбивал?» Верзила ответил: «Глаза у тебя больно раскосые!..»

Тут же Жадов — это был он — решил остаться на прииске. На следующий вечер те самые парни, а с ними дружки — человек десять с кольями — разыскали его и били долго, истоиво. Другой бы на его месте отступился от девки, а Жадов наутро хоть и в синяках, ссадинах, но все-таки гоголем прошагал с ней по центральной улице, а потом опять дожидался у клуба. Эта война с переменным успехом шла целую неделю, только теперь Жадов сторожился, без кастета на улицу не выходил и выбирал для прогулок места посветлей. Его били еще и еще раз, и он кому-то проломил голову, пока наконец Варя не взяла билеты на пароход, не заманила его туда ночью, пьяного, не увезла..

— Так и уехала — в одном платьишке, — сказала она.

— Ах, любовь! Как ты зла! — с иронией воскликнул Збарский. — В одну ночь, в одном платьишке, зато с любимым черт знает куда, на край света! Женщина, которая умеет прокладывать тропу...

— Какую тропу? — удивленно спросила Варя.

— Ты Джека Лондона читала?

— Не-ет.

— Все-то он врет, Джек Лондон. Женщина, которая умеет прокладывать тропу, должна уметь варить зеленые щи из щавеля, — и все. Больше ей ничего не надо... Эх, скучно с вами! — Он отвернулся от нее.

Варя помолчала секунду, глядя на ложку в руке, и спросила с обидой:

— Чего ты все надсмеаешься надо мной?.. Что тебе надо? А скучно, так зачем живешь здесь? Зачем сюда приехал? В городе-то, небось, весело!..

— Один американский профессор говорил, что славянам издревле свойственна страсть к передвижениям, — пробормотал Збарский. — Спать я хочу, Варя.

— Ну и спи! Крученный какой-то...

6

Легковой машины на участке не было. Иванов с Жадовым ехали на вездеходе. Жадов — в кузове, примостившись на запасном баллоне, начальник участка — в кабине.

Ехали долго лесною дорогой, вниз по Чаре. Стояла жара. Машина шла ходко, ветерок приятно охлаждал шею, волнами плескался под рубахой. Жадов подремывал, спать он мог в любом положении. Когда открывал глаза, тайга, небо, Чара в просветах между деревьями сливались в одну сине-зеленую круговерть. Это привычно успокаивало. Жадов сперва расстроился, что надо ехать куда-то вместо того чтобы погулять в Ключах, но потом решил сегодня в бригаду вообще не возвращаться. Так даже лучше... Больше ни мыслей, ни желаний не возникало. Сидеть на баллоне было неловко, поламывало поясницу, плечи. Жадову снился Север, долгая тропа среди чахлой светлой тайги. Он шел по этой тропе среди других заключенных. Они несли тяжелые, будто набитые кирпичами тюки. Впереди и сзади — конвой. Тропа шла в сопку — бесконечный крутой подъем. Унылая цепочка серых людей. Тюк давит на сердце, нечем дышать, ноги скользят по камням, нет сил тащиться вверх, и манят, манят к себе молоденькие лиственницы с клейкими зелеными мутовочками

на ветках — вот они, рядом. Должно быть, весна: уж больно светла хвоя, салатовая, почти белая.

Вот они рядом, деревца, но нельзя дотронуться до них: руки заняты проклятым тюком. Бросить бы его, сигануть в сторону и ринуться вниз, чтоб ветви хлестали лицо, чтоб небо кружилось. Потом встать, вдохнуть полной грудью, услышать сладкий запах талой земли — воля!.. — Жадов пригнулся пониже, выпрямился в одном могучем прыжке и полетел вниз, закувыркался по склону; в бока больно ударили корневища, трещали сучья. Но сзади часто захлопали выстрелы, совсем рядом зло залаяла собака, Откуда собака? Ведь не было у конвоя собак!..

Ружейные выстрелы захлопали чаще. Это же пулемет! Откуда пулемет!? Все! Не уйти!..

Вдруг в мгновенной тишине Жадов услышал грубый окрик:

— Вставай! Слышишь? Приехали!

Попался! Виски похолодели, а сердце бросило в жар.

— Эй, как тебя? Жадов? Вставай!

Жадов с отчаянной решимостью открыл глаза... Ну и приснится же такая чепуха! Фу, гора с плеч! Через борт наклонился к нему Иванов. Машина стояла посреди большой поляны, из травы торчали черные пни, у опушки, поодаль, рядом с тремя рублеными бараками стучала, визжала электропила — какой-то парень, блестя на солнце загорелыми потными плечами, пилил дрова, красные сосновые кругляши. И надо всем этим громадное одноцветное небо...

— Есть встать, гражданин начальник! — радостно ответил Жадов и рывком поднялся на ноги.

Иванов взглянул на него настороженно.

— Сидел?

— Было, да сплыло, Александр Степаныч. Завязал намертво! — Жадов рассмеялся. Зубы у него были крепкие, веселые.

— Ну-ну, — Иванов улыбнулся в ответ и шагнул с подножки на землю. — Пойдем.

— Где мы?

— Черт его знает. Леспромхоз, лесосека. Какой-то участок. Я и сам здесь впервые.

На одном из окон среднего барака занавески не было. Торчала срубленная и воткнутая в землю березка. Крыльцо рядом с этим окном было затоптано больше других.

— Контора, — безошибочно определил Иванов.

В гулкой, пустой комнате никого не было. Тиликала на колченогом столе походная рация. На подоконнике стояла пустая бутылка, в — Эй, есть кто? — гаркнул Иванов.

В задней комнате кто-то хрипло закашлялся, спросил недовольно:

— Чего еще?

— А ну выходи!

Голос начальника участка был грозен. Иванов подошел к рации, покрутил ручку. Затиликало громче. Из двери вывалился лохматый, с отеком лицом человек.

— Где начальник? — спросил Иванов.

Фигура Иванова, видно, произвела впечатление — человек стал, торопясь, приглаживать ладонью волосы, ответил, робея:

— Я... начальником буду.

— Ты? Как фамилия?

— Едакин...

Иванов мгновенно оценил обстановку.

— Пьешь, Едакин? А работа стоит?

— Так ведь троица, — дрогнувшим голосом заметил Едакин.

— Троица! Троица полтора месяца назад была. — Иванов отвернулся к окну, пальцами постучал по столу. — Березка-то засохла уже. Третий день пьешь?

— Так ведь...

— Молчать! И батарейки жжешь, — он выключил рацию. Помолчав, добавил милостиво: — Ну ладно. Давай знакомиться. — И зачем-то соврал, не смутившись: — Заместитель начальника строительства Иванов. Через два дня будем принимать у тебя лесосеки. Нам, Таежному, будешь подчиняться.

Жадов молчал.

— Таежному? Вот так раз! — Едакин вытер ладонь о штанину и только потом пожал руку Иванову. Он был напуган, прятал глаза.

— Ведь это случайно, товарищ Изанов! — И вдруг на помятом лице его мелькнули проблески оживления: — Неужто и впрямь троицы не было?

— Вот чудак! Троица в июне была, а сейчас уж август!

— Обманул! Обманул, значит, меня Петрович!

— Какой еще Петрович?

— Да тут...

— Ладно. Показывай свое хозяйство.;. А впрочем, — Иванов потянулся сладко, — устали в дороге. Закусить найдешь? — Он хитровато взглянул на Едакина. Тот все понял.

— Мигом! Сейчас! Сюда проходите... Ведь и мне ух как требуется! — Он хохотнул виновато.

На столе появилось сало, жареная холодная рыба, соленые огурцы, хлеб и бутылка с синеватой жидкостью.

Пили, не торопясь. Иванов закусывал, расспрашивал Едакина, сколько у него людей, техники, какие дороги в лесосеках, какой лес, как его сплавляют. Словом, разговор шел вполне профессиональный.

— А пилы, — он аппетитно хрустнул огурцом, — пилы у тебя какие?

— На бензине. Удобные!

— «Дружба»?

— Они.

— Ты вот что: дай мне сегодня три пилы. — Едакин хотел что-то возразить, но Иванов поднял руку. — Нужно!.. А у тебя чего не хватает?

Едакин обвел глазами закуску на столе.

— Вроде всего хватает... Если бы досок, сороковку. Новый барак строим, а полы крыть нечем.

— Ладно, пришлю тебе досок... Наливай, наливай... За новую твою принадлежность! За алмазы! Ух, какие алмазы у нас! — Они чокнулись. Иванов запихнул в рот громадный кусок сала и, жуя, проговорил: — А ты... ни-чо живешь! Огурчики, сало...

— Натурально живем, — согласился хозяин. — А сейчас я кабанчика откормил. Ох и хорош кабанчик! Хотите посмотреть?

— Что ж, пойдём...

Сытый розовый кабан лежал в закуте позади барака на подстилке из зеленой травы, довольно повизгивал. Иванов перегнулся над дверцей, почесал ему грязное брюхо.

— Хорош! Хорош, стерва! Ишь, хрюкает... Хорош! Небось, хлебом кормил?

— Нет, больше рыбой. Рыбы у нас тут — пропасть!

— Хорош, стерва!.. Сколько возьмешь за него? Едакин оторопел.

— Да ить себе кормил-то...

— Себе! А мне? — Иванов насупил лохматые брови. — Забыл, перед кем стоишь? Ну?

— Ну... тыщу надо.

— Ха! Он и пятьсот не стоит!

— Как не стоит! — Впервые за весь разговор в голосе Едакина появилась твердость. — Хоть сейчас коли! Пуда три уже есть!

Видимо, решив, что перегибать не стоит, Иванов добродушно рассмеялся и похлопал Едакина по плечу.

— Ладно, ладно, договоримся. Я за ценой не постою. Завтра же и машину пришлю. Восемьсот рублей, договорились? Ни вашим, ни нашим?

Едакин развел руками.

— Если только для вас...

— Вот и ладно!.. А пилы где? Тащи, Едакин, тащи!

Погрузили три пузатых, сверкающих зеленой краской пилы. Иванов сказал Едакину, что смотреть лесосеки уже нет времени, и, попрощавшись с ним за руку, велел трогаться в путь. Жадова он посадил с собой в кабину.

Едва отъехав, начальник участка расхохотался.

— Видал? Видал, как я его?.. Сказал: достану пилы, — вот они! С нами!

— Разве лесосеки не наши будут?

— Какие там наши! Пускай теперь жалуется: перечислим деньги — и баста!.. А кабанчик хорош!

Оба они захохотали.

— Как я его? — повторил Иванов. — Скажешь, небось, обман, да? Для вас же, чертей, стараюсь. Вам пилить-то ими! Я виноват, что у нас такое снабжение?.. А-а, ничего! Умная голова всегда выход найдет.

Железная крыша кабинки накалилась на солнце. Жарко, а тут еще Иванов привалился к Жадову грузным, потным телом и все кричал, кричал прямо в ухо. Слушать его стало скучно. Жадов вдруг вспомнил давешний сон. Пригрезится же такое... А главное, уж он-то знает, что бежать так нельзя: верная смерть. Они бежали иначе. Так хитро все задумали, а провалились из-за пустяке. Было это в пятидесятом году, семь лет назад, в дальней трудколонию, Жадов отmaterил надзирателя, и его посадили в барак усиленного режима, иначе говоря, местную тюрьму. А как убежишь? Кругом проволока, светят прожекторы, а дальше — зона .. Зима, мороз стоял под шестьдесят... Когда шли на работу, в проходной законник один, правильный малый, упал в припадке. У него была падучая, но тут притворился, бьется, как взаправду. В суматохе стащили из проходной керосиновую лампу, пронесли в камеру. На следующую ночь расшатали в потолке доски — и на чердак. Знали, что там всякое старье и мусор. Керосином облили: гори-попыхай, грей небо, грей душу! Барак сосновый, сухой — занялся враз. Пламя плещет, дым валит, крики, выстрелы, камеры ходуном ходят: «Выпуска-о-ай!»

Вывели их во двор. Какое вывели — сами выбежали! Охрана мечется, помпа замерзла, а пламя все выше, стоять рядом невозможно. «Выпускай в зону!». Сейчас выйдут за первую проволоку, все бараки подымутся, а там... Расчет был правильный: барак усиленного режима несколько сот тысяч стоит, режимников сажать некуда; за такое дело начальника по голове не поглядят!

Не учли одного: в ту ночь ночевал здесь майор Бурков из управления.

Ворвался он в толпу, и сразу все стихло. Сам тонкий, как бич, черноволосый, черные круги под глазами. Не матерится, нет, спокойно приказывает:

— Паклю!

Тут же нашлась пакля. Тут же отогрели помпу во дворе. Еще полчаса — и пожар стих. Сами, те, кто бежать хотел, лезли в огонь, тушили его — вот что обидно! Перепугались.

Суровые времена были.

Теперь уж и колонии той нет.

...Весь день Жадов молчал. Он прочно усвоил истину: когда рядом начальство, лучше молчать. Но в кабинке было жарко, и мешал потный бок Иванова, и выпито было немало. Развезло Жадова. А Иванов все говорит — бренчит заслонкой.

Жадов сам хочет говорить.

— Послушай, я расскажу, Александр Степаныч. Как бежали мы. На Колыме было дело...

И рассказал. Иванов слушал молча, но когда Жадов дошел до тушения пожара, хмыкнул.

— Молодец майер! Уж я-то вашего брата знаю! С вами иначе нельзя!

На мгновение Жадов почувствовал острую ненависть к сидевшему рядом жаркому человеку. Хотел было ткнуть ему в бок кулаком, ударить в сытое лицо... Но тут же огонек в груди потух, и т Жадов рассмеялся подобострастно, сам не заметив этого.

Дорога разметывала тайгу в стороны. Зеленые лохмы, синие брызги, ветер в стекло — хорошо! Во- Я ля!.. Нет, с Ивановым жить можно! Вот он рядом, весь на поверхности: может, в чем-то плохой, но Я свой, привычный!..

Сейчас они приедут в Ключи и еще выпьют. Жадов сам поставит бутылку, две бутылки! Небось, нещ краденое, на свои кровные купленное.

Не жалко!..

7

Жадов вернулся в бригаду на следующий день, после обеда, навеселе. Иванов отправил его с тем же вездеходом. В кузове лежали пилы и две бочки с бензином. Жадов приказал шоферу ехать не к балку, а прямо на просеку, к бригаде. Шофер едва вырулил туда меж пней и распластанных на земле деревьев.

— Принимай подарок, бугор! — издали, став на подножку, прокричал Жадов.

Его качали. Подбрасывали высоко, шаровары полоскались в воздухе. Перетолчин, растрогавшись до слез, повторял:

— Я же говорил: держись за партейца! Вот и пилы дали нам.

Посмеявшись над стариком, Стрехов спросил Жадова:

— Что ж ты долго так, Миша? Мы тебя вчера или хоть сегодня утром ждали.

— Я утром и собрался, — посверкивая в улыбке зубами, начал Жадов. — Иду по улице, вдруг из-за забора — знаешь, хатка там есть, в которой начальство всегда останавливается? — меня Куприянов, начальник стройки, кличет: «Мишаня, здорово! Как дела у тебя?» «Да все, — говорю, — ничего бы, Семен Петрович, но голова с похмелья трещит». «Заходи, — говорит, — выпьем по стопарю». Думаю, нехорошо, конечно, на работу опаздывать, но раз начальник стройки приглашает, не отказываться же! Все-таки шишка покрупней бригадира! — И он подмигнул Стрехову. Все рассмеялись, а пуще всех Егор Исаич. Сквозь смех он спрашивал:

— Миш, а ты случаем в кузницах не ходил? У меня дед кузнецом был, аж на холодном подковы гнул!

— Тихо, дед! Меня не сбивай, я человек подкованный. Так вот... Захожу. Садюсь. На столэ — антураж! Соленья, варенья, балычок, то, сё, а промеж всего три бутылки коньяка «Двину». Ну, мы и двинули! Все три. Только закусывать я спешу: надо же показать, что на работу рвусь. Куприянов, значит, глянет на меня и тоже челюсти поторапливает. Я на него гляжу — и еще быстрее. Наперегонки. Подмели все начисто! И все молча. Только однажды он проговорился: «Люблю я тебя, Миша, ох, как люблю! Ты так бригадиру и передай, чтоб побольше тебе в нарядах рисовал»... Съели мы все, он и говорит: «Ну, Мишаня, пора мне на работу». Думаю, раз начальник стройки идет, то и мне пора.

Все опять захохотали.

— Так и было, Миша? — спросил кто-то. Нимало не смутившись, Жадов ответил:

— Может, наоборот, я сказал, а он подумал: раз работя! а спешит, то и мне пора...

Потом Жадов рассказал, как добыл с Ивановым пилы, и все повторял:

— Так то человек! Не букашка!

Тут же опробовали пилы. Шли сами в дерево, как в масло. Теперь уж работка ззелей пойдет! Теперь отведут очи душу!..

Домой возвращались вместе. Жадов, как атаман воинства великого, впереди всех. Его догнал Перетолчин. Старик прятал глаза.

— Спешешь, Миша? Соскучился?

Жадов только рассмеялся в ответ, дозлый: соскучился, мол, чего скрывать?.. I — А не припоздал?

— Почему? — Миша все еще улыбался.

— Да так...

Лицо Жадова вмиг посмурнело, он схватил Перетолчина за плечо.

— Ты что томишь, дед? Что сказать хочешь? Старик все еще стирался не глядеть ему о глаза, суетливо поправлял опояску.

— Да ить ничего я не видел, так... Збарский ить там...

— Что Збарский?

— В обнимку сидели, голубились, — наконец выговорил Перетолчин и со страхом взглянул в темные, гнезные глаза Жадова: не прибьет ли?..

— Брешешь, сука! — Жадов замахнулся.

Но глаза его стали вдруг растерянными, и старик понял, что он не ударит.

— Я покуль в жизни своей не брехал. Вот те крест! — Он перекрестил живот. — Захожу, а они сидят, обнимаются, растелешенные...

Круто отвернувшись от него, Жадов быстро зашагал по тропе.

— Миш, да ты что?.. Лихо-то не сотвори! — кричал старик. — Может, и невзаправду они!..

Жадов уходил, не слушая его.

До сих пор Мишка не знал, что любит Варю. В сущности, он и сейчас этого не знал. Его душил лютый гнев, больше никаких чувств не было. Он, Мишка Жадов, всегда требовал от женщин, с которыми жил, только одного — верности. Не требовал даже — женщины сами приносили ему свою верность. За это Жадов щедро отдавал им всего себя. Пока я с тобой, бери все, что хошь, хоть последнюю рубаху сьмай, бери руки мои, силу мою, я твой — твоя защита, за мной, как за каменной стеной. Так было и с Варей. А теперь рушилось главное, что он ценил в ней, — самозабвенная покорность, не рабская, собачья, а охотная, радостная...

Он распахнул дверь в балок и сразу увидел ее всю, разом: полные плечи, покатые бедра, глаза, раскосые, черные, сейчас испуганные, а в ласках — горячие, смуглую голую руку, потянувшуюся было к нему и бессильно упавшую. Он знал, что сзади, на шее, под самыми волосами у нее родинка, знал каждую ложбинку ее тела — все это было его, привычное, близкое... Жадов впервые вдруг понял, что Варя может принадлежать не только ему, что она живет и сама по себе, отдельно от него. Это усилило его гнев. Упавшая рука, испуганные глаза — все это говорило против нее! Если бы сейчас у него был кнут, он со звериным наслаждением ожалил бы это чужое для него тело. Но кнута не было, и Жадов сильно, с размаху ударил Варю ладонью по щеке — раз, другой...

— Ты что, лиходей! — пронзительно, по-бабьи крикнула Варя.

Она стояла, будто окаменев, беззащитная, даже руки не подняла, чтобы прикрыть лицо. От этого гнев у Мишки вдруг прошел, прихлынула тоскливая жалость к Варе, захотелось обнять ее, стиснуть так, чтобы ей стало нечем дышать, чтоб почувствовать снова: она моя, только моя!

Но тут встал с кровати Збарский, в одних трусах, напрягшийся, но внешне спокойный, — Жадов только сейчас заметил его.

— Кажется, начинается бой быков. Только, чур, тореадором буду я. — Он поднял с пола увесистое полено.

Жадов, присев, раскинув руки, медленно пошел на него. Збарский побледнел, но не тронулся с места. Распахнулась дверь, и Стрехов с порога крикнул:

— Не смей, Михаил!

За его спиной стояли Кузьмин, Сафронов, Перетолчин. Жадов выпрямился, плечи его сникли.

— Бой быков не состоится, — сказал Збарский. Варя опустила на скамью, закрыла лицо ладонями.

— Ну, чего встали? — буркнул Жадов. — Давно не видели? Чего?

— Сейчас поговорим, чего, — жестко сказал Стрехов.

Жадов уже обрел обычную свою насмешливость:

— Семейный совет? Не ваше это дело!

— Не наше? — спросил Стрехов. Он шагнул к Жадову, крепко ухватил его за ворот рубахи, притянул к себе. — Не наше?.. Ах ты!.. Женщину бить! Подлец! — Он с силой оттолкнул его от себя.

Жадов попытался сострить:

— Мы не из интеллигентной семьи, где дочка боится мышей, мама — грома, а папа — самокритики...

Никто не улыбнулся. Да, у них одна семья, и смеяться над этим нечего!.. Заговорили, перебивая друг друга, все, кроме Вари. Она сидела, закрыв лицо руками.

Улыбался только Збарский. Ему доставляло удовольствие, что Жадов был сейчас слабее всех и даже слабее его, Збарского.

На все вопросы Жадов отвечал: «Не ваше дело». Пробовал отшучиваться. Перетолчин помалкивал. Наконец кто-то бросил фразу, которая давно была на языке у каждого:

— Лучше уходи из бригады, чем так жить!.. Жадов вскочил.

— Черт с вами! Жадов нигде не пропадет! — Он повернулся к Баре: — Варька! Собирайся! Пойдем отсюда!

Варя подняла голову, глаза у нее были сухие, усталые.

— Никуда я не пойду, Миша, — тихо сказала она. — Один раз ушла за тобой, хватит... И ты не ходи. Не прав ты.

— Снюхалась тут! Гадина! Черт с тобой!..

Он распахнул дверь и шагнул в вечернюю темень.

— Миша! — крикнула Варя.

Жадов не ответил. Дверь, раскачиваясь, повизгивала петлями. Варя встала, но тут же без сил опустилась на скамью, заплакала и проговорила сквозь плач, словно удивляясь чему-то:

— Зачем вы так!.. С ним лаской надо...

— Как же так? Как же? Что вы, ребята? — растерянно бормотал Боря Кузьмин. — Разве можно так? Ну, поспорили, и ладно. А вы... Я сейчас, я верну его!

Он выбежал вслед за Жадовым.

Все молчали. Никто, конечно, не хотел, чтоб Жадов уходил. Стрехов подошел к Заре, погладил ее по голове. Она по-детски доверчиво уткнулась лицом ему в живот и молча плакала.

— Жизнь — одна из форм существования белка в дерьме, — сказал Збарский и повернулся к Перетолчину: — Доносчиков, дед, даже благородные дворяне били сапогами.

— Дворяне? Дворянка ты, а не дворянин! По чужим поветям шастать!..

Стрехов сжал кулаки.

— А ну тихо! На место! — Глаза его стали бешеными.

Все примолкли, а Стрехова словно прорвало. Ему было стыдно за себя, за свое прежнее, стороннее — теперь он понимал это — молчание.

— Вы что сюда приехали, кашу есть? — кричал Стрехов. — Ковырять болячки собственные? Живете, как пауки в банке! Один хочет «просто жить» — грибы собирать да брюхо отращивать. У другого все ханжи, кроме него самого. У третьего одна звезда в окошке — рубль длинный!..

Они в первый раз видели бригадира таким и понимали, что его слова не рсди слов, что он искренен, что ему больно за них.

Открылась дверь, на пороге встал Кузьмин, волосы его были растрепаны, губы оттопырены по-детски. Сказал обиженно:

— Он мне по шее дал...

Наверно, в другую минуту все рассмеялись бы: Борька был на полторы головы выше Жадова и пошире в плечах. Но сейчас они молчали. Стрехов сел за стол, устало сторбившись, и стал вдруг как-то старше своих двадцати пяти: на кистях рук взбухли вены, губы сжались, глаза потускнели. Только белесая челка на выпуклом лбу была по-прежнему мальчишеская.

Что он мог еще сказать им?.. Что стройка в Таежном задыхается без энергии? Что экскаваторы простаивают в карьерах? Что их линию ждут, как манну небесную, и надо работать, работать, а не ссориться по пустякам?.. Все это они знали и без него.

Андрей вспомнил о предложении Иванова и сказал:

— Нам поручили трудную штуку, труднее нет на трассе. К северу речка Долоновка, болото. Туда из Таежного уже подходят с проводами монтажники, а просеки нету. Посылали рубить ее две бригады. Обе сбежали. Я обещал что к Долоновке пойдем мы. На нас надеются. Только на нас... Обещал. А теперь вижу, напрасно...

Стрехов и сам не знал, почему сказал неправду, но почувствовал: это ход верный. Нужно прервать обычное течение жизни, нужно поставить бригаду в такие условия, в которых и спор с чаепитием, и цинизм Збарского, и выходки Жадова стали бы невозможны. Полумеры вроде бензопил не помогут: нужно поломать жизнь бригады круто и немедленно, иначе все это черт знает куда может пойти! Риск? Тоже сбегут? Пусть! Лучше полный крах, чем... Главное, уйти от обыденности, от ее мелочей, которые застыт глаза, как бельмо, уйти от ее морали, всепрощающей, все оправдывающей, уйти, чтобы понять самих себя. И чем труднее будет, тем лучше!

— Напрасно, — повторил он с горечью. — Разве ж вы решитесь на такое?.. Пауки. Верно, пауки...

Андрей замолчал и, боясь поднять глаза, ждал, что ему ответят. Если в этих людях есть хоть что-то истинное, не грошовое, — они не могут не согласиться... Борис Кузьмин проговорил недоуменно:

— Ты тоже загнул, Васильич: так уж и пауки?.. Варя перебила его, сказав даже с какой-то радостью:

— А что? Я бы пошла. Почему не пойти? Наверное, она подумала: раз Жадова нет, лучше уйти из этого балка.

— А прогрессивку там будут платить? — спросил Перетолчин.

На него зашикали.

— А чего? А чего вы? — заспорил старик. — Рупь, он тоже не пешим ходит, а на горбушке ездит, вот тут. — Он похлопал себя по шее. — Мы бы с пилами здесь сколько наворочали: деревья одно другого толще, кубатура! А в болоте? Осинки склизлые?..

Он утверждал как раз то, против чего восстал Стрехов, это все чувствовали. Кузьмин сказал жестко:

— Пойдем на Долоновку.

Коля Сафронов мечтательно произнес:

— На болоте всегда дичи много... — Помолчал и спросил Стрехова: — Чего ты волнуешься, Андрей! Больной? Нервы лечить надо, в санаторий ехать, что ли?

Все рассмеялись и поняли: с Долоновкой решено.

— А ты, Збарский, как думаешь? — спросил Стрехов.

— В жизни все едино есть.

— Как это едино? — не понял Кузьмин.

— Я давно, Боря, следую принципу: если не можешь жить, как тебе нравится, то пусть тебе нравится, как ты живешь. А если...

— Ладно. Хватит философии! — перебил его Стрехов. — Коли так, пусть тебе и Долоновка понравится.

Полдня они шли вдоль речки. Слева вразброс стояли ели, опустив нижние, сухие ветви к самой земле. Ноги утопали дряблом, пропитанном влагой мхе; из него торчали бледные стебли хвощей. На яростно-зеленом фоне мха они казались какими-то выморочными. Снизу поднимались мглистые испарения, меж деревьев скользили неясные тени.

Справа сквозь буйные заросли тальника, ольшаника изредка мелькала река. Вода в ней стояла непроницаемо-черная. Лишь кое-где у самого берега, прилепившись к корягам, блестели в ней ржавые водоросли. Светило солнце, полоска воды лежала нешироко, но тот берег едва угадывался в тумане.

Стрехов слышал, как кто-то за его спиной хмуро сказал:

— Гиблое место...

Он шел первым. Вдруг из-под самых его сапог взлетела небольшенькая птица: зеленоватая гузка, серо-коричневые крылья, длинный трепещущий хвост. Взлетела, прокричав что-то радостное, и метрах 8 двадцати опустилась на землю, оглядываясь.

«Птица-проводница, — подумал Стрехов. — Куда-то она приведет?»

Она опять взлетела, юркнула в красные дебри тальника. Стрехов подошел ближе и увидел заросшую кустами тропку, а дальше — перекинутые через речку замшелые слуги. Ай да фокус! С утра они ищут брода, а тут — на тебе — птица привела к переправе! На том берегу призывно прокричала сорока: «Сю-да!..» Стрехов улыбнулся. Таинственный лес кругом, птицы, которые помогают людям, и сами люди, обвешенные всяческой кладью, топорами, пилами, — все это напомнило ему добрые детские сказки про чудо-богатырей, которым природа — и та в помощь...

— Эгей, ребята! — крикнул он, обернувшись. — Держи хвост морковкой!

Нет, ему никак не хотелось верить в плохое. Не то чтобы изменилась бригада — что-то переменялось в нем самом. Стрехов это чувствовал. До сих пор все в его жизни складывалось гладко, может быть, слишком гладко: школа, техникум, три года армейской службы, потом — работа механиком в городском автопарке. Всю жизнь он больше имел дело с машинами, чем с людьми, и привык отвечать только за себя. Когда ему приходилось спорить, доказывать свое, он робел. Ему всегда казалось, что он слишком незначительный человек, чтобы учить других. Сейчас ему впервые пришлось встать выше других, и первая победа, одержанная в споре из-за Долоновки, убедила его в том, что и он чего-то стоит. По-человечески стоит, а не просто как какой-то там механик...

Он присвистнул тоненько, озорно, окликав свою птицу-проводницу. Но она притаилась в кустах, уже сделав свое счастливое дело: если бы не этот едва приметный переход через Долоновку, они не нашли бы на том берегу и зимовья, видимо, брошенного проектировщиками трассы. Пришлось бы им, как и двум бригадам, уже побывавшим здесь, ставить палатку в сырости, в воде... Люди почувствовали, что им повезло, и сразу повеселели.

Збарский, переходя по следам, упал в Долоновку. Выбравшись на берег, он долго не мог согреться, но дурачился, таранил и без того выпуклые глаза, приговаривал:

— Руки стынуть, ноги зябнуть, не пора ли нам дерябнуть?..

Пришлось дать ему стакан водки. Коля Сафронов разводил костер и ласково поругивал его:

— Вот чудак! Ну чудак! — Это было самое ругательное слово в его словаре. — В тайге знаешь, что самое страшное? Оступиться. Оступился — ногу сломал. Оступился — промок, замерз. Оступился — пуля в лоб.

— Так уж и пуля? — усомнился Збарский. — А мне вот водочка. Может, я нарочно.

— Чудак!.. Друг у меня, с детства вместе росли, понял? Зимой белковал. Белку знаешь, как у нас стрелять? Скблзом. Чтоб пуля тронула голову, оглушила, а шкурка целая. Заходят, чтоб из-за дерева одно ухо у ней торчало, и стреляют, понял?.. У него тозовка была и на плече — дробовик с жаканом, на медведя. Пятился он, пятился и не заметил сзади под

снегом валежину. Упал, дробовик как жажнет! Весь пах ему разворотило. Видать, спустил курок рукавом, когда падал. Три дня до зимовья полз. Ногу отрезали, понял?.. Самое страшное в тайге — оступиться.

— Ты что людей-то пугаешь, Коля? — спросила Варя.

— Пугаю? Не-ет, тайга, она людей любит! Только ее тоже любить надо.

Костер никак не разгорался. Набрякшие водой ветки шипели, гасли; огоньки вяло прыгали по листьям. Тут-то и прибежал Кузьмин, который ушел было вперед, и еще издали закричал:

— Зимовье! Ребята, зимовье!..

Это была избушка, срубленная из круглого леса, три шага в ширину, четыре в длину. Нары. Едва пробивавшийся сквозь оконце свет выхватывал из тьмы покрытые копотью стены.

— Крыша! Понимаете, крыша! — восхищался Кузьмин. — Всегда сухой пол! А каменка? Нет, это не то что у охотников, — весь дым в окно! Труба-то наружу! В таком зимовье сто лет можно жить!.. Коля, ты охотник, скажи, разве не так?

Сафронов подтвердил:

— Хороший дом.

Збарский, малость осоловевший от водки, стал рассказывать:

— У меня сосед был, восторженный такой старичок, вроде тебя, Боря. На улице ливень, он вернется — до нитки мокрый — и руки трет: «Ох, дождь! Вот это дождь! Хорошо!» Солнце целый месяц палит, дышать нечем. А старичок опять восторгается: «Ну жара! Вот это жара! Давно такой не было! Хорошо!» Мороз вдарит, старичок вернется, весь синий. И опять: «Ох, мороз! Хорош!» Потом его схоронили. Когда на кладбище несли, кто-то возьми да и скажи: «Ох и гроб, ребята! Сосновый, деревом пахнет! Хорошо!..» Вот я тебе, Борис, такой же гроб сколочу, когда ты в этом болоте загнешься...

— Ну тебя, — отмахнулся от Збарского Кузьмин. Все сошлись на том, что зимовье доброе. Главное, каменка есть. Чудесная каменка и сухой пол!

С жильем устроились. Прошло несколько дней, и смирились даже с тем, что хлеб да и все продукты пахли прелью. Но невозможно было привыкнуть к гнусу. Комары тут были величиной с навозную муху, да и мошка не давала покоя. Мазались диметилфтолатом, надевали накомарники, напоминавшие паранджу, — ничто не помогало. Мазь быстро высыхала, а в накомарниках душно было работать. Гнус забирался за шиворот, жег шею, уши. Как ни странно, больше всех страдал самый сильный в бригаде — Боря Кузьмин. Лицо его вспухло, к вечеру поднимался жар. Стрехов хотел оставить Бориса в зимовье, но тот не согласился.

Ох и здорово работалось с бензопилами! Делаешь надрез с одной стороны дерева, почти бежишь на другую сторону и, не разгибаясь, размашистым жестом бросаешь пилу ниже первого надреза. Цепь сразу визжит глуше, и веером летят желтые пахучие опилки. Вот уж и мох и сапоги пожелтели. Опилки запутались в выгоревших волосках на запястьях рук, дрожат, словно капли, на ресницах, и в воздухе стоит запах свежего смолистого дерева, напоминающий запах грибов. Сафронов сзади развилкой подталкивает деревья, Стрехов не оглядывается на него, он знает, что Коля здесь: сверху на плечи Андрею мягко шлепаются ошметья коры, содранные развилкой. Стрехов видит только свою пилу, туго цепляющую ствол, рвущуюся из рук, и искоса — Кузьмина, который то и дело поглядывает на бригадира, считает, сколько деревьев тот повалил. С каждым новым деревом лицо его, опухшее, красное, становится все сосредоточенней и злее. Кузьмину трудно: он выше Стрехова, ему надо ниже наклоняться, ведь пни следует оставлять не больше тридцати сантиметров. Он уже и вовсе не разгибается, ноги выставляет боком, цепляя носками валежник, только бы не отстать, не отстать! Азартная, веселая работка! И вот уже Андрей ловит во взгляде Кузьмина мольбу: сколько же будет длиться эта скачка! Ведь и плечи уже свинцовые: пила-то не легонькая, не поднять ее, мышцы напряжены до боли, кажется, вытягивают их, намотав на рукоять пилы. Перед глазами искристый буран опилок. Ну

хватит же! Но Андрей, пересиливая себя, пилит еще и десять, и пятнадцать, и двадцать минут. Взгляд Кузьмина становится отчаянным, вот-вот Борис крикнет: «Все! Мы не железные! Баста!» Только тогда Андрей командует:

— Шабаш, Колька! Перекур! — И почти падает на ближний пенек. Срез пенька прохладный и теплый одновременно.

Кузьмин тоже садится. Минуты две они глядят друг на друга и не могут сказать ни слова: не хватает дыхания. Эти минуты — единое мгновение радостной, трогательной до слез, доверчивой близости, будто бешеная работка породнила, связала их особенными узами.

Каждый день Андрей намечает далеко впереди какое-нибудь высокое дерево, до которого надо дойти к вечеру. Оно как предел, как избавление, как победа над самим собой.

Опять гремят пилы, рушатся оземь деревья, подымая грязное марево брызг. Если прислушаться издали, кажется, где-то на реке бабы часто бьют вальками белье. Но иногда — стоит бригаде войти в мелколесье — звуки эти напоминают шорох мельничных жерновов, шум потока, падающего с высоты.

Мелколесье хуже всего. Здесь бензопилы уже не нужны, орудуй топором. Под ногами — хлябь, слякоть, то и дело оступаешься в окна с черной жижей. Все работают поодиночке, и болото начинает казаться неизбежным, прежняя радость уходит.

В такие дни, вернувшись из тайги грязные и мокрые до нитки, умывались молча, развешивали вещички вокруг каменки и так же молча долго сидели вокруг костра, пока наконец не завязывался разговор. Комары жалили нещадно, но в зимовье, стены которого, должно быть, навечно впитали в себя запах прели, возвращаться не хотелось.

Варя готовила ужин на каменке, когда в избушку вошел Збарский. Долго возился в своем рюкзаке, потом подошел к окошку. В полутьме фигура его казалась выше, крупнее.

— Не засти свет-то,» — сказала Варя. Збарский сел на нары.

— Ну, чего пришел?

Он не ответил. Молча пощипывал усики. Недавно отрастил их, тоненькие, словно нарисованные сажей. Пожалуй, единственный в бригаде, он ухитрялся даже здесь тщательно следить за собой. Каждый вечер долго чистил куртку, драил напильничком ногти, изводил невероятное количество мыла. Стрехов его всем в пример ставил.

— Опять тебе скучно с нами? — спросила Варя.

— Ох, Варюха! Пойми ты, неразделенная любовь хуже разделенного богатства! — Збарский вздохнул. Ему нравилось разыгрывать Варю. Он делал это то ли от скуки, то ли из любопытства, хотел понять, что же было тогда в балке? Обычная бабья жалостливость? Или она ждала чего-то серьезного?..

— Заладил, как слепой на дороге! — досадливо отмахнулась Варя. Помолчав секунду, засмеялась и сказала: — Вить, а ты с усиками на этих, городских,, как их... на стилиг стал смахивать.

— У стилиг, Варя, кроме усиков да брючат узких, ничего за душой нет, — негромко сказал Збарский. — Это же стадо. Мозги атрофировались. Одни инстинкты.

— А ты, значит, не такой? — спросила Варя с издевкой.

— Я? Не такой! Мне много надо! Вот хотя бы тебя, — сказал он почти весело и наклонился к ней. Но Варя, поскучив, отвернулась и присела у печки.

— Знаешь, Витя, — сказала она, — я бы, может, тебя и полюбила... Ты смешной!.. Да ты меня не полюбишь.

— Это почему же?

— А потому, что ты только ту полюбишь, которая сильнее тебя. А я уж больно слабая, жалостливая. — Варя вздохнула.

Эти слова почему-то задели Збарского, Он снова отошел к окну.

Ему вдруг захотелось обидеть Варю.

— А ведь я вчера в Ключах был. За хлебом ездил, ты же знаешь. Почему ничего не спрашиваешь?

Варя подошла к печи, открыла котел, обдав себя паром. Порезала и бросила в щи лук, морковь. Наконец спросила как бы невзначай:

— А в Ключах кого видел?

«Боится прямо спросить», — подумал Збарский. Это было ему приятно.

— Мишку. Пьяный в чайной сидел. Глаза навывкат, рубаху рвет на груди. Свинья свиной!

— Ишь ты! Гуляет, значит... Мается. — Варя горько улыбнулась.

— Как ты можешь! Ведь но стоит он...

Варя резко повернулась к нему, глаза ее блеснули.

— Думаешь, ты один чистенький?

— Варя!

— Уйди отсюда! Уйди с глаз моих!

В ее раскосых глазах было столько диковатой силы, что Збарский смолчал и покорно вышел из зимовья.

Стемнело. Неподалеку, у яркого костра, сидели люди. Лохматые тени плясали в кустах. Кто-то крикнул:

— Збарский! Скоро ли ужин?

Он не ответил, ушел напрямик в тайгу. Глядя на Варю, подходившую с ведром к костру, Перетолчин сказал:

— Они нам сварят щец! Не расхлябаешь. Уж Варя-то сварит!

— А что Варя? — Она остановилась разом, будто ее кто-то толкнул.

— Да ить как же, любовь...

— Что любовь? Иль любить нельзя?

— Заладила! — проворчал старик. — Пустое это все. Просто кровь в тебе бродит. Нету ее, любви-то. Совсем нету. А есть сила и слабость. Сильному человеку надо силу свою спытать над слабым, покочев)житься, а слабому — к сильному приклониться, защиту найти. Вот и вся любовь тутака.

— Что это вы все твердите: «Сильный, слабый»! — раздраженно воскликнула Варя. — А ты какой? Тоже сильный?

— Я-то? А мне приклоняться ни к кому не надоть. Вроде бы повеселев, Варя вдруг наклонилась и обеими руками быстро прижала голову Перетолчина к своей груди. Звонко, как ладонью шлепнула, поцеловала его в лысину. — Любви нету? А это что тебе?

— Ты чо! Сдурела, что ли! — пробормотал старик, задыхаясь, дергая головой, впрочем, не слишком усердно. Варя почувствовала это.

— Это кто же сильный? Ты или я? — уже зло спрашивала она. — Да что ж ты тихо рвешься-то? Сладко, что ли? Отвечай, говорю, сладко ли?

— Ох, сладко! — со свистом произнес Перетолчин. Варя оттолкнула его.

— Эх ты! Любви нету!..

Сафронов и Стрехов хохотали. Боря Кузьмин вдруг пропел:

На дворе стоит туман,
Сушатся пеленки.
Вся любовь один обман,
Окромя ребенка!..

Еще мгновение Варя стояла выпрямившись. На глазах ее показались слезы. Она отвернулась и быстро ушла в зимовье.

Будто отрубил и смех и частушку. Стрехов кивнул Кузьмину: иди за мной.

Направился он не к зимовью, а в тайгу, в ту сторону, куда ушел Збарский.

Стрехов с Кузьминым с трудом разыскали Збарского. Он сидел на валежине и даже не взглянул на них.

— Збарский, — тихо спросил Стрехов, — ты чего к Варе пристаешь?

— Мне интересно, — спокойно ответил Збарский, будто давно ждал и их самих и этого вопроса.

— Что интересно? Збарский молчал.

— Слушай, ты что, — Стрехов тоже старался говорить спокойно, — кисленького захотел? Почему она плакала? Из-за тебя? Ты ее довел!.. Знай: Варю мы тебе не дадим! Мы, может, все перед ней виноваты, а ты... Не смей! Понял?

Збарский поморщился.

— Ох, как вы все мне надоели! И Варя, дурочка недоделанная, и ты, Стрехов, борец за правду... Ну, чего вы пристали ко мне, чего?

Стрехов хотел ответить, но его опередил Кузьмин.

— Збарский, ответь, почему ты такой злой? — спросил он с искренним удивлением. — Нет, не злой даже... Не умею сказать! Равнодушный, что ли. Мертвый!

— Мертвый? Ну что ж, может быть, это даже и хорошо. Мертвый! Прекрасно! — Теперь Збарский говорил, уже заметно горячась. — Не я себя создавал, не я себя воспитывал. Мертвый! Прекрасно! А вы живые? Пляшете, как куклы, потому что вас за ниточки дергают, и радуется: живе-ем! А я не хочу, чтобы меня за ниточки дергали.

Стрехов усмехнулся.

— Умешь ты мусор душевный словесным прикрывать, умешь!

— Мусор? — Збарский вдруг рассмеялся хрипло и стал опять язвительно-спокойным. — Ты меня этим не обидишь, Стрехов. Меня уже не первый раз с мусором сравнивают. Рассказать, как в первый раз, было?

— Исповедь кучи хлама...

Збарский не обратил внимания на его слова.

— Я в университете учился, вы знаете. Увлёкся философией. Нет, не той, что с кафедры читают, не манной кашкой, разжеванной для легкого употребления. Я сам хотел до всего дойти! Читал Фихте, Канта, Гегеля, Шопенгауэра. Читал, узнавал... Нет, не думайте — Маркса и Энгельса тоже читал, их больше всех читал. А потом рассказывал ребятам: им интересно было, они спрашивали. Вот и все мои прегрешения... А меня за пропаганду буржуазной идеологии, за мусор в голове из университета — того! Вычистили! Вот и вся история.

— М-да, — недоверчиво протянул Стрехов.

— Неправильно они сделали! Неправильно, если все так и было, как ты говоришь! — воскликнул Кузьмин. — Но даже если так... Ты-то сам что? После этого мертвяком захотел стать? Тогда со многими неправильно делали. Что же, всем в скорлупу залезать? Теперь-то жизнь, смотри, как меняется! А ты?.. Нет, ты что-то хитришь! Сюда, например, приехал зачем-то! Значит, веришь во что-то?

— Приехал пощупать своими руками, что такое рабочий класс. Движущая, так сказать, сила... А насчет веры... я теперь только тому верю, что своими руками пощупаю. Прагматизм, слышали, есть такая философия? По мне, она сейчас самая мудрая!

Стрехов вспомнил: «От кого-то я уже слышал это слово. Недавно слышал... «Прагматизм»! Ах да, от Иванова! Но при чем тут Иванов? Почему они оба, такие разные, за это слово ухватились?» Он спросил:

— Ну и как, пощупал?

— Я уж сказал: такие же куклы.

— Значит, философ ты?

— Без философии-то одни клопы живут. Стрехов добро рассмеялся.

— А твоя философия в переводе на русский, знаешь как называется? Каждому своя сопля солоня! Вот и вся твоя мудрость тут. Не стоит в университетах учиться, чтоб ее познать.

Збарский вскипел.

— А ты кто такой, чтоб морали читать! Подумаешь, герой! На Долоновку бригаду увел! В болоте ковыряешься! Приказал Иванов, — ты и увел. Привык по приказу жить, чтобы за ниточку дергали. Герой, доброволец!

Стрехов не стал ему объяснять, что решение идти на Долоновку принял он, а вовсе не Иванов. Андрея поразило другое. Черт возьми! Збарский повторил его собственные мысли. После того злосчастного взрыва на южной стройке, унижая себя, Стрехов так и думал: «Все мы привыкли, чтобы нам приказывали. Даже поступки хорошие, если они сопряжены с риском, совершаем только по приказу!..» Сейчас Стрехов понимал, что это неправда, чушь! Но такое совпадение мыслей было странным. До сих пор стыдно за те мысли. А Збарский несет их как флаг! Значит, ему приятно это унижение? Опять какая-то чушь! Збарский просто озлобился, это должно пройти. Не надо сейчас судить его строго...

А Збарский — даже в темноте видно было, как зло шурятся его глаза, — говорил:

— Я не скрываю: все вы тут, вместе взятые, безразличны мне. Тебе, Стрехов, тоже все безразлично. Только ты это скрываешь!

Стрехов не нашелся, что ответить, но тут вплотную придвинулся к Збарскому Кузьмин, громадный, взлохмаченный, с опухшим лицом. Он легко притянул Збарского к себе.

— Слушай, ты! Андрея Васильича не трожь! Никого не трожь! Думаешь, у тебя беда случилась, так все лапать можно? Что ты знаешь про нас? Пощупать приехал! Своими руками! Что ты видел?

Он оттолкнул Збарского и, дыша тяжело, сел на валежину.

Долго молчали.

Потом снова заговорил Кузьмин:

— Во время войны в деревне соседи мои померли, старик со старухой. Жили они вдвоем. Сперва старик помер, но мы этого не знали, потому что бабка никого к себе в избу не пускала. Смерть она скрыла, чтобы его продовольственными карточками пользоваться. Две недели с трупом провела. С трупом мужа, пойми! Сорок лет вместе прожили!

Он замолчал, отвернувшись, а потом вдруг без всякого перехода спросил:

— Вы когда-нибудь ночью к Москве на самолете подлетали? — Никто ему не ответил. — Я один раз подлетал, когда в армии служил. Вижу, внизу подо мной море огней! Желтых, зеленых, синих, красных. И я представил себе город, в котором всегда на любой улице много огней, всегда праздник, всегда новогодняя елка. И люди по этому городу ходят только с улыбкой, чистые, добрые, умные! Каждый из них ближе тебе, чем самый родной друг!.. Когда-нибудь будут такие города, наверняка будут! Поэтому сейчас я не хочу думать об этой старухе! Я хочу думать о будущих городах. Потому что...

— Ты еще спрячь голову под крылышко, — сказал Збарский. Кузьмин оборвал себя на полуслове, махнул рукой.

— Что с тобой говорить!.. Пошли, Васильич! Его сейчас ничем не проймешь. У него и горяшко-то, если случится, так свое только, личенькое, маленькое, как муравьиное яйцо, зато свое! Разве он понять может?

Сейчас Кузьмин казался Андрею старше своих, лет, даже старше его самого, Стрехова. Они ушли, в темноте натыкались на ветви; сушняк яростно хрустел под ногами.

— Знаешь, Боря, — вдруг сказал Стрехов с грустью, — я еще ни разу на самолете не летал, Как-то не приходилось...

10

Стрехов долго не спал: все никак не шел из ума ненужный спор Перетолчина с Варей, разговор со Збарским... И эта жестокая фраза: «Тебе, Стрехов, тоже все безразлично. Только ты это скрываешь!» Была в ней какая-то правда, он это чувствовал. Какая?..

Все началось со смерти жены. Тогда Стрехов думал об одиночестве, о том, что даже множество людей не заменит одного человека.

С этого все и началось. Ему захотелось, пусть подсознательно, жить одному, без прошлого, без ставших мучительными раздумий. Просто жить.

Просто — значит только для себя, собой? Да, у него действительно явилось тогда такое желание. Может быть, именно его-то и почувствовал в Стрехове Збарский?

В оконце зимовья светила одинокая, большая звезда. Она как бы венчала лохматую, почти неразличимую пирамиду высокой ели... Звезда эта тоже была тогда. Через час после смерти Тани Андрей шел по улице, и кто-то пел: «И на штыке у часового горит полночная звезда...» Стрехов еще подумал: «Как так на штыке?.. Нелепо, бессмысленно!..»

В первый раз за все это время Андрей позволил себе вспоминать. Он вызывал в памяти мельчайшие детали и удивлялся, почему теперь они не ранят так больно, как прежде...

В тот вечер они собирались в театр. Минут двадцать Андрей ждал Таню у входа. Прозвенел уж второй звонок, но ее все не было. «Наверное, опять какая-нибудь идея», — подумал он. Таня работала инженером-конструктором на машиностроительном заводе. У нее то и дело возникали «идеи», и она, забывая про все, просиживала над чертежной доской до поздней ночи.

Андрей пошел к автомату, но дозвониться не смог. В конце концов порвал билеты и пошел домой.

По лестнице подымался усталый, сердитый. Собирался отругать Таню.

Не успел подойти к двери, как она открылась. На пороге стояла Эльвира Антоновна, соседка, машинистка, женщина немолодая, но молодящаяся. Она всегда разгуливала по квартире в громадных голубых бигуди, которые раздражали Андрея. Сейчас их не было. Андрей уже хотел сострить по этому поводу, но вдруг увидел: лицо Эльвиры Антоновны, всегда спокойное, с ровным овалом щек, сейчас осунулось от волнения, светлые глаза смотрели на него с состраданием.

— Андрей Васильич... — сказала она и замолчала. По ее лицу он понял, что случилось нечто непоправимое.

— С Таней что-нибудь? — спросил он холодея.

— Танечка час назад вышла... — сказала Эльвира Антоновна и опять замолчала. Все слова, которые она приготовила, куда-то пропали. — Позвонили из больницы... — с трудом выговорила она. — Попала под машину.

Он вздрогнул и тихо спросил так, как спрашивают о гриппе, расстроенном желудке, ангине:

— Что-нибудь серьезное?

Тон его вопроса, наверное, помог ей успокоиться, и она ответила почти весело:

— Рука! Перелом руки! Вы не пугайтесь, Андрей Васильевич!

— Перелом руки? — переспросил Андрей, глядя ей прямо в глаза.

— Да, перелом руки, — пробормотала Эльвира Антоновна и отвернулась.

Каким-то внутренним, не зависящим от сознания чувством Андрей понял: случилось нечто неизмеримо более страшное. Он побежал вниз по лестнице. Эльвира Антоновна что-то кричала ему вслед, но он уже ничего не слышал. «Под машину? Как же так? Под машину!.. Под какую машину?..» Он никак не мог представить себе, что это случилось с Таней. Он еще надеялся, что произошла ошибка и сейчас все выяснится.

На одной из дверей больницы висела белая дощечка со словами: «Приемный покой». Он распахнул дверь. В конце коридора сразу увидел полустертую надпись: «Дежурный врач».

Человек в белом записывал что-то в толстую книгу. Подумав о том, что надо быть спокойным, Андрей спросил тихо и как бы извиняясь:

— К вам не привозили женщину по фамилии Стрехова?

— Привезли, — не поднимая головы и не переставая писать, ответил врач.

— Что с ней? — Андрей невольно заглянул через плечо врача в толстую книгу.

Врач писал: «Перелом руки и затылочной кости черепа...» Дальше шли непонятные латинские слова.

— У нее перелом руки, — сказал врач и поднял голову. Глаза у него были темные, настороженные. — А вы кто ей будете?

Тем же странным внутренним чувством Андрей понял: запись в книге была про нее, Таню, Не сдерживая себя больше, он крикнул:

— Зачем вы обманываете? Она жива? Проведите меня к ней!

Как он шел, Андрей не помнил, Слева открылась какая-то дверь. Ему сказали: . — Здесь. Тихо...

Синий свет, койка с тускло блестящей спинкой, молодая сестра, испуганно смотрящая на Андрея. Он шагнул вперед. На койке лежала женщина. За пределами койки он ничего не видел. Голова женщины была забинтована. Вместо глаз — темно-фиолетовые круги. Все, кроме них, белое-белое: щеки, подбородок, подушка, простыня... Лишь у рта женщины что-то чернело. Он понял: резиновая трубка, кислород. Тело на койке было крупное, не Танино. Рука поверх простыни — в плотном бинте, толстая, чужая. Андрей с мгновенной надеждой подумал: «Это не Таня. Ошибка!..» Но увидел другую руку и узнал ее: худенькую, с маленькой кистью, повыше локтя — ямочка. Только ссадина на локте чужая, да пальцы недвижные, мертвые. Он почему-то подумал: «Откуда ссадина?..» Прихлынули слезы, но, забывая обо всем другом, он вспомнил, что ему приказали вести себя тихо.

— Таня... — прошептал Андрей.

— Садитесь.

Сестра кивнула ему на стул в ногах больной.

Потом в памяти опять был провал. Он помнил только, что хотел доказать сестре, будто Таня не такая, это не ее круги вместо глаз, не ее тяжелое тело. Он показывал сестре маленькую карточку Тани, которую носил в кармане уже семь лет. Сестра разглядывала ее, а Андрей смотрел на страшные фиолетовые круги у глаз Тани и думал: «Как ей сейчас больно! Она такая слабенькая!..»

На карточке Таня была еще студенткой. Чистый, гордый лоб, черные ровные брови, прямой нос, простая белая блузка. Сестра сказала печально:

— Красивая она была.

До его сознания не доходили слова. Он смотрел на обезображенное лицо жены и слушал голос внутри себя: «За что ей это? За что? Как нелепо!.. Пусть бы со мной. Я сильный, я выдержал бы». Но он так и сидел — сильный, но беспомощный и недвижимый...

На улице уже светало, когда Андрея прогнали из палаты. Устав ходить взад и вперед, он стал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу. Уборщица подметала коридор, сторбленная старушка в черном халате, с морщинистым неприятным лицом. В больничном дворике ветер гонял по асфальту прошлогодние листья.

— Дети-то есть? — скрипучим голосом спросила уборщица.

— Нет, — вздрогнув, ответил Андрей.

— Что ж ты так убиваешься? Молодой, представительный. Еще пять жен найдешь.

Андрей впервые подумал, что Таня может к нему не вернуться. Ведь сестра тоже сказала: «Красивая она была». Была... Нет, это невозможно! Таня, его Таня, такая молодая! Она и не жила совсем! Ему захотелось крикнуть уборщице: «Старая ведьма! Что ты каркаешь? Не бывать этому! Не бывать!»

Он быстро пошел, почти побежал в палату. Распахнул дверь и снова увидел неподвижную белую руку. В тот момент, когда он взглянул на нее, большой палец чуть шевельнулся. Шевельнулся! Рука была неподвижна, мертва, но Андрей уже знал, твердо знал: Таня будет жить!

Три дня он не выходил из больницы, то впадая в отчаяние, то еще надеясь на что-то. Нянечки привечали его, носили еду, прятали от врачей в каморке, где лежало грязное белье и посуда из-под лекарств. Ему казалось, что самое главное — ни на минуту не выходить из

больницы. От этого Тане должно было стать легче. Он думал о передаче воли на расстояние и, сидя в своей темной каморке, часами твердил: «Ты будешь жить! Ты будешь жить!..»

Но на четвертый день Таня, так и не придя в себя, скончалась.

Первые недели Стрехов совсем не помнил себя. А потом — он подумал об этом сейчас — его почему-то больше всего раздражали близкие люди. Должно быть, страшнее всего была эта суета вокруг него: озабоченные, словно виноватые лица друзей, фразы, оборванные на половине, как струна на гитаре, десятки других мелочей, которые долбят тебя по темечку с упрямством дятла. Суета горя... Может быть, именно из-за нее Стрехов и уехал. Зачем знакомые и друзья, если нет Тани?

По отношению к тому Стрехову Збарский был бы, наверное, прав...

Рядом с большой звездой над елкой вдруг зажглось сразу еще несколько звезд. Небо посветлело, ель словно засеребрилась.

Тихонько похрапывал Боря Кузьмин.

Да, тогда все окружающие были безразличны Стрехову. А что изменилось теперь?.. Конечно, он, Стрехов, мог сделать для Вари, для того же Збарского, для всей бригады гораздо больше, чем он успел сделать. Но кое-что он все-таки уже сделал. И они нужны ему. Он нужен им.

Нет, он не кукла и не может жить только по приказу. Даже множество людей не заменит одного человека, но и жить ради одного человека не стоит... Нет простой жизни, жизнь сложна всегда... Он нужен другим и поэтому будет сильным. Сила человека — в его ответственности перед другими людьми...

11

Просека, их просека, сделанная ими просека врубалась в тайгу все глубже, как широкий светлый проспект с двумя мохнатыми стенами пообочь. На закате багряные блики путались в кронах елок, зелень хвои отливала сталью. Деревья стояли молча и, казалось, несокрушимо.

Черные окна болот попадались все реже. Мох стал тоньше, сквозь него пробивались желтоватые перья травы. Однажды утром на пригорке открылась вершинка сосны. Про это место Стрехову рассказывал Иванов. Пятью километрами севернее болото кончалось. Туда уже подошла просека от Таежного, а у этой, вероятно, единственной здесь сосенки должны были лежать бочки с горючим, закинутые для монтажников по зимнику.

Разлапые ветви сосны голубели в небе, колыхались под ветром, манили к себе.

Все было так, как говорил Иванов: широкий холал, медноствольная сосна на вершине, десять железных черных бочек с соляркой. Рядом в жухлой траве ярились синие рододендроны.

Как приятно было лечь в траву, почувствовать спиной, локтями горячую упругость земли, услышать запах сухой прошлогодней опады! Возвращаться каждый день к зимовью стало далековато, поэтому решили жить здесь, поставить палатку на солнечном склоне. К тому же в палатке было просторнее. А главное, отсюда виднелся край ненавистного болота. Внизу, в осиннике, сквозили хлопья тумана, а на севере, где вдоль всего горизонта вздымались сопки, воздух был прозрачно-звонким.

До позднего вечера перетаскивали сюда утварь, пилю, канистры с бензином... Кузьмин старался больше всех. Ему казалось, что на холме ветерок обдувает мошку, да и комары добрее. Два дня назад Борис разрубил топором сапог, обмотал подошву тряпками. Гимнастерка его, белевшая солонцовыми пятнами, лопнула на плече, опухшее лицо обросло рыжеватым пухом. В бригаде его прозвали «каторжанин». У костра, над которым висело черное от сажи ведро, все они похожи были на ночных татей: лохматые, оборванные, грязные. А рядом поблескивала в траве сталь топоров.

К ночи прояснилось. Высыпали звезды, ласковые, пушистые, как котята. Тонкий, томительный звон, набегающий будто бы издали, доносился из леса. То ли ветер играл стволами деревьев, то ли зудело невидимое комарье, то ли устглость пела в ушах.

— Ну что, сердяги? — спросил Стрехов. В радужной полутьме люди эти вдруг показались ему необыкновенно, чуть не до слез близкими. Хотелось обнять их всех сразу. Он поискал слово поласковой и повторил прежнее:

— Что, сердяги, выбрались-таки из болота, а? Ему ответила Варя тем же насмешливо-добрым тоном:

— Выбрались! Если бы не Борька, сидеть бы нам еще полмесяца в тине...

— Борька, ты... танк! Ей-богу, танк! Но лицо Бориса вдруг погрузнело.

— Где-то он сейчас, мой танк!.. А что, ребята, — спросил он с внезапным воодушевлением, — если бы сейчас сюда нашу роту? Когда-нибудь будет так, — он уже яростно жестикулировал, — представьте: идет необычная машина по тайге, то ли танк, то ли бульдозер, то ли огромная пила; валит, толкает, растаскивает деревья, как спички. Ставит опоры, а в ней один человек! Я или Коля. Да любой! И делает больше всех нас вдесятеро!

— В болоте-то? — удивленно спросил Коля Сафронов.

— В болоте?.. А в болото ей не надо! В болото вертолет прилетит, под пузом — опора. Опустит — и все дела! Не надо будет ни балков, ни палаток. Говорят, есть проект: идет машина по целине и токами высокой частоты плавит землю, как стекло. А за ней полоса дороги лучше асфальта. И по этому асфальту мы в лимузинах катим. Подъехал к концу трассы: «Пожалста, Андрей Васильич, ваш танк!» Садись и дальше через тайгу двигай. Кучерявая жизнь!.. А все почему? Машина! — Борис поднял с земли руки, распухшие, большие, и долго смотрел на них. Должно быть, сейчас они показались ему немощными. Он даже сплюнул с досады и проговорил грустно:

— Соскучился я по машине... С нею я бог! А тут.» * Варя сняла с костра варево. Перетолчин ехидно заметил Борису:

— Боженька, иконостась-то протри. Ужинать будем. А то грязен, как дьявол.

Поели, потом забрались в палатку, но заснуть не могли долго. Что-то печальное — про дом, про эвенкийские села — рассказывал Коля Сафронов. Борис опять начал мечтать о том, как лэпоп;ы будут жить в его царстве машин: обязательно с семьями, словно в туристском лагере...

Приятно пахивало дымком.

Первым, громко чихнув, проснулся Перетолчин, Удушливо смердило гарью. Издали доносился приглушенный треск, будто где-то в тайге шла частая перестрелка. Старик, как был, растелешенный, вскочил, отогнул полог палатки. В километре — а показалось, совсем рядом — над лесом плавали облака дыма, из них вырывались языки пламени. Все вокруг было окутано едким туманом.

— Пожар, ребята! — закричал в ужасе Перетолчин.

Босиком, не чувствуя холодной росы, он выбежал наружу. С дальнего деоева к соседнему метнулся огненный блик и скрылся в листве. Старик отпрянул назад, но тут же догадался: это белка, распушив хвост, удирала от пожара.

Из палатки высыпала бригада. Столб пламени поднялся над сизыми облаками дыма, прогудел пушечный удар, взметнулись хлопья гари. Солнце багровым светом залило горизонт, будто горело все небо.

— Сюда! Сюда идет! — прокричал кто-то.

— Ах, мать моя, мамочка!

Еще одна белка, как розовый шар, пронеслась мимо людей.

— Держи!

Внизу, в болоте, где огня не было, раздался яростный треск, словно кто-то громадный прыгнул на кучу хвороста. Должно быть, это ломились сквозь тайгу лоси или медведи.

— Собирай барахло!..

Все бросились назад, в палатку; только Перетолчин да Стрехов еще топтались перед ней. Вышла Варя, на ходу скручивая узлом волосы, покосилась на Перетолчина. Проговорила лениво:

— Ты бы и кальсоны снял, дед...

Старик, прикрывая срамоту руками, скрылся в палатке. Андрей невольно рассмеялся, сразу успокоившись, но тут же вспомнил про бочки с горючим на вершине холма. Уйти можно, но ведь бочки-то с собой не возьмешь! Если сгорит солярка, ее не завезешь сюда до морозов. Сейчас в иных местах по болоту только-только легкий трактор без груза пройдет. Значит, монтажникам месяца на три, на четыре откладывать работы...

Между тем пожар близился, узким клином продвигаясь по холму. По бокам, в топях, он замирал. Лишь по деревьям от вершинки к вершинке прыгали красные языки, будто ими стреляли из огнеметов.

— А ну, назад! Все! — крикнул Стрехов, закинув полог палатки. В душном полусумраке ее скользили фигуры ребят. Испуганные глаза. — Назад! Горючее спасать надо!..

Ему пришлось еще долго кричать, пока люди сообразили, о чем речь. Остальное было делом минут: расхватав топоры, пилы, лопаты, все бросились вверх к сосне, одиноко высившейся над льдистым березняком. Позади, оглядываясь, семенил Перетолчин.

Пожар придвигался все ближе. Теперь в грязном мареве дыма видны стали отдельные деревья. По елям огонь серпантинил спиральями, березки взрывал, мгновенно обхватывая их снизу доверху. Змеился, трещал валежник, черные вихри косо проносились от земли вверх, сталкивались, закручивались в смерчи. Оттуда волнами приходил горячий воздух, будто распахнулась в полнеба раскаленная жаровня.

Человеку стороннему все это могло показаться красивым.

Бригада опоясывала бочки с горючим широкою полосой поверженных деревьев.

— Вершинами к полыню! — кричал Перетолчин. — Комлями к себе!

Но люди обостренным инстинктом и без того понимали, что и как нужно делать. Впереди всех шел Боря Кузьмин. Громадный, без шапки, с упавшими на глаза волосами, он яростно, крест-накрест размахивал топором. Деревья, словно былинки, падали к его ногам. Кузьмин ступал по ним, не выбирая пути. Заданный им ритм подхлестывал всю бригаду. Без продыха валили лес и полчаса, и час, и два. О времени никто не помнил.

Огонь придвинулся вплотную к просеке и упал вниз, заюлил меж кустов, забил фонтанчиками из травы.

В дыму люди уже не видели друг друга, а только слышали крики:

— Траву лопатами срубай!

— Бочки дымятся!

— Сюда-а! Помогай!

— Правее! Правее заходи! Куда ты, дура?.. Сгоришь!..

Раздался пронзительный дискант Перетолчина;

— Господи! Низом пошел, к палатке!

— Куда?! Назад!

— Вещи там!

— Назад, говорю! Черт с ними!

Прошло часа три, наверное, не меньше, пока не улеглась эта сумятица нервов, звуков, пламени. Дым поднялся кверху. Вот уже сверкнула сквозь него неестественно чистая голубизна неба. Люди смогли наконец разглядеть весь свой холм. У подножия сосны — голый, хвоя на ней истлела — невредимо лежали бочки. Только легкий дымок вился над ними. Внизу кое-где торчали обуглившиеся стволы деревьев. По ним к черной земле все еще сбегали струйками огоньки; то там, то здесь вспыхивали ярко и тут же оседали костры.

Вдали еще плыло над тайгой серое марево дыма, но и там пожар, остановленный болотом, должно быть, затихал.

— Кончилось, а? Отстояли, — пробормотал Кузьмин. Рыжую его бородку подпалил пожар, веревка, которой связан был разрубленный сапог, соскочила, сапог хлябал подметкой, под припухлыми воспаленными глазами чернели разводы сажи.

— Хорош гусь! — воскликнул Андрей.

Да и все они выглядели не лучше: в ссадинах, черные от копоти, кто-то хромал, у кого-то был разрезан рукав. Варя порвала платье на груди, в прореху выглядывал белый лифчик, но это никому не казалось нескромным.

— А что? Отстояли! — Борька вдруг вприпрыжку пошел вокруг бригадира. — Целы бочки-то!.. Это ты хорош, Васильич, а не я!

— Я?

Борька остановился и вдруг обнял Стрехова.

— Конечно, ты!.. Ты хорош! Если бы не ты, разве мы... такое... — Он развел руками. — Не умею я сказать!..

Стрехов перебил его грубовато:

— Ну-ну, ты без сантиментов. Да и вообще... вон, посмотри-ка лучше.

Все взглянули на склон холма, где стояла их палатка, а теперь высилась груда обгорелого хлама. Неподалеку от нее сидел Перетолчин. Егор Исаич Перетолчин. Сидел он на собственном своем фанерном сундучке. Одной рукой утирал с лысой головы пот, а другой держал стреховский винчестер.

Не сговариваясь, медленно пошли к нему. Наверное, вид у людей был угрожающий, потому что старик привстал, забормотал жалостливо:

— Вы чо?... Ну, чо?.. Только и успел вот...

— Вытащил, да? — желчно спросил Кузьмин.

— Не замай! — вскрикнул старик и вскочил на «оги.

— А бригадирово ружье зачем тащил, Егор Исаич? — невинно спросила Варя. — Из подхалимажа? Или тоже из жадности?

Стрехов усмехнулся.

— Ладно, ребята, не трожьте его.

— Как это «не трожьте»? — повернулся Кузьмин к бригадиру.

Обрадованный поддержкой, Перетолчин торопко сыпал слова:

— А чо ты ко мне липнешь все время? Яйца курицу не учат! Моя жизнь от тебя сторонняя! Кто ты мне, кто, чтоб учить? Ты сам по себе, я сам по себе. Живи как хочешь! Мои вещи тебе поперек сердца встали, да? Глаза у тебя, как у попа, завидущие...

— Будет вам! — уже досадливо перебил его Стрехов и опустил на траву. Но, не сдержавшись, и сам упрекнул старика: — Точно ты сказал, Егор Исаич: сторонняя у тебя жизнь.

Но Перетолчин не понял насмешки.

— Я и говорю: сторонняя. Ты хошь — иди по дороге, бублики собирай. А я уж как-нибудь катышком, по кустам, — пух-пух! Дичью побалуюсь. — Он поднял ружье и будто прицелился. — Пух-пух! Никому не мешаю.

Збарский, до сих пор молчавший, вдруг воскликнул как бы удивленно, но и не без обдуманной насмешки:

— Бригадир! А ведь ты из ружья-то еще ни разу у нас не выстрелил! Сколько живешь — ни разу! Оно у тебя стреляет? Или тоже уговаривает?

Стрехов взглянул на него внимательно и, помедлив, серьезно ответил:

— Стреляет... Только крови я не люблю. Збарский хотел сказать еще что-то, но в небе раздался стрекот мотора. Будто косилка бежала по ровному лугу.

— Вертолет.

— Не иначе пожарники!

— Угольки собирать прилетели!

— На самовар сгодятся...

— Нет! Это Борькину опору ставить тащат!.. л! Немудреные эти остроты заставили всех улыбнуться.

Вертолет неспешно петлял над лесом. Изредка он зависал над просекой, будто уставая нести свое толстое брюхо. Ребята задрали головы. Кузьмин, забыв про Перетолчина, махал кепкой:

— Сюда-а!

Вертолет приблизился, сделал круг и, верно, пошел на посадку. Покачнувшись, стукнулся о землю. Винт его еще вращался, когда дверца кабины открылась и вниз спрыгнул Александр Степанович Иванов, седой, ученого вида дядька в синем шевиотовом костюме, и светловолосая девушка в спортивных брюках.

12

Александр Степанович шел к ним, распахнув руки, грузный и весь какой-то добрый. Даже в голубых глазах его были не удивление, не испуг, не восхищение, а светилась безудержная доброта: такая, наверно, бывает у отца-балагура, бросившего детей, давно не платившего им алименты и наконец встретившего их:

— Ах, козла в вашу рожь!.. Как же так? Вы уже здесь, на сопке? А я-то думал, в болоте еще. Думал, не дойдет до них пожар, а все-таки полетел узнать... Как солярка? — вдруг быстро спросил он, и глаза его построжали.

— Отстояли, — сухо ответил Стрехов. Почему-то здесь, на трассе, Иванов показался ему лишним. — Палатка, все вещи сгорели.

— Палатка? — Глаза Александра Степановича опять заблестели весело. — Палатку бросили, а солярку спасли? Это мы возместим! Справочку только составь...

Он был шумен, напорист, но нисколько не суетлив. Сказав, что приготовил сюрприз, повернулся к седому мужчине, прилетевшему с ним.

— Самуил Григорьевич, не зря я тебя сюда вез? Это же орлы!

Самуил Григорьевич, с некоторою даже застенчивостью улыбнувшись, представился:

— Гребнев, начальник энтомологического участка Таежинского строительства. Собственно, участок наш организован недавно, по инициативе Академии наук. Вот весь его штат. — Вальяжным жестом конферансье он показал на себя и на девушку в спортивных брюках: — Татьяна Петровна Аверьянова. Мы занимаемся опытами по уничтожению гнуса, в основном мошки. Естественно, не могли не заинтересоваться Долоновским болотом...

— Одним словом, мошкодавы! — громко пояснил Александр Степанович и расхохотался.

Гоготнул, было, и Кузьмин, но тут же смущенно умолк. Девушка отвернулась, а Самуил Григорьевич вежливо улыбнулся и сказал: Г — Нас прозвали так в Таежном, не учитывая всей важности того дела, которое нам поручено. Гнус — это двукрылое кровососущее насекомое: комары, в том числе малярийные, слепни, жигалки, мошка, — слово «мошка» он произносил по-сибирски, с ударением на последнем слоге. — Если с комарами уже имеется полувековой опыт борьбы, то в отношении мошки такого опыта нет ни в смысле организационном, ни в смысле методов уничтожения. Даже биология ее как следует не изучена... Да вы садитесь, садитесь, товарищи! — вдруг попросил он. Несколько озадаченные, люди сели прямо на пахнущую дымом траву.

— Мошка лишает людей нормального отдыха, — продолжал Самуил Григорьевич. — Подсчитано: производительность труда падает из-за нее на тридцать процентов. Кроме того, мошка может явиться переносчиком инфекции. Нами установлено: в благоприятные дни на человека за три минуты нападает от тридцати до ста мошек...

— Как вы это установили? — оторопело спросил Кузьмин.

— На себе! На себе и на своей сотруднице. — Гребнев поклонился в сторону Татьяны Петровны Аверьяновой, а та, зардевшись, опять отвернулась. — Наука, так сказать, требует жертв...

Гребнев взад-вперед расхаживал по холму, как по сцене.

— Трудность борьбы заключается в том, что личинки мошек развиваются непосредственно в реке Чаре, прикрепляясь к растительности и камням. Это позволяет бороться лишь со взрослой мошкой, когда она вылетит из реки. За рубежом, например, в Канаде, мошка тоже есть, но там она плодится в мелких ручьях, и ее легко уничтожить в зародышевом состоянии, бросив ядохимикаты прямо в воду.

А у нас — масштабы! Не можем же мы отравить всю Чару!.. Радиус разлета...

Кругом еще дышало пожарище. Из земли торчали обугленные голые стволы. Кое-где в траве посверкивали огоньки пламени. Едко пахло дымом. Рядом со сгоревшей палаткой валялись черный казанок и пара расплавленных алюминиевых ложек.

Стрехов знаками отозвал Иванова в сторону.

— Слушай, Саша, он что, чайник? — Андрей покрутил пальцами у виска.

— Нет! Хороший мальчик!.. Знаешь, научный работник, увлечен своим делом...

— Зачем ты этот цирк здесь устроил? — Стрехов злился.

— Как зачем? — с улыбкой ответил Иванов. — Наука — великая сила! Если бы не он, где бы я вертолет взял? Как бы я к тебе добрался?

С ним нельзя было говорить серьезно. Стрехов безнадежно махнул рукой.

— Пойми, — начал убеждать его Александр Степанович, — не мог я не прилететь сюда...

Иванов рассказал, что на участке создается партийная организация и Стрехова вызывают в Серебряные Ключи. Кроме того, Иванова привело еще одно дело. На опоры линии передачи годится только лиственница, а здесь ее очень мало. В семидесяти же километрах отсюда, выше по Чаре, близ эвенкийского села Наноканно, роскошные лиственные леса.

— Догадываешься, о чем речь? — спросил Иванов.

— Сплавить оттуда?

— Так. А что дальше? Стрехов пожал плечами.

— Бурый ты, как сибирский мишка. Логика в тебе нет. Сафронов у тебя работает?

— Работает.

— Он же родом из Наноканно.

— Знаю. Ну и что?

— Людей у нас на участке нет. А эвенки сами нипочем лес рубать не хотят. Им бы только оленей гонять да за соболем бегать. Надо послать туда Сафронова. Он сумеет организовать бригаду. С ним еще пару человек. Уразумел?

— Разорить бригаду? И так у меня людей мало!

— На время же, козла в твою рожь! Да и вышли вы из болота, вернетесь обратно, там потянете! А сейчас я тебе вербованных подкину. Ты с ними обойдешься. А там опытных надо.

Все это было разумно. Но Стрехов уже успел освоить стиль Иванова и потому спросил быстро:

— Трактор в бригаду дашь?

— Что-о?

— Хватит нам лес руками нянчить! Лицо Иванова вытянулось.

— Нету у меня тракторов!

— Я тебя с Долоновкой выручил. Наноканно — опять я. Даешь трактор?

Иванов побряхтел.

— Ладно. — наконец сказал он.

Но Стрехову этого показалось мало. Он уже слышал: Миша Жадов устроился шофером на участке, но запил, и его выгнали.

— Помнишь, Жадов с тобой за бензопилами ездил?

— Помню. Выгнал я его.

— Об этом и речь. Возьмешь его обратно, в мою бригаду?

Андрей думал, что сейчас опять придется долго спорить, но Иванов согласился с неожиданной легкостью. Он только спросил:

— Зачем тебе этот пьяница?

— Мое дело.

— Как хочешь. — Иванов вдруг рассмеялся. — Вот козла в твою рожь! Тихий-тихий, а свое умеешь выжать! Правильно, Андрюха! Свое выжимать надо!

Стрехов подумал: «С тобою иначе нельзя», — но промолчал. А Иванов хитро скосил глаза и подмигнул ему:

— Мои козыри тоже еще не все вышли... Знаешь, кого я предложил освобожденным секретарем партгруппы? Тебя!

«Секретарем? Да еще освобожденным? Уйти из бригады, когда она только-только начала становиться на ноги?..»

— Нет! Я не соглашусь.

Иванов опять рассмеялся раскатисто.

— Я знал, что не согласишься. Поэтому и прилетел. Обрато мы с тобой пешочком, вдоль всей трассы. Посмотришь — потом решишь...

Пообедали тем, что привезли гости. Гребнев с помощницей, Иванов, Стрехов и Кузьмин остались на Долоновке. В Наноканно Андрей решил отправить Сафронова, Перетолчина и Збарского. С ними — до Ключей — послал и Варю: купить продуктов, взять на складе палатку и передать в контору участка записку, в которой Иванов приказывал отправить с обратным рейсом вертолета троих вербованных.

Перед отлетом Стрехов отозвал Варю в сторонку и сказал:

— Мишу разыщи там. Если захочет, пусть едет с ребятами. Ясно?

Варя растерянно взглянула на него, а Стрехов с деланной серьезностью переспросил:

— Ясно?.. Головой мне за него отвечаешь! — и подмигнул лукаво.

Варя вошла в вертолет со страхом. Он был маленький, кургузый, и казалось, вот-вот опрокинется. Тот же страх она увидела в глазах Егора Исаича. Коля Сафронов зажмурился и крепко вцепился в поручни кресла. Заметив это, Варя почему-то успокоилась и выглянула в раскрытую дверцу. Стрехов, Кузьмин, стоявшие неподалеку, весело махали ей руками.

Варя на всякий случай покрепче сжала в ладонях спинку переднего кресла, на котором сидел Збарский. Он смотрел в сторону с видимым безразличием. Глядя на него, Варя окончательно успокоилась: уж она-то не хуже Збарского!

Румяный молодой пилот захлопнул дверцу. Над самой головой загрохотал винт. Вертолет резко взмыл вверх. Внизу, в иллюминаторе, косыми штрихами деревьев зачертила тайга. Она была мертвенно спокойна. Странно было видеть ее такой спокойной. Тонкие, как консервная жесть, стенки вертолета дребезжали, но даже это теперь не пугало Варю.

Она вспомнила слова Стрехова и то, как бригадир подмигнул ей.

«Ясно! Ох, как ясно!»

Варя улыбалась. Мысли у нее были легкие, праздничные. Как-то разом думала она и о жизни на трассе, и о Жадове, и о Стрехове, и о том, как увезла сюда Михаила, и еще о своем прошлом. Как все изменилось! Чудно даже...

Казалось бы, что нового могла найти она здесь, в тайге? Ведь весь мир ее ограничен просекой, балком, палаткой, десятком людей, с которыми она встречалась повседневно, работой в лесу, костром с дымящимся над ним варевом? Кому-нибудь другому все это могло показаться еще большей глушью, чем золотопромышленный поселок Юбилейный, где Варя выросла. Кому-нибудь другому, но не ей.

В Юбилейном осталась одна почти начисто отработанная шахта. Чуть не весь поселок жил старанием: люди сбивались в бригады, им отводили участки на старых шахтах, и все лето они перебивали заброшенные отвалы породы. В октябре сезон кончался, и на зиму оставалось одно занятие — охота в изрядно опустевших лесах. Или безделье. А раз безделье — пьянки. А раз пьянки — драки. Дрались без причин, чтобы занять себя в долгие, пустые

вечера, Сходились стенками, улица на улицу, или собирались компаниями, чтобы вместе отомстить одному. Так мстили когда-то Жадову.

Пожив год-два такой жизнью, некоторые уезжали в новые поселки, но большинство привыкало. Трудно оторваться от привычного: от приятелей, кумовьев, сватьев, от маленького, но своего куска земли, отнятого тяжким трудом у тайги. Так и текла жизнь потихонечку сквозь годы, как порода сквозь частое сито старателя. Единственными блестками в ней были необычные драки или случайные убийства. Такие события обсуждались месяцами. Теперь Варя казалось, что люди в поселке были похожи друг на друга и напоминали Егора Исаича Перетолчина.

Так жили в Юбилейном мужчины. Женам своим и дочерям они оставляли кухню, огород и покорность. Покорность — потому что их кормили и одевали. Не идти же бабе работать на шахту или промышлять в тайгу! Это — мужчинское дело!

Потому-то, наверное, и ушла Варя так легко с Жадовым. Он рассказывал ей про другую жизнь, про большие города, про людей, странных своей бессребренностью. Да и сам Жадов совсем не походил на прежних ее знакомцев, легкий на подъем, дерзкий и никому не подчинявшийся парень. Наверное, поэтому и Варя поначалу слушалась его во всем не то чтобы с покорностью, а с радостью.

Как же случилось, что в ту, последнюю ссору не ушла за ним? Почему?.. Варя глянула на Перетолчина и улыбнулась, вспомнив, как при всех обнимала Егора Исаича, каким униженным он был тогда. Нет, раньше она не осмелилась бы на это. Или от Жадова дерзости набралась?

Внизу и чуть сбоку широко блеснула Чара. От солнца вода на стрежне была почти белой. Река, петляя, уходила далеко-далеко, и от этого тайга распахнулась еще шире. Мотор гремел, дребезжали стенки вертолета, а Чара недвижно молчала, и тайга тоже молчала, и во всем этом была добрая сила и загадка, которую хотелось обязательно разгадать.

Вот уже и избы, дворы внизу. Отсюда они кажутся беленькими, аккуратными, а все село, на самом деле большое, выглядит маленьким среди тайги. Деревья вокруг села, на опушках какие-то измочаленные.

Вертолет резко пошел вниз. У дальней околицы, где стояли палатки, Варя успела заметить толпу. Люди размахивали руками, о чем-то споря. Варя сразу решила, что если Жадов в Ключах, то не иначе, как в этой толпе.

Палатки эти — их было штук десять — служили чем-то вроде гостиницы. В них жили вновь приехавшие на стройку, пока их не развозили по трассе. Здесь же порой бедовали те, кто убегал с трассы.

Выйдя из вертолета, Збарский сразу пошел в магазин, Егор Исаич, как звеньевой, — в контору, а Варя с Сафроновым направились прямо к палаткам.

Еще издали они услышали крики:

— Разбой!

— Не иначе — шулер!

— Кочевряжится... Дать ему, да и...

— Он те даст!..

В центре плотного круга и точно стоял Мишка Жадов. Он хмурился красивое лицо его заплыло, одна штанина все тех же широченных шаровар была разорвана; распахнутая на груди ковбойка топырилась у живота. К нему жался низенький, невзрачный человек, просил униженно:

— Миш, пожалей, ведь дети, жрать нечего... Хоть на первость-то дай по десятке! Куда мы тут денемся? Ни одной души знакомой... Ведь мы-то не виноваты...

— Похмелиться хуть! — добавил кто-то.

Михаил подумал с минуту и, брезгливо сморщившись, махнул рукой.

— Становись в очередь! Да по два разане подходить, сявки! Я все ваши хари помню.

Посмеиваясь смущенно, жалостливо и не толкаясь, толпа выстроилась по кругу, человек тридцать. Миша сунул руку за пазуху и вынул оттуда скомканную пятерку не то десятку.

— Кто первый? Пей за мое здоровье! — И сунул деньги в протянутую грязную ладонь.

— Что тут такое? — испуганно спросила Варя у пожилого, круглового дядьки с вспотевшей пролысинкой.

Торопясь и возбуждаясь от собственных слов, тот объяснил:

— Вишь, фрукт-то какой? Хорош!.. Говорят, ночевал тут позавчера пьяный и не поберегся. Ну, его и обчистили. Тут ведь народ-то по оргнабору приехал — тертый! Да его на бога, видать, тоже не возьмешь! Проснулся и говорит: «На-ко, я вас излажу теперь!» Завел игру в банчок. За два дня всех повытряхал допусту, а теперь куражится! Хорош!..

Он помолчал и, как бы удивляясь своим мыслям и оправдывая Жадова, спросил:

— А что худого? Такие же люди, тому же богу молятся!..

Варя слушала и смотрела на Мишку. Ей было жалко его, оборванного, грязного, и обидно, что он такой. Но среди этой неопрятной и жалкой толпы он вдруг показался ей справедливым, чистым. И нежным. Уж Варя-то знала: когда Жадов не на людях, он нежный. А на людях всегда играет в другого Жадова, вот как сейчас.

Варя раздвинула круг — все почему-то согласно перед ней расступились — и встала за спиной Жадова. Коля Сафронов хотел было придержать ее за рукав, но она отмахнулась. Сказала тихонько:

— Миша, дай уж и мне тогда. Десятку, что ли... Жадов оглянулся и охнул. Радость и испуг были в его глазах.

— Что молчишь-то? Дай! Может, штаны тебе новые куплю.

— Варюха! — закричал Жадов. — Пришла!.. На тебе все, на! — Смеясь, он стал пихать ей в руки скомканные пачки денег. — На!

Варя молча брала их, а когда за пазухой у Жадова не осталось ни рубля, Варя сунула все деньги следующему в очереди и сказала сердито: — Разделите, как надо.

Жадов оторопел. — Чо-чо?

— Ну-ка, пойдём. — Варя взяла его за руку и вывела из круга. Ошарашенный Мишка шел за ней покорно, как телок на веревочке.

Потом они сидели в траве, на берегу Чары. Пряно пахло багульником. Бабым своим чутьем понимая, что сейчас строгостью от Жадова ничего не добьешься, Варя обнимала его, шептала:

— Сокол ты мой! Истосковалась я... Надо нам вместе, нельзя нам врозь! Тебе тоже без меня нельзя...

Рассказала ему про бригаду, про звено, которое уезжает в Наноканно.

— Тебе тоже надо с ними. Стрехов сказал, устроит, вернешься в бригаду. Милый!..

Жадов было нахмурился, и Варя сразу спохватилась:

— Глупый! К кому ревновать вздумал. К Збарскому! Да разве он с тобой сравнится! Он мизинца твоего не стоит... А когда трассу кончим, Миша, заживем-то как! Поедем в Таежный, квартиру дадут, семьей своей будем жить. Слышь, Миша, — шепнула она ему в самое ухо, — я ребенка от тебя хочу... Уж какой женой буду! Не найдешь лучше.

Жадов расправил морщины на лбу, уткнулся лицом в мягкое женское плечо и тихо сказал:

— Устал я, Варюха...

В кабинете Иванова — семь человек: начальник строительства Семен Петрович Куприянов, Иванов, Стрехов, еще два бригадира, приехавших на трассу так же, как и он, по путевке горкома партии, механик и бухгалтер. Вот и все коммунисты участка. Вместе они

собрались впервые и с интересом приглядывались друг к другу. Только Куприянов сидел в углу, устало облокотившись на стол и не поднимая глаз. Казалось, он не слушал Иванова, делавшего доклад, и думал о чем-то своем. То, что Куприянов приехал на собрание, никого не удивило: по решению министерства сроки строительства линии электропередачи сокращались, основной объем работ приходился именно на их участок. Да дело было и не только в решении министерства. Все понимали, что Таежному уже сейчас не хватает энергии. По вечерам, если не простаивали большие экскаваторы, там приходилось поочередно выключать свет в жилых кварталах.

Тем более всем было понятно — даже из доклада Иванова, — что дела на участке идут не ахти как. Правда, Иванов доказывал: это лишь временное отставание, обусловленное тем, что в последние месяцы он бросил коллектив на самые сложные дела, такие, как просека в Долоновском болоте, создание монтажных бригад, освоение нового способа установки опор с помощью винтовых якорей... (Стрехова покорила эта фраза: «Я бросил коллектив».) Зато теперь, когда главные трудности позади, темпы строительства резко возрастут.

Но цифры, которые вынужден был приводить Александр Степанович, не подкрепляли его оптимистических выводов. Видимо, понимая это, Иванов стал ссылаться также на постоянную текучесть рабочей силы.

Андрей опять поморщился: в учебнике политэкономии термин «рабочая сила» уместен, но сейчас ему, Стрехову, который собственно и есть «рабочая сила», слышать эти слова неприятно. А Иванов то и дело повторял их: «Рабочая сила неквалифицированна», «рабочая сила недисциплинированна», «кто виноват в браке, переделках, а значит, удорожании работ? Рабочая сила». «Кто вынуждает бригадиров, мастеров идти на приписки в нарядах? Рабочая сила...»

Стрехов слушал докладчика, и перед его глазами вставал невзрачный человечик с угодливой и в то же время нагловатой улыбкой, ленивый и завистливый, пьяница и скандалист, всегда готовый напасть даже не ради выгоды, а просто ради самой пакости.

Ни один рабочий бригады Стрехова не был похож на такого человека.

Откуда же у Иванова, у Сашки Иванова это барство, высокомерие, ханжество? «Ах вот что! — вспомнил Стрехов. — Пожалуй, рыжий малый в Покосном похож на этого работягу из доклада...»

В таежную деревушку Покосное они с Ивановым добрались вечером на третий день своего путешествия по трассе. Долго стучались в избу, в которой жил прораб. За темным окном двигались тени, слышались шорохи. В избе кто-то явно был, но им не открывали. Только когда Иванов громко выругался, створки окна распахнулись, высунулась чья-то лохматая голова и, радостно всхлипнув, проговорила:

— Александр Степанович? Боже мой! А я-то думал... Я же второй день никому не открываю! Ах, радость какая!..

По полу прошаркали неверные шаги, и дверь наконец открылась. Высокий, худой человек появился на пороге и вдруг, сложившись вдвое, сел прямо на пол.

— Ты что, Леонтьич! Пьян, что ли? — Даже Иванов изумился.

— Ни маковой росинки!.. Проиграли меня!

— Что-о?

— В карты... В карты проиграли, — отвечал прораб, плечи его дергались.

— Кто? Почему?

— А я знаю почему? — взвизгнул прораб и перестал дергаться. — В первой бригаде! Пришли верные люди, сказали: «Лучше на трассу не показывайся!» Вот и сижу... Да на кой черт мне такая жизнь! У меня семья на западе! У меня двое ребят! А я...

— Встать! Слюнтяй! — протяжно, как на плацу, крикнул Иванов.

Леонтьич мгновенно, как пружинка, распрямился и встал, чуть покачиваясь.

— Александр Степанович... Иванов не слушал его.

— Лошади есть?

— Есть.

— Собирайся! Поедем туда!

— Туда? — Прораб отступил за порог и даже дверь потянул за собой. — Ни за что!

— Черт с тобой! Пошли, Андрей!

Конюх оседлал им двух лошадей, и они поскакали в тайгу. Трещал под копытами валежник, вверху мелькали блеклые звезды, больно жалили лицо ветки, из колодезной глубины леса попеременно накатывали волны холода и тепла.

Иванов скакал впереди, то и дело оборачиваясь.

— Хороший прораб, понимаешь? Но трус!.. Первый раз в Сибири, понимаешь? Растерялся...

Еще издали увидели они пламя костра и людей вокруг. Иванов въехал чуть ли не прямо в костер, лошадь шарахнулась от огня, поднялась на дыбы. Чья-то ломкая фигура отпрыгнула в темноту, прикрывая лицо рукою.

— С кем здесь в карты сыграть, козла в вашу рожь! — крикнул Иванов.

«Как батька Махно», — подумал Стрехов и осадил свою лошадь чуть в стороне. Иванов спрыгнул на землю. К нему шагнул коренастый, неестественно рыжий парень. Может быть, он казался таким в ярком свете костра.

— А шо, начальник, больше не с кем? Зачем сюда прискакал? — спросил он неторопливо, но заметно волнуясь. Ясно стало, что хороводит здесь он.

— А ну сядь, шобла! Не к тебе речь! — гаркнул Иванов, не выпуская поводьев. — Сядь!

Парень опустил на траву.

— Кто еще с ним играл?.. Молчите?.. Тогда я говорить буду, трусы! — И Иванов завернул вдруг такое ругательство, что все невольно расхохотались. Напряжение сразу пропало.

Они просидели у костра около часа. Иванов ругался и рассказывал, какой добрый человек и хороший работник прораб Леонтьич. Он рассказывал также о стройке в Таежном, об алмазе весом в тридцать семь каратов, который там недавно нашли, о линии электропередачи, о ее важности, о Долоновском болоте. Тыча в Стрехова пальцем, он ставил в пример его бригаду.

— Вот он сидит, Стрехов! Ему не легче вашего приходилось!

В бригаде были молодые ребята. Самый старший из них — рыжий парень — поначалу пытался вставлять в разговор блатные словечки, но Иванов мгновенно обрывал его на его же собственном языке. Рыжий смолк и хмуро жевал травинку. Тогда Иванов завел разговор о том, чего не хватает бригаде.

Ребята сразу разговорились. Харч плохой, и ходить за ним надо пешком в Покосное. Придешь, а магазин закрыт. Три недели не меняли постелей, газет вообще нет, радиоприемника тоже, лес вроде бы неправильно протаксировали, и поэтому в нарядах пишут заниженные объемы...

Иванов внимательно выслушивал и отвечал, балагуря, но по существу: да или нет. Пообещал дать лошадь, чтоб возить на ней продукты, радиоприемник; версию о неточной таксации отверг, тут же доказав, что подсчитывать кубатуру леса на гектаре ребята не умеют...

— Обо всем договорились?.. — спросил он, вставая. — Оказывается, можно было прораба и не проигрывать.

Ребята смущенно засмеялись, а он сказал резко:

— Этого рыжего картежника я с собой беру. Нечего ему делать на трассе!

Спорить с ним не стал никто.

Рыжего Иванов посадил на круп лошади позади себя. Стрехов поскакал впереди. Потом он пожалел об этом: ночью Иванов ему рассказал:

— Едем, а он все сопит, елозит, будто по карманам шарит. Я у него спрашиваю: «Ты что там крутишься, как вошь на гребешке?» А он отвечает: «Не боишься, начальник?»

Может, у меня перо в кармане. Чиркну — и все тут. Кругом тайга, она, как мать, все покроеет». Ну, наорал я, он умолк. Едем, а у меня — мурашки по спине. Неуютно! Ты впереди, ничего не увидишь...

Вспомнив сейчас все это, Стрехов подумал: «Рыжий, может, и похож на Сашкину «рабочую силу». Но сколько на трассе таких, как он? Что же он несет в этом докладе? Не думает же он так на самом деле! А может быть, ему удобно так думать?.. Чем же тогда можно оправдать неразбериху на линии? Чем оправдать то, что в бригадах нет радиоприемников, а они валяются на складах, что люди за десять километров тащат на спине продукты, а лошадей а лесу, оказывается, нечем занять? Да мало ли еще что!..»

Все это мешало и его бригаде, но до сих пор Стрехов старался не обращать внимания на такие мелочи, в глубине души считая, что сам-то он может перетерпеть и худшее.

Но зачем, например, терпеть Кузьмину? Он приехал сюда не на время и не в ссылку. Он приехал сюда не за длинным рублем, как Егор Исаич. Он приехал сюда навечно. Зачем же ему терпеть все это?..

Собрание слушало Иванова молча, никак не выражая своего согласия или несогласия с ним. Куприянов по-прежнему молча хмурил брови. Что-то топорное, грубое было во всем облике начальника строительства: мясистый, сдвинутый набок нос, толстые губы, седые брови, выступающие далеко вперед над глазами, волосатая грудь под расстегнутой молнией рубашки... «Наверное, это его мысли высказывает Иванов. Вот в чем дело!» — внезапно подумал Стрехов и почувствовал физическую неприязнь к этому грузному, неряшливому человеку. Вдруг Куприянов поднял голову и спросил:

— Слушай, Иванов, у тебя свинья есть? Иванов оторопело умолк.

— Дома, спрашиваю, свинью кормишь?

— Кормлю. Даже двух, — бойко ответил уже пришедший в себя Александр Степанович.

— Огород есть?

— Не мой, хозяйский. Но пользуюсь. — Сколько ты комнат занимаешь?

— Две. Но почему...

— Обожди! — Куприянов сильно шлепнул пухлой ладонью по столу, встал, не торопясь прошел к двери и распахнул ее. — Сверчков! Пришел? Иди сюда.

В комнату протиснулся маленький круглый человек с быстрыми глазками. В лице его было что-то воробьиное.

— Здравствуйте, — робко сказал он.

— Все знакомы? — спросил Куприянов. — Завмаг а Покосном... Расскажи, Сверчков, как начальник участка у тебя крупу украл.

— Что вы, Семен Петрович! Как можно так говорить! — воскликнул Сверчков и возмущенно воздел руки. — Не украл, избави бог! Просто ошибочку допустил Александр Степанович, ошибочку! — Он страстно прижал руки к груди.

— Ладно, не крути! Рассказывай.

— Может, вы сами, Семен Петрович?

— Рассказывай, говорю! — гаркнул Куприянов. Еще с минуту Сверчков молчал, боясь взглянуть в сторону Иванова. Все улыбались. Александр Степанович с деланным безразличием барабанил пальцем по столу и поглядывал в окно.

— Дело было утром, — начал завмаг. — Только я в магазин вошел, надеваю халат... Может, все-таки вы сами, Семен Петрович? — Куприянов резко повернулся к нему, и он выставил вперед короткие руки, словно защищаясь. — Хорошо, хорошо. Я продолжаю. Значит, дело было так... Слышу: гром, стук, будто бульдозер на крыльцо въехал. Дверь — нараспашку, и на пороге товарищ Иванов Александр Степанович. Я очень испугался, а они кричат...

— Кто это «они»? — спросил Куприянов.

— Он, стало быть... Кричат: «Что ты, — и тут слово неспокойное произнесли, — что ты моих рабочих гнилью кормишь? Это овсянка, да? Это овсянка?» Надо сказать, рядом с

дверью у меня три мешка овсянки стояли, недавно привез. Александр Степанович зачерпнул, значит, горстью овсянку и меня по физиономии — хлесть! Думаю: пропал! А они опять кричат: «Сгною! Сгною, как ты эту овсянку сгноил!..» Стою, боюсь даже пыль с лица утереть.

Но, славу богу, они кричать перестали, вроде бы даже сжалились, говорят: «Ладно, на первый раз прощаю, в суд подавать не буду. Грузи два мешка! Мне домой отправишь с первой же машиной, понял?» Что ж тут не понять? Отправил. А только овсянка-то хорошая была. Вы, Семен Петрович, в третьем мешке сами ее видели... Я бы и не стал говорить об этом, — с неожиданным пафосом закончил Сверчков, — но как же я ее спишу, проклятую? Ведь она хорошая! Или мне ее действительно надо было сгноить?

«Когда Сашка успел это сделать? — думал Стрехов. — Ведь мы же вместе в Покосном были! Вот артист!..»

— Все, Сверчков? — спросил Куприянов.

— Все, — обреченно согласился завмаг.

— Можешь идти.

— Идти? — Сверчков не поверил. — Идти? — И он мигом исчез.

Все, кроме Куприянова и Иванова, давно уже посмеивались потихоньку, а тут уж дружно захохотали. Но встал Куприянов, и они смущенно примолкли. Куприянов вдруг широко вывернул двумя пальцами губы, шагнул к Иванову и зло прошамкал:

— Видишь?

Десны у него были белые, почти молочного цвета, а зубы как изломанный забор.

— Я три года в вагончике жил, от квартир отказывался. В столовых жрал! Вместе со всеми. От цинги без зубов остался! А ты... Барин! Вор! Болтун! И еще клеветать на народ? Они там здоровьем, жизнью своей рискуют, вкалывают от зари до зари! Едят черт знает что! Зимой и летом в палатках. Ничего не видят, кроме леших да пней! Без женщин, без... Да что говорить! А ты окопался, как кулак, да еще хочешь свои ошибки их бедами прикрыть? Слушать тебя противно!

Он дышал тяжело, как астматик. Лицо его было несчастным. «Так! Именно так! Молодчина!» — думал Стрехов, словно не он пятнадцать минут назад ненавидел того же самого Куприянова.

Начальник строительства прошелся взад-вперед по комнате, успокаивая себя, и сел.

— Простите, — с прежней усталостью проговорил он. — Простите, что перебил собрание. Продолжай, Иванов.

Но Иванов вовсе не казался растерянным. Он проговорил быстро и четко:

— Я тоже люблю эффектные сцены, Семен Петрович, и, может быть, на вашем месте поступил бы точно так же. Однако насчет вора, — он улыбнулся добродушно, — вы перехватили. Я и не собирался брать эту овсянку даром. Надо было, конечно, иначе, но, черт возьми, вы же знаете мой характер, — он развел руками и опять улыбнулся, — не могу, так же как и вы, Семен Петрович, не могу без эффектных сцен! Я как глянул на этого завмага, так и понял: у него руки нечисты! Ну как над ним не подшутить?

Тут уже улыбнулись все, даже Куприянов.

— Надеюсь, — заключил Иванов, — собрание сумеет оценить мой проступок.

Он походил на шкодливого, но веселого школяра, уверенного в том, что его любят и простят. Действительно, глядя сейчас на него, никто бы не смог повторить слова, брошенные Куприяновым: «барин», «вор», «болтун»... Другой бы на его месте стал канючить, оправдываться, жаловаться, а он... Нет, обаяния Иванову не занимать! Может быть, поэтому никто из выступавших вслед за ним и не вспомнил о треклятой овсянке... Иванова ругали, конечно, но так, как обычно ругают всех начальников: он не прав, но... у каждого бывают ошибки.

Стрехов говорил о быте, другой бригадир — о нарядах, которые не выдаются вовремя, механик — о том, как дергают механизмы с места на место, пытаясь заткнуть все дыры сразу... Бухгалтер участка, якут Афанасий Сидорович Данилов, суховатый человек с

непроницаемым, коричневым лицом, выступал горячо и вроде бы толково. Но из его речи никто ничего не понял, запомнились только фразы, которые всех рассмешили: «Я не отрицаю в этом отношении», «Вопросы мы сегодня поднимаем не на уровне», «С кабинетной трибуны рукоплесканиями заниматься», «Бытовые нужды должны стать выше, товарищи!»

Выступление Данилова настроило собравшихся совсем уже добродушно. В заключительном слове Иванов сказал:

— Тут меня в клевете на народ обвиняли, но вы поймите, товарищи: я нарочно сгустил краски, говоря о том контингенте рабочей силы, который есть у нас, сгустил для того, чтобы будущий парторг больше внимания уделял воспитательной работе с людьми, это очень важно, товарищи!

Все согласились, что это действительно важно.

Может быть, так бы и разошлись, если бы опять не поднялся со своего места Куприянов.

— Наговорились? — спросил он резко. — Слов много, а о главном ни черта не сказали...

Почему-то его грубость никому не показалась обидной.

— Главное у вас сейчас — дорога! Завалил ее Иванов — отсюда все беды. Ему что? Ему важно в деньгах план выполнить, кубатуры леса побольше дать. А на то, что выгодно не для плана, а для строительства линии, ему наплевать! Мол, подкинет Куприянов техники и людей. Наждем — вытянем! Не пройдет это... Была бы у вас сейчас сносная дорога вдоль трассы, ходили бы по ней автолавки, почта, кино — вы в два раза меньше говорили бы сегодня о быте. Была бы дорога, и все механизмы работали бы вдвое дольше и производительней. Была бы дорога, и руководство стало бы вдвое оперативней. Учтите: это Сибирь. А в Сибири все начинается с дороги... Кстати, о руководстве, об Иванове. — Куприянов нахмурился. — Он тут шутками отделался, а я вот что скажу: не он управляет событиями, а события им. Он любит приказ. Ткнешь его, как щенка, носом, тогда он закрутится, на все пойдет, чтоб хозяину угодить. Без хозяина не может! Думать сам не умеет. И доклад сделал такой: обо всем и ни о чем... Может быть, стоит нам подумать: на месте ли Иванов? По Сеньке ли шапка?..

Куприянов увлекся и говорил долго. Лицо его уже не казалось усталым и неподвижно-брезгливым, как раньше. Оно даже как будто помолодело. Только седые брови нависали над глазами по-прежнему сердито. Во время его речи у всех появились новые мысли, теперь бы и начинать собрание, но Куприянов заключил:

— Пока вы плохо представляете себе общее положение дел на участке. Это и понятно: каждый сидел в своем углу. Первый раз собрались вместе. Предлагаю на этом кончить. Парторгу, которого вы изберете, надо побыстрее ознакомиться с хозяйством и вскоре провести партийное собрание. Более толковое, чем это.

Парторгом выбрали Стрехова. Его кандидатуру предложил не кто иной, как Куприянов. Иванов горячо поддержал. Стрехов отказывался: нет опыта партийной работы, никогда не строил ЛЭП, не может сейчас бросить бригаду. В конце концов согласились на том, что бригадиром он останется, но и парторгом будет.

Когда расходились, Куприянов попросил Иванова задержаться, а Стрехов пошел на квартиру к Александру Степановичу: ночевать он обещал у него. «Почему, — думал он по дороге, — меня выдвигали в парторги такие разные люди, как Куприянов и Иванов? Почему я устраиваю их обоих?» Андрей понимал, что только своей работой парторга он сможет ответить на этот вопрос. А еще вспоминал слова Куприянова: «Он любит приказ... Без хозяина он не может!»

Ведь нечто в этом роде о нем, об Андрее Стрехове, недавно сказал Збарский!

(Окончание следует)

С юкагирского

Улуро Адо

Юкагиры в прошлом были большим народом, Обитавшим на обширных пространствах от Лены до Анадыря. Болезни, падеж оленей, голод привели их почти к полному вымиранию: их осталось 226 человек. Великая Октябрьская социалистическая революция спасла юкагиров. Сейчас эта маленькая народность, постепенно увеличиваясь, придерживается своих обычаев, поет свои песни.

Улуро Адо — Сын Озера. Так называет себя Гаврил Курилов — первый письменный юкагирский поэт. Ему 27 лет. Он окончил педагогический институт, поступил в аспирантуру, занимается проблемами родного языка.

*

О, если б моему стиху
петь, как полозьям на снегу!
Я не уверен, что смогу.
Мечтаю.
Чтоб набирался новых сил
от звонкой песни юкагир,
который сердце утомил,—
мечтаю.
И чтобы, как полозья, ты,
мой стих, скользил из темноты
к далекому огню мечты!
Мечтаю...

Сопка

Издали мне сопка показалась
старухой у жизни на краю.
Вся черная, она, забыв усталость,
оплакивала молодость свою.
И только ближе подойдя, заметил
ее еще зеленое лицо.
Приветлив облик был ее и светел,
улыбкою сверкало озерцо.
Вот так же мы, не подходя к подножьям,
рассматривая жизнь издали,
где черное, где светлое — не можем
определить порой наверняка.

Озеро

Озеро не пело, не кричало,
камышы прибрежные качало.
Камышам прибрежным и осоке
озеро чуть слышно говорило:
«Я умру, а вы еще постоит
в карауле у моей могилы...»
Так шептало озеро пустое

камышам и травам, спящим стоя.
И смотрело, грустное, на зиму,
что спускалась медленно в низину,
и шагами принималась мерить
опустевший, онемевший берег.
Солнце неуклюжею улиткой
еле выползло на дальний гребень,
задержалось ненадолго в небе,
улыбаясь грустной улыбкой.
Засияла в озере водица,
чтобы через час навек забыться.

*

Сопка спит, под снегом дышит,
как медведь в берлоге спит,
и, наверное, не слышит,
как пурга скулит.
Или, может, сон ей снится:
лето у реки,
и над нею пенье птицы,
а не вой пурги.
Или под навалом снега
просто ждет, когда сама
от себя устанет эта
бесконечная зима.
Спи, ворчунья, не печалься,
вспоминай во мгле ночей
обмороженные пальцы
солнечных лучей.
Жди, пока земля проснется,
зиму проклинай, гора...
Ну, а я навстречу солнцу
собираюсь. Мне пора.

*

Как в собственную душу,
на просеке лесной
гляжусь в большую лужу,
забытую грозой.
Неспешно вечереет,
вода уже чернеет.
Вот пара звездных глаз
на дне ее зажглась.
Лицо твое родное
в дрожащей глубине,
слезами залитое,
обращено ко мне:
«Зачем, зачем так часто
нам нужно разлучаться!
Куда тебе спешить!

Давай, как люди, жить!»
Безвыходно горя,
стою на берегу.
«Ты знаешь,— говорю я,—
иначе не могу...»

Перевод Г. ПЛИСЕЦКОГО.

Игорь Шкляревский

Проблема преподавания
Учитель, классный педагог,
стучал ногою деревянной
и открывал нам сто дорог
в страну истории туманной.
Столетье — в сорок пять минут.
Над миром гении блеснут.
Цари сразятся и умрут,
а остальные не успеют
и сквозь века до нас дойдут.
Сквозь возрождения и войны!
Сквозь унижения и вопли!
Гудит набат! Звенит звонок.
Ну, вот и кончился урок.
Домой уходит педагог.
Скрипит нога! А что он мог
за эти сорок пять минут!
Над миром гении блеснут.
Цари сразятся и умрут,
а остальные жить останутся,
до нас дойдут и не состарятся:
ведь на земле полно работы.
Гудят бетонные заводы.
Стучат сапожные артели.
Дымят бессонные котельни.
На стекла копоть оседает.
Пустеет класс, и в тишине
техничка тряпкой протирает
звезду вечернюю в окне.

*

Суббота — в девятнадцать лет!
Моя рабочая суббота.
Она была просторней года.
В ней было все: горел рассвет,
дымила черная литейка,
сверкал закат, блеснул паркет,
смеялась рыженькая Ленка.
Грустил кларнет. Буянил альт.
Худая лошадь у причала
жевала лист и на асфальт

слюну зеленую роняла.
Суббота — шесть часов труда.
Часы исканий и раздумий.
Часы любви и полнолуний.
Травой заросшая вода.
А лодка тихо по теченью
плыла навстречу воскресенью.
Сады ревели, как моря,
все в светляках, в холодной пене...
Простор, как первый день творенья.
Суббота — молодость моя!

*

Не торопись трещать, будильник:
Дай сон веселый досмотреть.
Опять в углу, как холодильник,
маячит северный медведь.
Сегодня он какой-то грустный.
Заволокло звериный взгляд.
На лапах у него, как люстра,
сосульки звонкие горят!
Прощанье! Порт обледенелый.
Грохочет флюгер. Ночь светла.
А я стою, как обалделый, —
посылка из дому пришла.
Беру посылочку. Вздыхаю.
И запах яблок узнаю.
Друзей-матросов угощаю.
Свое медведю отдаю.
Теперь буди меня, будильник,
пора на родину лететь,
корми бродягу, холодильник.
Мне надо многое успеть!

*

Безлюдный берег Западной Камчатки.
На сотни миль — туманы и песок.
А там опять бараки и палатки.
И дым летит на северо-восток.
Дымят бараки! Соллится селедка.
И никому не продается водка.
Все силы надо вкладывать в работу.
Искать, ловить, солить, мариновать,
Потом сидеть на лавочке в субботу,
Культурно воскресенье ожидать.
О, как прекрасна лунная дорога.
Скользкая, эх, до Владивостока.
А больше нету никаких дорог.
На сотни миль — туманы и песок.
От рыбзавода и до рыбзавода

Для всех ветров — на сотни миль
свобода!

*

Канавы надо было вырыть летом.
Никто не позаботился об этом.
Как луч звезды, печально соскользнувший
с тупого лба конторского чинуши,
мой лом со льда соскальзывает звонко!
Ревет, чадит машина-пятитонка.
И вот я землю мерзлую долбаю.
Работаю! Тружусь! Не унываю!
Замерзли руки — дую, согреваю.
Ногою дверь в контору открываю.
.Контора — необструганные доски.
Примерзшие плевки и папироски.
Нарядчик выйдет. «Выкопал! Катора!»
Скрипит земля! Работает контора!
А ну их к черту! Я ведь не об этом.
Канавы надо было вырыть летом.

Сон в океане

Лежал я на дне океана,
опутанный длинной травой,
и мутное
солнце
вставало
над мертвой моей головой.
Медузы ко мне подплывали,
и крабы светились во мгле,
а люди еще вспоминали
о том, что я жил на земле,
что был я
матросом
толковым,
простор и свободу любил,
работал во флоте торговом,
надежным товарищем был.
И только однажды забылся.
Задумался, глядя в туман,
расслабился и поплатился.
И смыло
меня
в океан.
О, как он звенит и хохочет,
в стеклянные бьет поплавки,
ласкает, зовет и бормочет,
прощает
земные
грехи,

земные печали смывает
и учит себя забывать,
но слабостей нам
не прощает,
ошибок
не хочет
прощать!

Баллада о верблюде-рыболове

Скрипит вертушка, и косой верблюд,
как заведенный, движется по кругу.
А волны что-то вечное орут.
А мальчик палкой бьет его по крупу.
Скрипит, скрипит сухое колесо!
И трос ложится ровными рядами,
звонит и брызжет каплями в лицо.
И мальчик-дьявол с черными руками
размахивает палкой! И на треть
из глубины зеленой полыхает
вся в пузырях и водорослях сеть,
и по рубцам с верблюда пот стекает,
а он кружит и сеть на берег тащит.
А мальчик-дьявол в колокол-ведро
звонит о том, что выпала удача,
и в бочки льется килек серебро.
И снова пена, пение и свист
песка, и рев аральского прибоя,
и чаек визг, болтанка вверх и вниз,
и зной повис, но лишь глаза прикрою —
скрипит вертушка и кружит верблюд,
нелепое подобие Вселенной
с ее ярмом и тайной сокровенной,
и волны что-то вечное орут!

Александр Дмоховский

Остаются мгновенья.
Расколется с грохотом воздух,
и ракета уйдет,
расчертив пополам небосклон...
Начинается сказка
о мужестве,
древнем, как звезды.
Хрипловатый Гомер
нараспев говорит в микрофон.

Фантазеры, мечтатели...
Что вас мотает по свету!
Или жизнь не одна,
не одна на плечах голова!..
Поднимаются весла,

в туман уплывают планеты,
из Эгейского моря
встают на заре острова.

И смеясь над богами,
оракулам сонным не веря,
незнакомым ветрам
подставляя свои паруса,
завтра в море уйдет
Одиссей
на крылатой галере,
и потомки поверят
в открытые им чудеса.

Так плывите, ищите!
И пусть замолчат маловеры.
Эта старая сказка
сегодня не так уж стара...
Плещет звездный прибой
у далеких границ атмосферы,
и антенны радаров
Луну стерегут до утра.

Рассекает ракета
земной неподатливый воздух,
и в эфире летят
позывные вдогонку за ней —
продолжается сказка
о мужестве,
древнем, как звезды.
Космодром Байконур
до рассвета не гасит огней..

Николай Старшинов

*

Я, как грач, хлопотлив и черен.
И хотя зовусь москвичом,
Я в полях, что заждались зерен,
Появляюсь с первым грачом.
Тут уж некогда веселиться —
Ишь как начало подсыхать.
На ладони лежит земляца,
Сразу видно — пора пахать.
А когда, созревая, травы
Ниже клонятся под росой,
Я имею святое право
На рассвете сверкать косой.
А еще я могу на зорях
Слушать, как поют петухи,
Щук зубастых ловить в озерах

И в сарае писать стихи.
Но когда подступает осень.
Прибавляется мне хлопот.
Чем в полях тяжелей колосья,
Тем обильней течет мой пот.
Не в романе, не на экране,
Не витийствуя за столом,—
Это здесь я стираю грани
Между городом и селом.
Потому-то в моем народе
Я считаться своим могу...
Стало пусто на огороде,
Пусто в поле и на лугу.
Птиц на юг угоняет голод,
И со мной ты, земля, простишь.
Только я улетаю в город
Позже всех перелетных птиц.

*

Моей матери, Евдокии Никифоровне.

Вся даль уже просвечена:
Ну где ж тут задремать!..
Вот мне вчерашним вечером
Письмо прислала мать.
Ей все представь — до доньшка,
Чтоб никаких пустот:
Как поживает женушка!
Как внученька растет!
Как сам я уму-разуму
И прочему учусь!..
И о себе в нем сказано:
«А я все суечусь.
Забегалась, запарилась,
Ну просто сбилась с ног.
Вообще совсем состарилась
Чего-то я, сынок».
...О, это утро раннее,
Бессонный мой рассвет!..
Пошли воспоминания
Тех стародавних лет,
Когда я в пору юности.
Хоть был уже не мал,
Ни горестей, ни трудностей
Ее не понимал.
Как в те года давнишние
Был дерзок — вот беда.
И этим самым лишние
Ей прибавлял года.
И был не так внимателен
И просто нехорош.

А это каждой матери —
Ну прямо в сердце нож...
Сижу, чешу я темечко —
Ну где же тут уснуть!..
Вернуть бы мне то времечко,
Да как его вернуть!
Чтоб статной и красивою
Вновь обернулась мать.
Отдать бы свою силу ей.
Да как ее отдать!!
Как сделать мне хоть что-нибудь,
Какой послать ответ!..
А по земле и по небу
Все ширится рассвет...

Весенний разговор

— Ты все с отъездом тянешь!
— Все тяну.
— Ты отнимаешь у меня весну.
Еще одну спокойно хороня.
А много ли их было у меня!
Я не увижу, милая, смотри,
Как в небо рвутся снегири зари.
Как, полные зеленой чистоты.
Кувшинки тянут из воды цветы,
Чтобы, отдав все лучшее, что есть,
Как золотые солнышки, расцвести.
Ты слышишь, я услышать не смогу,
Как загудели пчелы на лугу,
Как лапками на речке тарахтят
Невидимые выводки утят.
Как над моей весенней головой
Березы первой шелестят листвою.
Ты знаешь, как узнаю я тогда,
Чем пахнет родниковая вода,
Какие чудо-запахи земли
Над отогретой пашнею взошли,
Какой густой целительный настой
Сосновый бор для нас припас...
— Постой!
— Поедем!
— Тихо! Ведь соседи спят!
— А молнии меня не ослепят,
А жаворонок мне не прозвенит,
Черемуха меня не опьянит.
И я, лишившись этих лучших чувств,
Я буду беден, мелочен и пуст.
Когда, в какую новую весну
Все эти чувства я себе верну!
Быть может, мне и весны все, как есть,
Уже на пальцах можно перечесть.

Поедем. Я прошу тебя. Скорей!
— Поедем. Хоть затридевать морей!..

Владимир Костров

Заполярный райком

Заполярный райком —
дом с крыльцом продувным и холодным,
с неизменной трубой,
завывающей волком голодным,
с бельевой веревкой,
протянутою над карьером,
и партийцем-каюром,
который здесь служит курьером,
и куском кумача,
чуть поблекшим за лето,
и лицом Ильича,
проступающим в раме портрета...
Ты устал, секретарь,
и тебя не подымет с постели
даже белый мятеж
с океана летящей метели.
Обжигая о сани
свои задубевшие руки,
на оленях и лайках
мотаясь по дальней округе,
на заснеженных скалах,
в снегах каменистых
добивался ты права
себя называть коммунистом.
На краю континента
бьют в набат океанские льдины.
Человечность и твердость
в чем-то главном, поверьте, едины.
Что ломало других, тебя не сломало.
Убежденность и честность,
поверьте, это не мало.
Не искал ты поблажек
и легкого чина,
человек, секретарь,
в 30 лет настоящий мужчина.
Чуть курносый, тяжелый,
с сединой в непричесанной челке,
ты лежишь, как пастух
после трудной и долгой кочевки.
Озаряют сияния
пробитое сопками небо,
и морозец хрустит,
словно свежая репа.
Рядом крутится ось
мятежной и трудной планеты,

и мерцают песцы,
в полимерные шкурки одеты.

Олег Дмитриев

Большевик. Начало нэпа

Перестрелка. Оборванный провод.
Разлетается, брызнув, стекло.
Колеса перекошенный обод
О бульжник скребет тяжело!
Человек просыпается.
Это —
Вечный бой.
Растревоженный сном,
Собирается с мыслями.
Лето.
Голубятника свист за окном.
Он выходит из дома. Прохлада.
Ноют кости. По улице вскачь
В направлении летнего сада,
Ухмыляясь, несется лихач.
Развлекается город губернский:
На Центральной — смешки, толкотня.
Кто-то тронул за локоть:
«Любезный...» —
Отодвинулся, как от огня!
Человек с невеселой походкой
У роскошных витрин.
Почему
Этот грозный молодчик с кокоткой
Уступает дорогу ему!
Синий свет воспаленного взгляда —
Острый нож для хапуг и жулья:
«От тебя ничего мне не надо.
Революция, мать моя!
Я иду тяжело и устало,
Но сурово и прямо взгляни —
Горний свет моего идеала
Не померк в эти трудные дни!»
Непонятен, спокоен, пугающ,
Прежде времени став стариком,
Он идет, неизвестный товарищ,
На ночное дежурство в губком.
Он идет по безлюдью сквера.
Где июнь собирает шпану,
И его исступленная вера
Из руин воскрешает страну!
Стук шагов и листвы шевеленье,
Дует ветер с пустых площадей,
И грядущие все поколенья
Влюблены в беззаветных людей!

Фазиль Искандер

ТРИ рассказа

I. ЛОШАДЬ ДЯДИ КЯЗЫМА

У дяди Кязыма была замечательная скаковая лошадь. Звали ее Кукла. Почти каждый год на скачках она брала какие-нибудь призы. Особенно она была сильна в беге на длинные дистанции и в состязаниях, которые, кажется, известны только у нас в Абхазии, — чераз.

Суть чераза состоит в том, что лошадь разгоняют и заставляют скользить по мокрому полю. При этом она не должна спотыкаться и не должна прерывать скольжения. Выигрывает та, которая оставляет самый длинный след.

Возможно, это состязание вызвано к жизни условиями горных дорог, где умение лошади в трудную минуту скользить, а не падать особенно ценно.

Я не буду перечислять ее стати, тем более, что ничего в этом не понимаю. Я ушел от лошади, хотя и не пришел к машине.

Внешность ее помню хорошо. Это была небольшая лошадь рыжей масти с длинным телом и длинным хвостом. На лбу у нее было белое пятнышко. Одним словом, внешне она мало отличалась от обычных абхазских лошадей, но, видимо, все-таки отличалась, раз брала призы и была всем известна.

Днем она паслась в котловине Сабида или в ее окрестностях. К вечеру сама приходила домой. Неподвижно стояла у ворот, прядя маленькими, острыми ушами. Дядя выносил ей горстку соли и кормил ее с руки, что-то тихо приговаривая. Кукла осторожно дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно косила фиолетовым глазом с выпуклым белком, похожим на маленький глобус с кровавыми меридианами.

Во время прополки дядя собирал срезанные стебли, и вечером лошадь хрустела свежими листьями молодой кукурузы.

Тетка Маница, дядина жена, иногда ворчала, что он только и занят своей лошадью целыми днями. Это было не совсем так. Дядя был хорошим хозяином. Я думаю, что тетка Маница слегка ревновала его к лошади, а может, ей было обидно за коров и коз. Впрочем, кто его знает, почему ворчит женщина!

Иногда Кукла не возвращалась из котловины Сабида, и дядя, как бы поздно ни узнавал об этом, сейчас же подпоясывался уздечкой, топорик через плечо и уходил искать. Бывало, возвратится поздно ночью по пояс в росе или весь мокрый, если дождь. Присядет у огня, греется. Красивая, резко высеченная большая голова, неподвижно растопыренные пальцы. Сидит успокоенный: главное дело сделано — Кукла найдена.

В жаркие дни дядя водил ее купать. Стоя по пояс в ледяной воде, он окатывал ее со всех сторон, расчесывал гриву, выдергивал репы и всякую труху.

— Мухи заедают, — бормотал он и соскребал с ее живота пригоршни твердых, нагло упирающихся мух.

В воде Кукла вела себя более покорно. Она только изредка дергалась и не переставала дрожать.

Стоя на берегу ручья, я любовался дядей и его лошадью. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы плеснуть в нее водой, на его худом, костистом теле перекатывались мускулы и выделялись ребра. Иногда к его ногам присасывались пиявки. Выходя из воды, он спокойно отдирали их и одевался. Этих пиявок мы смертельно боялись и из-за них не купались в ручье.

После купания дядя иногда сажал меня на Куклу, брал в руки поводья, и мы подымались вверх, к дому. Тропинка была очень крутая, я все время боялся соскользнуть с мокрой лошадиной спины, всеми силами прижимался ногами к ее животу и крепко держался за гриву. Ехать было мокро и неудобно и все-таки приятно, и я держался за лошадь,

испуганно радуясь и смущаясь оттого, что чувствовал ее отвращение к седоку и смутно сознавал, что это отвращение справедливо. Каждый раз, как только ослабевали поводья, она поворачивала голову, чтобы укусить меня за ногу. Но я был начеку. Обычно мы таким образом подходили к воротам, и я слезал с лошади, празднично возбужденный оттого, что катался на ней, и еще больше оттого, что теперь целый и невредимый стою на земле.

Однажды мы вот так же подъехали к воротам, и вдруг с другой стороны двора появился один из наших соседей, которого почему-то особенно не любили собаки. Они ринулись в его сторону.

— Пошел! Пошел! — закричал дядя, но было уже поздно.

— Держи! — Он метнул мне поводья.

Мне кажется, лошадь только этого и ждала. Я это почувствовал раньше, чем она повернула голову. Я вцепился в поводья со всей силой. Она стала поворачивать голову, и я понял, что удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево. Она пошла сначала рысью, и я, подпрыгивая на ее спине, все еще пытался сдержать ее. Но пот она перешла в галоп, плавно и неотвратно увеличивая скорость, как увеличивает скорость падающее дерево. Замелькало что-то зеленое и ударил сумасшедший ветер, словно на этой скорости была совсем другая погода.

Не знаю, чем бы это кончилось, если б не мой двоюродный брат. Он жил на взгорье недалеко от дяди и, услышав собачий лай, вышел посмотреть, что случилось. Он увидел меня, выбежал на тропу, закричал и замахал руками. В нескольких метрах от него Кукла остановилась как вкопанная, и я, перелетев через ее голову, упал на землю.

Я вскочил и удивился, что снова попал в тихую погоду. Неожиданный толчок прервал мое удивление. Что-то опрокинуло меня и поволокло по земле. Но тут подскочил мой брат, выхватил из рук поводья и стал успокаивать Куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в поводья, что не мог разжать пальцы даже после того, как упал.

С тех пор дядя меня на Куклу больше не сажал, да я и не просился. И все же я не только не охладел к ней, но, наоборот, еще больше полюбил. Ведь так и должно было случиться: она знаменитая лошадь и никого не признает, кроме своего хозяина.

Надо сказать, что даже самому дяде она давалась не просто. Чтобы надеть на нее уздечку, он медленно подходил к ней, вытягивал руку, говорил что-то ласковое, а дотянувшись до нее, поглаживал ее по холке, по спине и, наконец, вкладывал в рот железо. Такими же плавными, замедленными движениями пасечники вскрывают ульи.

Обычно, когда он подходил к ней, Кукла пятилась, задирала голову, отворачивалась, вся напряженная, дрожащая, готовая рвануться от одного неосторожного движения. Казалось, каждый раз она со стыдом и страхом отдавалась в руки своему хозяину.

Иногда днем, когда мы ходили в котловину Сабида за черникой или лавровишней, мы ее встречали в самых неожиданных местах.

Бывало, окликнешь ее: «Кукла, Кукла!». Она остановится и смотрит долгим, удивленным лошадиным взглядом. Если пытались подойти, она удирала, вытянув свой длинный красивый хвост. Вдали от дома она совсем дичала.

Бывало, где-нибудь в зарослях ежевики, лесного ореха, папоротников раздавался неожиданный хруст, треск, топот. Леденя от страха, ждем: вот-вот на нас набросится дикий кабан. Но из-за кустов вырывается Кукла и, как огненное видение, пронесется мимо, и через мгновение далеко-далеко затихает топот ее копыт.

— Куклу не видели? — спрашивал дядя, заметив, что мы возвращаемся из котловины Сабида.

— Видели, — отвечали мы хором.

— Вот и молодцы! — говорил он довольный, словно то единственное, что можно было сделать в котловине Сабида, мы сделали, а об остальном и спрашивать не стоит.

Мы все в доме, хотя дядя об этом никогда не говорил, чувствовали, как он любит свою лошадь. Надо сказать, что и Кукла, несмотря на свою дикость, любила по-своему дядю.

Вечерами, когда она стояла у ворот, только слышит его голос, сразу же поворачивает голову и смотрит, смотрит...

Иногда днем дядя ловил Куклу и приезжал на ней, сидя боком — ноги на одну сторону. У него это получалось как-то молодо, лихо. Эта молчаливая шутка была особенно приятна, как бывала приятна неожиданная улыбка на его обычно суровом лице.

Видно было, что у него хорошее настроение, а хорошее настроение оттого, что предстояла особенно дальняя и интересная поездка. Дядя привязывал Куклу к яблоне, подогревал кувшинчик с водой, брился, мыл голову. Тетка Маница начинала ворчать, но слова ее отлетали от него, как градины от бурки, которую он, переодевшись, набрасывал на себя.

И вот он перекидывает ногу через седло, усаживается поудобней, в руке щеголеватая камча. Статный, сильный, он некоторое время медлит посреди двора, отдавая последние хозяйские распоряжения. Легко пригнувшись, сам себе открывает ворота и удаляется быстрой рысью.

В эти минуты нельзя было не залюбоваться им, и только тетушка продолжала ворчать и делать вид, что не слушает его и не смотрит в его сторону. Но и она не удерживалась. А в руках сито, или забытая вязанка хвороста, или еще что. Грустно ей чего-то, а чего, мы не знаем.

...Война подходила все ближе и ближе. Где-то за перевалом уже шли бои, и, если прислушаться, можно было услышать отдаленный, как бы уставший от самого себя грохот канонады. В деревне почти не осталось молодых парней и мужчин. На нашем краю остались только горбатый почтарь и дядя, оба пожилые.

Однажды председатель объявил, что временно мобилизуются все ослики и лошади для перевозки боеприпасов на перевал. Сначала забрали всех осликов, а потом назначили день, когда будут брать лошадей, чтобы их приготовили и держали дома.

Накануне вечером дядя загнал Куклу во двор, а утром ее уже не выпустили.

В этот же день рано утром приехал из соседней деревни известный лошадиник Мустафа. Это был человек небольшого роста с коротенькими кустистыми бровями, из-под которых, как настороженные зверьки, выглядывали глаза.

Мы поняли, что он приехал неспроста. В честь его приезда зарезали курицу, и тетка поставила на стол алычевую водку.

— Про мобилизацию, конечно, знаешь? — спросил он, принимаясь за еду.

— Конечно, — ответил дядя.

— Как решил? — Мустафа облизнул губы и, стараясь не опережать дядю, осторожно приподнял рюмку.

— Сам видишь, — дядя кивнул во двор, — придется отдать.

— Дурное дело! — сказал лошадиник и продолжал без всякого перехода: — За твой дом, за старых и за малых, за всю семью...

— Спасибо...

Выпили и некоторое время молча ели. Дядя, как всегда вяло, без интереса. Гость, наоборот, с удовольствием. Мы, дети, сидели в сторонке, жадно прислушивались и жадно глядели, как гость сокрушает лучшие куски курятины.

— Знаю, что дурость, но куда податься...

— Сегодня же найду тебе — сдай другую...

— Неудобно, все знают мою Куклу...

— Не мне тебя учить, но...

— За твоих близких, которые там, чтобы все вернулись. — Дядя кивнул в сторону перевала.

— Спасибо, Кязым. Судьба — вернутся. Нет — что поделаешь...

Снова выпили. Гость вновь заработал жирными челюстями. Приостановился.

— Учти, если лошадь и вернется, это будет не та лошадь.

— Что поделаешь, мобилизация, азакуан.

— Меблизация, азакуан, я знаю, но где ты слыхал, чтоб они понимали наших лошадей! Они и своих лошадей не понимают.

— Что поделаешь...

— Азакуан требует лошадь, а не Куклу...

— Но люди знают...

— Хлеб-соль прикроет любой рот.

— Мустафа, ты это видишь? — Дядя приподнял в руке белый ломтик сыру.

— Вижу, — сказал Мустафа, и зверечки под его густыми бровями забеспокоились.

— Ты знаешь, во что он превратится после того, как я его съем?

— Ну и что?

— И все-таки мы его хотим есть чистым и белым, Иначе не хотим. Так и это, Мустафа.

— Говоришь, как мулла, а лошадь губишь.

— Знаю, но так лучше. — И вдруг неожиданно горько добавил: — В этой чертозой жаровне наши мальчики стоят по колена в огне, а что лошадь... Лучше выпьем за них.

— Конечно, выпьем, но азакуан что говорит? Он говорит...

Я помню, как пронзила меня неожиданная горечь дядиных слов. Может быть, потому, что обычно он говорил насмешливо, безжалостно. Вот так, бывало редко улыбался, но улыбнется — и радость вспыхнет, как спичка в темноте.

Допив водку, они вымыли руки и вышли во двор. Дядя Кязым, высокий и унылый, а рядом лошажник, маленький и бодрый с крепким, красным затылком.

Дядя поймал Куклу и надел на нее уздечку. Мустафа подошел к лошади, потрепал ее. Потом стал почему-то толкать ее назад. Я даже испугался, думал, что он пьяный. Потом он неожиданно нагнулся и начал поднимать ей переднюю ногу. Кукла всхрипнула и потянулась укусить его, но он небрежно отмахнулся от нее и все-таки заставил поднять ногу. Стоя на четвереньках и посапывая, он осмотрел каждое копыто. Сначала передние ноги, потом задние. Когда он подошел к ней сзади, я думал, тут она ему отомстит за его нахальство, но она почему-то его не лягнула. Даже, когда он схватил ее за хвост и протер хвостом копыто, чтобы как следует рассмотреть подкову, она не ударила его, а только все время дрожала.

— Стоит перебить передние, — сказал он, вставая, — сам знаешь, дорога на Марух...

Дядя вынес из кухни ящик с инструментами. «Зачем он возится с ней, раз она ему не достанется», — думал я, глядя на Мустафу и пытаюсь постигнуть сложную душу лошатника.

Куклу отвели под тень яблони, где была привязана лошадь Мустафы.

— Что у вас за мухи, мою лошадь загрызли! — сердито удивился Мустафа, оглядев свою лошадь.

— Это у нас от коз, — сказал дедушка. Он подошел помогать.

Дядя держал Куклу, коротко взяв ее под уздцы. Маленький лошажник ловко стал на одно колено, приподнял лошадиную ногу и стал выковыривать из подковы ржавые гвозди. Он порылся в ящике и, набрав оттуда целый пучок гвоздей для подков, как фокусник, сунул их в рот и зажал губами. Потом он вынимал их оттуда по одному и двумя-тремя ударами вколачивал в безвольно повернутое копыто лошади. После каждого удара Кукла вздергивалась, и волна дрожи пробегала по ее телу, как круги по воде, если в нее швырнуть камень.

— Кукла-а, — приговаривал дядя, чтобы успокоить ее и дать знать, что видит все, что делается.

Вторую подкову, отполированную травой и камнями, он почему-то снял и заменил ее новой, но ржавой из дядиного ящика. Пока он возился, Кукла несколько раз хлестанула его кончиком хвоста. Каждый раз после этого он подымал голову и, не выпуская изо рта гвозди, сердито мычал, словно не ожидал от нее такого ребячества.

— Теперь хоть к самому дьяволу скачи! — сказал он и, вбросив молоток в ящик, выпрямился. Дядя взял ящик одной рукой и как-то нехотя отнес его домой. Даже по спине его видно было, до чего ему нехорошо. Куклу привязали рядом с лошадью Мустафы.

Снятая подкова блестела, как серебряная, я заслонил ее, чтобы потом незаметно поднять, но дедушка отодвинул меня и поднял ее сам. Он тут же прибил ее к порогу — на счастье. Там уже была прибита другая подкова, но она порядочно протерлась, а эта даже в тени блестела, как серебряная. Может быть, дед решил, что пришло время обновлять счастье, кто его знает.

Мустафа уезжал. Дядя поддерживал ему лошадь под уздцы. Лошадник крепко ухватился руками за скрипнувшее седло и вдруг замер.

— Может, переседлаем, — сказал он, как бы собираясь сорвать седло со своей лошади и перенести его на дядину.

С яблони сорвалось яблоко и, глухо стукнувшись о траву, покатилося. Кукла вздрогнула. Я проследил глазами за яблоком, чтобы потом поднять его. Оно остановилось у изгороди в зарослях сорняка.

— Не стоит, Мустафа, — сказал дядя Кязым, подумав.

Мустафа вскочил на свою лошадь.

— Всего, — сказал он и тронул ее камчой.

— Хорошей дороги, — сказал дядя и отпустил поводья только после того, как лошадь тронулась, чтобы не казалось, что хозяин спешит избавиться от своего гостя.

Мустафа скрылся за поворотом дороги, дядя вошел в дом, а я вспомнил про яблоко и, подойдя к изгороди, раздвинул ногой заросли сорняка. Яблока там не оказалось. Я сначала удивился, но потом увидел свинью. Она похаживала по ту сторону изгороди, прислушиваясь к шороху в листьях яблони. Видно, она просунула морду сквозь прутья плетня и вытащила мое яблоко. Я прогнал ее камнями, но это было бесполезно. Она остановилась невдалеке, продолжая следить не столько за мной, сколько за яблоней, что было особенно обидно.

Весь этот день дядя лежал в комнате и курил. Длинный, худой, он курил, глядя в потолок, и лежал, как опрокинутый. Тетка Маница не решалась его беспокоить и сама занималась всеми хозяйскими делами. Время от времени она посылала нас посмотреть, что делает дядя. Мы проходили с огород и оттуда через окошко смотрели на дядю. Он ничего не делал, только лежал и курил, глядя в потолок, все такой же длинный, опрокинутый.

— Что он там делает? — спрашивала тетка, когда мы возвращались на кухню.

— Ничего, только курит, — говорили мы.

— Ну, ничего, пусть курит, — отвечала она и, быстро скрутив длинную, тонкую сигарку, закуривала сама, озираясь на дверь, чтобы не увидел дед.

К вечеру пришел парень из сельсовета и спокойно, как человек, привыкший ходить по чужим дворам, отбиваясь палкой от собак, прошел на кухню. Все знали, зачем он пришел, и он знал, что все об этом знают, но для приличия он сначала говорил про всякую ерунду. Дядя так и не вышел из комнаты, хотя тетка тайком посылала за ним. В конце концов парень объявил о цели своего прихода, сделав при этом постную мину горевестника. С этой же постной миной горевестника он взял Куклу за повод и повел ее со двора. Он вел ее на предельно вытянутых поводьях, словно удлиняя расстояние между собой и лошадью, молча втолковывал нам, что она имеет дело не с ним, а с законом. Но, пожалуй, он это делал слишком явно, и потому мы, дети, не очень поверили ему. Мы чувствовали, что по дороге от хозяина к закону он что-нибудь отщипнет для себя самого.

Как только он вышел со двора, мы вбежали в огород и, прячась в кукурузе, следили за ним. Так оно и оказалось. Недалеко от дому он остановился у большого камня, осторожно влез на него и оттуда спрыгнул на шею лошади. Кукла взвилась, но опрокинуть его не смогла. В наших краях слишком многие хорошо ездят.

— Меблизация! — крикнул он, не то понукая лошадь, не то оправдываясь, и поскакал. До сельсовета было пять километров. Мы постояли еще немного, покамест не смолк звук лошадиных копыт, и потом тихо вернулись во двор.

Через несколько дней, после того, как дядю взяли на заготовку леса, в котловине Сабида медведь зарезал соседскую корову. Она долго редела, наверное, звала на помощь, но спуститься было некому. Мы все столпились у края котловины и слушали. То ли медведь

был неумелый, то ли корова оказалась слишком живучей, но он ее долго терзал — никак не мог убить. Больше часа длился этот жуткий рев, придавленный теменью котловины и нашим страхом. Потом он стал слабеть и удлиняться. Казалось, голос коровы уже не пытался вырваться к людям наверх, а стекал вместе с кровью по днищу котловины. Потом он превратился в еле слышный стон, и этот стон был еще страшнее, чем рее. К нему особенно настойчиво и долго прислушивались, стараясь не спутать его с другими звуками ночи, а главное, не упустить его, словно остротой слуха отдаляли мгновение смерти. Наконец все замолкло, а потом стало слышно, как за перевалом отдаленно грохочет война.

Несколько дней после этого скотина, проходя мимо того места, где была растерзана корова, редела, вытягивая морды и принюхиваясь к следам крови. Казалось, животные давали прощальный салют своему погибшему товарищу. Потом дождь смыл следы крови, и они успокоились.

Дядя, вернувшись домой, устроил в лесу засаду и несколько ночей подкарауливал медведя, но он больше не появлялся.

Шли дни. Про лошадь дядя не говорил, и мы при нем о ней не вспоминали, потому что тетка нас предупредила об этом. И без того не слишком разговорчивый, он стал еще более молчаливым. Бывало, хлопнет за ним калитка, тетка посмотрит ему вслед и вздохнет:

— Скучает наш хозяин.

Однажды я встал раньше всех, потому что накануне заметил на дереве несколько инжиров, которые должны были поспеть за ночь. Выхожу на веранду и не верю своим глазам — у ворот стоит лошадь.

— Кукла! — закричал я, замирая.

— Не может быть! — радостно отозвалась тетка из комнаты, словно она только и ждала моего возгласа.

Я спрыгнул с крыльца и побежал к воротам.

Через минуту взрослые и дети все столпились у ворот. Дядя вышел последним. Он спокойно прошел двор своей легкой походкой. Было заметно, что он старается выглядеть спокойным. Возможно, он стеснялся нас или думал, что радость может оказаться преждевременной.

Лошадь впустили во двор. Она прошла несколько шагов и нерешительно остановилась перед дядей. Он обошел ее, внимательно оглядывая. Только теперь мы заметили, какая она худая и смертельно усталая. Когда она сошла с места, рой мух со злобным гудением слетел с ее спины и потом снова уселся ей на спину, как стая лилипутских стервятников. Спина лошади оказалась стертой.

— Кто ее знает, что она там перевидала, — прервал дедушка общее молчание, как бы оправдывая лошадь.

— Чоу! — Взмахнув рукой, дядя согнал ее с места. Кукла отошла на несколько шагов, остановилась, постояла и вдруг оглянулась на дядю.

— Чоу! — Снова взмахнув рукой, он согнал ее с клеста и посмотрел ей вслед. Рану на ее спине он презрительно не замечал, словно то, к чему он приглядывался и прислушивался, было куда важнее всяких ран.

Кукла опять сделала несколько шагов и нерешительно остановилась. Все молчали, и, словно испугавшись общего молчания, лошадь снова оглянулась на хозяина.

— Чоу! — прикрикнул он на нее еще раз, и она опять сошла с места, сделала несколько шагов и обреченно остановилась. Больше она не оглядывалась. Мухи снова слетели с ее спины и снова уселись на рану, но дядя эту рану еще более презрительно не замечал, как будто лошади нарочно протерли спину, чтобы отвлечь его внимание от того главного, что с ней случилось.

— Перестань, — тихо сказал дедушка, хотя он ничего не делал.

— Порченая, — устало ответил дядя, — надорвалась... — Он повернулся и пошел в дом. Я не понимал, что значит порченая, но чувствовал, что с лошадью случилось что-то страшное, и в то же время не верил этому.

— Разве рана не заживет? — спросил я у дедушки, когда дядя ушел на работу. Дедушка сидел в тени яблони и плел корзину.

— Не в этом дело, — сказал он. Его кривые, сточенные работой пальцы остановились. Он оглядел свое плетенье и, сообразив, как идти дальше, добавил: — У ней гордость убили...

— Какую гордость? — спросил я.

— Ясно какую, лошадиную, — ответил он, уже не слушая меня. Он просунул между дрожащих и стоящих торчком планок поперечную планку и жадными, сильными пальцами стянул ее, чтоб уплотнить плетенье, как стягивают подпругой лошадиный живот.

— Но она же отдохнет, — напомнил я, стараясь нащупать, что он имел в виду.

— Ей теперь все равно, в ней игры нет, — сказал он, продолжая скручивать, прогибать и натягивать гибкую, свежесвыструганную ореховую планку. Что-то непристойное, нестариковское было в жадном удовольствии, с которым он плел корзину. Правда, он все делал с какой же жадностью, но сейчас мне было обидно за Куклу.

Только через много лет я понял, что потому-то он и оказался не сломленным до конца своих дней, что обладал даром хороших крестьян и больших художников — извлекать удовольствие из самой работы, а не ждать ее часто обманчивых плодов. Но тогда я этого не знал, и мне было обидно за Куклу.

С месяц лошадь жила во дворе. Мы, дети, верили, что она отдохнет и станет такой же, как раньше. Теперь мы сами водили ее купать, приносили свежую траву, отгоняли от нее мух, очищали рану керосиновой тряпкой. Через некоторое время рана затянулась, лошадь стала гладкой и красивой. Но, видно, что-то в ней и вправду навсегда изменилось. Теперь, если подойти к ней и положить руку на шею или на спину, она совсем не дрожала, а только затихала и прислушивалась. Иногда, когда она вот так затихала и прислушивалась, казалось, она пытается и никак не может вспомнить, какой она была раньше.

Вскоре дедушка отправился с ней на мельницу, потому что наш ослик так и не возвратился с перевала. Потом ее стали одалживать соседи, но дядя на нее больше не садился и даже не подходил к ней. Она все еще помнила его и, услышав его голос, подымала голову, но он всегда неумолимо проходил, не замечая ее.

— Какой ты жестокий, — сказала тетка однажды, когда мы собрались перед обедом на кухне, — подошел хоть бы раз, приласкал бы...

— Можно подумать, что ты мою лошадь любишь больше, чем я, — сказал он насмешливо и, сунув сигарку в огонь, прикурил.

Осенью Куклу продали в соседнее село за пятнадцать пудов кукурузы — слишком много нас собралось в доме дяди, своей кукурузы не хватало.

Больше мы Куклу не видели, но однажды слышали о ней. Как-то новый хозяин ее приехал на скачки. Он привязал ее у коновязи, а сам протиснулся в толпу. Во время самого длинного заезда, когда азарт дошел до предела и Кукла слышала гул толпы запах разгоряченных лошадей, топот копыт, она вспомнила что-то.

Так или иначе, она оборвала привязь, влетела в круг, обогнала мчащихся всадников и почти целый круг шла впереди с нелепо болтающимися стремянами под свист и хохот толпы. Потом ее обогнали другие лошади, и она сама сошла с круга.

После Куклы дядя Кязым не заводил лошадей. Видно, возраст уже был не тот, да и время не то.

2. ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ НАХОДОК

Вот что было со мною в детстве.

Как-то летним вечером собрались гости у моего дяди. Выпивки не хватило, и меня послали за вином в ближайшую лавку, что было, как я теперь понимаю, не вполне педагогично. Правда, сначала предложили пойти моему старшему брату, но он заупрямился,

зная, что в ближайшие часы его никто не накажет, а до завтра он еще выкинет что-нибудь такое, за что все равно придется держать ответ.

Бегу босиком по теплой немощеной улице. В одной руке бутылка, в другой — деньги. Отчетливо помню: какое-то необычайное возбуждение, восторг пронизывают меня. Разумеется, это было не предчувствие предстоящей покупки, потому что в те годы к этому делу я не проявлял особого интереса. Да и сейчас интерес вполне умеренный.

Чем прекрасно вино? Только тем, что оно гасит наши личные заботы, когда мы пьем со своими друзьями, и усиливает то общее, что нас связывает.

И если даже нас связывает общая забота или неприятность, вино, как искусство, преображающее горе, примиряет и дает силы жить и надеяться. Мы испытываем обновленную радость узнавания друг друга, мы чувствуем: мы люди, мы вместе.

Пить с любой другой целью просто-напросто малограмотно. А одиночные возлияния я бы сравнил с государственной контрабандой или с каким-нибудь извращением. Кто пьет один, тот чокается с дьяволом.

Я повторяю: по дороге в лавку меня охватило какое-то странное возбуждение. Я бежал и все время смотрел под ноги: мне мерещилась пачка денег, время от времени она появлялась у меня перед глазами, и я даже приостанавливался, чтобы убедиться, так это или нет. Я понимал, что все это мне только кажется, но видел до того ясно, что не мог удержаться. Убедившись, что ничего нет, я еще более восторженно верил, что должен найти деньги, и летел дальше.

Я вбежал по деревянным ступеням, лавка стояла как бы на трибунке, и быстро сунул деньги и бутылку продавцу. Пока он приносил вино, в последний раз посмотрел себе под ноги и увидел пачку денег, перепоясанную довоенной тридцаткой.

Я поднял деньги, схватил бутылку и помчался назад, полумертвый от страха и радости.

— Деньги нашел! — закричал я, вбегая в комнату. Гости нервно, а некоторые даже оскорбленно вскочили на ноги. Поднялся переполох. Денег оказалось сто с чем-то рублей.

— Я тоже сбегая! — закричал мой брат, загораясь запоздалым светом моей удачи.

— Шмаляй! — закричал шофер дядя Юра. — Это я первый сказал, что надо выпить. У меня легкая рука.

— И даже слишком, — ехидно встала всегда спокойная тетя Соня.

— Однажды у нас в Лабинске... — начал было дядя Паша. Он всегда рассказывал или про свою язву желудка, или про то, как раньше жили на Кубани. Начинал с того, как раньше жили на Кубани, а кончал язвой желудка, или наоборот. Но сейчас дядя Юра его перебил.

— Это я сказал первый! Мне магарыч! — шумел он. Бывало, как заведется, не остановишь.

— Почему ты первый? Я, например, не слышал, — угрюмо возразил дядя Паша.

— Ты же сам говорил, что тебя белоказак рубанул шашкой по уху!

— Так то левое ухо, а ты справа сидишь, — сказал дядя Паша, довольный тем, что перехитрил дядю Юру, и привычным движением отогнул огромной рабочей рукой свое ухо. Над ухом была вдавлинка, в которую спокойно можно было вложить грецкий орех. Все с уважением осмотрели шрам от казацкой шашки.

— Помню, как сейчас, стояли под Лабинском... — начал было дядя Паша, воспользовавшись вниманием гостей, но дядя Юра опять его перебил.

— Если мне не верите, пусть он сам скажет. — И все посмотрели на меня.

В те времена я любил дядю Юру да и всех сидящих за столом. Мне хотелось, чтобы все радовались моей удаче, чтобы все были соучастниками ее и ни у кого не было преимущества.

— Все сказали, — изрек я восторженно.

— Я не говорю, что не все сказали, но кто первый, — заревел дядя Юра, но голос его потонул в шуме, потому что все радостно захлопали в ладоши: очень уж дядя Юра всегда старался вырваться вперед.

— О аллах, — сказал дядя Алихан, самый мирный и тихий человек, потому что он был продавцом козинаков, — мальчик нашел деньги, а они шумят. Лучше выпьем за его здоровье, да?

Мужчины зашумели и стали, перебивая друг друга, пить за мое здоровье.

— Я всегда знал, что из него выйдет человек... — г С этим маленьким бокалом...

— Молодым везде у нас дорога...

— За счастливое'детство...

— Дорога, но какая дорога? Асфальт!

— За эту жизнь, — провозгласил последним дядя Фима, — мы дрались, как львы, и львиная доля из нас осталась на поле.

— Он будет, как вы, ученым, — вставила тетя, чтобы успокоить его.

— И даже лучше! — крикнул дядя Фима и, забросив меня на неслыханную высоту, выпил свой стакан. Дядя Фима был самым образованным человеком на нашей улице и потому быстрее всех пьянел.

Я был в восторге. Мне хотелось сейчас же доказать, как я их всех люблю. Мне хотелось дать честное пионерское слово, что я каждому из них найду и возвращу все, что он потерял в жизни. Может быть, я думал не этими словами, но думал я именно так. Но я не успел ничего сказать, потому что пришла мама и, нарочно не замечая всеобщего веселья, выдернула меня оттуда, как редиску из грядки.

Она вообще не любила, когда я бывал на этих праздничных сборищах, а тут еще была обижена, что я пробежал с найденными деньгами мимо своего дома.

— Ты, как твой отец, будешь стараться для других, — сказала она, когда мы спускались по лестнице.

— Я буду стараться для всех, — ответил я.

— Так не бывает, — грустно сказала она, думая о чем-то своем.

Тут нам встретился брат, который возвращался после поисков. По его лицу было видно, что в лотерее два номера подряд не выигрывают.

— Ты все деньги показал? — спросил он у меня мимоходом.

— Да, — гордо ответил я.

— Ну и дурак, — бросил он и пробежал наверх. Эти мелкие неприятности не могли заглушить того, что заиграло во мне. Я решил, что всем неудачам и потерям в нашем доме пришел конец. Раз я ни с того ни с сего мог найти такие деньги, чего я только не найду, если буду все время искать. Земля полна надземных и подземных кладов, только ходи и не хлопай глазами, да не ленись подбирать.

На следующее утро на эти же деньги мне купили прекрасную матросскую куртку с якорем, которую я носил несколько лет. В этот же день весть о моей находке распространилась в нашем дворе и далеко за его пределами. Приходили поздравить, узнать подробности этого праздничного события. Женщины глядели на меня с хозяйственным любопытством, по их глазам было видно, что они не прочь меня усыновить или по крайней мере одолжить на время.

Я десятки раз рассказывал, как нашел деньги, не забывая при этом указать, что предчувствовал находку.

— Откуда же ты знал? — спрашивали они.

— Я чувствовал, — говорил я, — я все время смотрел на землю и видел деньги.

— А сейчас ты не чувствуешь?

— Сейчас нет, — честно признавался я.

Это было и в самом деле маленькое чудо. Теперь я думаю, что какой-то шофер-левак, они часто там останавливались и распивали вина, потерял эти деньги. А потом в дороге спохватился, и его тревожные сигналы были правильно расшифрованы моим возбужденным мозгом.

В этот же день пришла одна женщина из соседнего двора, поздравила мою маму, а потом сказала, что у нее пропала курица.

— Ну и что мне теперь делать? — спросила мама сурово.

— Попросите вашего сына, пусть поищет, — сказала она.

— Оставьте, ради бога, — ответила мама, — мальчик один раз нашел деньги, и теперь покоя не будет сто лет.

Они разговаривали в коридоре, а я из комнаты прислушивался к ним. Но тут я не выдержал и приоткрыл дверь.

— Я найду вашу курицу, — сказал я, бодро выглядывая из-за маминой спины. Дня за два до этого у меня закатился мяч в соседский подвал. Вытаскивая его оттуда, я заметил какую-то курицу, а так как ни у кого в нашем дворе куры не терялись, теперь я догадался, что это ее курица.

— Я чувствую, что она в этом подвале, — сказал я, немного подумав.

— Там нет никакой курицы, — неожиданно возразила хозяйка подвала. Она развешивала во дворе белье и, оказывается, прислушивалась к нашему разговору.

— Должна быть, — сказал я.

— Нечего туда лазить, дрова раскидывать, еще пожар устройте, — затараторила она.

Я взял спички и ринулся в подвал. Дверь в него была заперта, но с другой стороны подвала была дыра, в которую я и пролез.

В подвале было темно, только слабая полоска света падала из дыры, идти приходилось согнувшись.

— Что он там делает? — спросил кто-то снаружи.

— Клад ищет, — ответила Сонька, бестолковая спутница моего детства. — Он там миллион денег нашел.

Осторожно чиркая спичками и озираясь, я подошел к тому месту, где видел курицу, и снова увидел ее. Она приподнялась и, подслеповато поводя головой, посмотрела в мою сторону. Я понял, что она здесь высиживает яйца. Городские куры обычно уходят нестись куда-нибудь в укромное место. В темноте поймать ее было нетрудно. Я нащупал рукою гнездо, которое она себе устроила на клоке сена, и стал перекладывать теплые яйца в карманы. Потом я осторожно пошел назад. Теперь я шел на свет и поэтому мог не зажигать спичек.

Увидев курицу, хозяйка от радости закудахтала вместе с ней.

— Еще не все, — сказал я, передавая ей курицу.

— А что? — спросила она.

— А вот что, — ответил я и стал вынимать из карманов яйца. Увидев яйца, курица почему-то рассердилась, хотя я и не скрывал от нее, что взял их оттуда. Наверно, она тогда в темноте не заметила. Хозяйка переложила яйца в передник и, держа курицу под мышкой, вышла со двора.

— Когда поспеет инжир, приходи! — крикнула она из калитки.

С тех пор я всегда чего-нибудь искал и часто находил неожиданные вещи, так что прослыл чем-то вроде домашней ищейки. Помню, один наш чудаковатый родственник, когда у него пропал козел, хотел увезти меня в деревню, чтобы я его как следует поискал. Я был уверен, что найду козла, но мама меня не пустила, потому что боялась, как бы я сам не заблудился в лесу.

Я находил и многие другие вещи, потому что все время искал и потому что все считали, что я умею находить. Дома я находил щепки, запеченные в хлеб, иголки, воткнутые в подушки рассеянными женщинами, старые налоговые квитанции и облигации нового займа.

Одна из наших соседок часто теряла очки и звала меня искать их. Я ей быстро находил очки, если она не успевала их вынести из комнаты вместе с мусором. Но и в этом случае я их находил в мусорном ящике, потому что кошки, которые там возились, никогда их не трогали. Но она слишком часто теряла очки, и в конце концов я ей посоветовал купить запасные, чтобы, потеряв первые, она могла при помощи запасных искать их. Она так и

сделала, и некоторое время было все хорошо, но потом она стала терять и запасные, так что работы стало вдвое больше, и я был вынужден припрятать ее запасные очки.

Мне доставляло радость дарить окружающим то, что они потеряли. Я выработал свою систему поисков потерянных вещей, которая заключалась в том, что потерянные вещи сначала надо искать там, где они были, а потом там, где они не были и не могли быть.

Если окружающие меня люди переставали что-нибудь терять, мне приходилось иногда создавать находки искусственно.

По вечерам я, как комендант, обходил двор и прятал забытые вещи. Часто это было белье, забытое на веревке. Я его закидывал на деревья, а потом на следующий день, когда ко мне приходили за помощью, после некоторых раздумий и расспросов, где что висело, как бы вычислив уравнение с учетом скорости ветра и направления его, я показывал изумленным домохозяйкам на их белье и сам же его снимал с деревьев. Разумеется, я был не настолько глуп, чтобы повторяться слишком часто. Да и настоящих потерь было гораздо больше.

За все это время только один раз находка моя не доставила радости хозяйке. Вот как это было.

В нашем дворе жила взрослая девушка. Звали ее Люба. Она почти целый день сидела у окна и улыбалась на улицу, зачесывая и перечесывая волосы золоченым гребнем, который я тогда ошибочно считал золотым. Рядом с ней стоял граммофон, повернутый изогнутой трубой на улицу. Он почти все время пел одну и ту же песенку:

Люба, Любушка.
Любушка, голубушка...

Граммофон был вроде зеркальца из пушкинской сказки, он все время говорил про хозяйку. Во всяком случае, я был в этом уверен, а судя по улыбающейся мордочке Любушки, она тоже.

Однажды летом в довольно глухом садике возле нашего дома я нашел в траве Любушкин гребень. Я был уверен, что это ее гребень, потому что другого такого я никогда не видел. В тот же вечер я прохаживался по двору в ожидании, когда подымется паника и меня пригласят искать. Но Любушки не было видно, и никакой тревоги не замечалось. На следующее утро я еще больше удивился, не обнаружив посылного у своей постели. Я решил, что золотую гребенку потерял кто-то другой. Но все-таки надо было убедиться, что Любушкина гребенка на месте. Как назло, целый день она не появлялась у окна. Она показалась только к вечеру, но теперь граммофон играл совсем другую песню.

Я не знал, что это за песня, но понимал, что граммофон больше не разговаривает с ней. Это была грустная песня, а когда Любушка повернулась спиной к окну, я увидел, что в ее волосах нет никакой гребенки, и понял, что граммофон вместе с ней оплакивает потерю.

Мать и отец ее стояли у другого окна, уютно облокотившись о подоконник.

— Любка, — спросил я, дождавшись, когда кончится пластинка, — ты ничего не потеряла?

— Нет, — сказала она испуганно и тронула рукой волосы именно в том месте, где раньше был гребень. При этом она почему-то так покраснела, что стало ясно: она понимает, о чем я говорю. Я только не знал, почему она скрывает свою потерю.

— А это ты не потеряла? — сказал я и с видом волшебника, слегка уставшего от всеобщего ротозейства, вынул из кармана золотой гребень.

— Шпион проклятый! — неожиданно крикнула она и, выхватив гребень, убежала в комнату. Это было совершенно бессмысленное и глупое оскорбление.

— Дура, — крикнул я в окно, стараясь догнать ее своим голосом, — надо читать книжки, чтобы знать, что такое шпион!

Я повернулся уходить, но отец ее окликнул меня. Теперь он у окна стоял один, а Любкина мать побежала за нею.

— Что случилось? — спросил он, высовываясь из окна.

— Сама гребень потеряла в саду и сама обижается, — сказал я и удалился, так и не поняв, в чем дело. Говорят, в тот вечер Любке крепко попало.

А потом у них в доме появился летчик и пластинка про «Любимый город». Песенка была очень красивая, но я никак не мог понять там одного места: «Любимый город в синем дым-Китая». Каждое слово в отдельности было понятно, а вместе получалась какая-то китайская загадка.

Через неделю летчик уехал с Любушкой, и теперь ее мать грустила у окна вместе с граммофоном, который плакал, как большая собака, и все звал: «Люба, Любушка...».

Я продолжал свои поиски, прихватывая все новые и новые неоткрытые земли.

Особенно интересно было искать на берегу моря после шторма. Там я находил матросский ремень с пряжкой, пряжку без ремня, заряженные патроны времен гражданской войны, ракушки всевозможных размеров и даже мертвого дельфина. Однажды я нашел бутылку, выброшенную штормом, но записки в ней почему-то не оказалось, и я сдал ее в магазин.

Рядом с городом на берегу реки Келасури я нашел целую отмель с золотоносным песком. Стоя по колено в бледно-голубой, холодной воде, я целый день промывал золото. Набирал в ладони песок, зачерпывал воду и, слегка наклонив ладони, смотрел, как она стекала. Золотые пластинчатые искорки вспыхивали в ладонях, вода щекотала пальцы ног, большие солнечные зайцы дрожали на чистом-пречистом дне отмели, и было хорошо, как никогда.

Потом мне сказали, что это не золото, а слюда, но ощущение холодной горной воды, жаркого солнца, чистого дна отмели и тихого счастья старателя осталось.

Но вот еще странная находка, о которой мне хочется рассказать поподробней.

У нас была такая игра — кто глубже нырнет. На глубине примерно двух метров мы начинали нырять и заходили все дальше и дальше, пока хватало дыхания.

В тот день мы с одним пацаном состязались таким образом на Собачьем пляже. Пляж этот и сейчас так называется, может быть, потому, что там строгонастрого запрещают купать собак, а может быть, потому, что собак там все-таки купают.

И вот я ныряю в последний раз. Дохожу до дна, хочу схватить песок и почти носом упираюсь в большую квадратную плиту, на которой я успел разглядеть изображение двух людей.

— Старинный камень с рисунком! — ошалело крикнул я, вынырнув.

— Врешь, — сказал пацан, подплывая ко мне и заглядывая в глаза.

— Честное слово! — выпалил я. — Большой камень, а на нем первобытные люди.

Мы стали нырять по очереди и почти каждый раз видели в подводных сумерках белую плиту с тусклым изображением двух людей. Потом мы нырнули вдвоем и попытались сдвинуть ее, но она даже не пошатнулась.

Наконец мы замерзли и вылезли из воды. Я до этого точно заметил место, где мы ныряли. Это было как раз между буйком и старой сваей, торчавшей из воды.

Через несколько дней начались занятия в школе, и я рассказал нашему учителю о своей находке. Он вел у нас уроки по географии и истории. Это был могучий человек с высохшими ногами, Геркулес на костылях. Казалось, перемещение сил коснулось не только его мощного корпуса, но и головы. От его облика веяло силой ума и душевной чистоплотностью. В гневе он бывал страшен. Мы его любили не только потому, что он обо всем интересно рассказывал, но и потому, что он относился к нам серьезно, без той неряшливой снисходительности, за которой дети всегда угадывают безразличие. — Это древнегреческая стела, — сказал он, внимательно выслушав меня, — замечательная находка.

Решили после уроков пойти туда и, если это возможно, вытащить ее из воды. «Стела», — повторял я про себя с удовольствием. Уроки прошли в праздничном ожидании похода.

И вот мы идем к морю. В качестве рабочей силы с нами отправили физрука. Сначала он не хотел идти, но директор его все-таки уговорил. В школе он никого не боялся, потому

что, как он говорил, его в любой день могли взять работать тренером по боксу. Мы считали, что он одним ударом может нокаутировать весь педсовет. Может быть, поэтому с его лица не сходило выражение некоторой насмешки над всем, что делается в школе, и как бы ожидания того часа, когда этот удар нужно будет нанести.

Во время физкультуры, если его кто-нибудь не слушался, он мог дать щелчок-шалабан, равный по силе сотрясения прыжку с ограды стадиона на хорошо утопанный школьный двор. В этом каждый из нас успел убедиться.

Мы разделись и посыпались в море. На берегу остался один учитель. Он стоял в своей белоснежной рубашке с закатанными рукавами и, опираясь на костыли, ждал.

Накануне был шторм, и я боялся, что вода окажется мутной, но она была прозрачная и тихая, как тогда.

Я первый подплыл к тому месту, нырнул и дошел до дна, но ничего не увидел. Это меня не очень обеспокоило, потому что я мог нырнуть не совсем точно. Я отдышался и снова нырнул. Опять дошел до дна и опять ни чего не увидел. Вокруг меня фыркали, визжали и брызгались ребята из нашего класса. Большинство из них просто играли, но некоторые и в самом деле доныривали до дна, потому что доставали песок и шлепали им друг друга. Никто не видел плиты. Я подплыл к буйку, чтобы узнать, не сошел ли он с места, но он крепко стоял на тросе, Подплыл физрук. Он слегка опоздал, потому что надевал плавки.

— Ну, где статуя? — спросил он, отдуваясь, словно ему было жарко в воде.

— Здесь должна быть, — показал я рукой.

Он набрал воздуха и, мощно перевернувшись, пошел ко дну, как торпеда. Нырнул и плавал он, надо сказать, здорово. Он долго не появлялся и наконец вынырнул, как взрыв.

— Всю воду замутили, — сказал он, отфыркиваясь и мотая головой.

— А ну, шкилеты, давай отсюда! — заорал он и, плашмя ударив рукой о воду, выплеснул фонтан в сторону наших ребят. Они отплыли поближе к берегу, и мы с ним остались один на один.

— Слушай, а ты не фантазируешь? — спросил он строго, продолжая отдуваться, словно ему было жарко в воде.

— Что я, сумасшедший, что ли, — сказал я.

— Откуда я знаю, — ответил он, глядя на воду, словно выискивая дырку, в которую было бы удобней нырнуть. Наконец нашел и, набрав воздуха, снова нырнул. На этот раз он вынырнул с ржавым куском свай.

— Не это? — спросил он, выпучив глаза от напряжения.

— Что я, сумасшедший, что ли, — сказал я, — там каменная плита, на ней люди.

— Откуда я знаю, — сказал он и, отбросив находку, снова нырнул.

Оказавшись один, я подумал, что пришло время удирать на берег, но стыд перед учителем был сильнее страха. Я же видел ее здесь, она никуда не могла деться!

— Пфу! Черт! — заорал он на этот раз, испуганно выбрасываясь из воды.

— Что случилось? — спросил я, сам испугавшись. Я решил, что его хлестанул морской конек или еще что-нибудь.

— Что случилось, что случилось? Воздуху забыл взять, вот что случилось, — зафырчал он, гневно передразнивая меня.

— Сами забыли, а я виноват, — сказал я, несколько уязвленный его передразниванием.

Физрук что-то хотел мне ответить, но не успел.

— Что вы ищете? — спросила незнакомая девушка, осторожно подплывая к нам.

— Вчерашний день, — сердито сказал физрук, но, обернувшись на девушку, неожиданно растаял: — Древнегреческую статую... Может, поныряете с нами?

— Я не умею нырять, — сказала она с улыбкой, словно приглашая его научить и стараясь при этом улыбаться подальше от воды. На ней была красная косыночка. И физрук с

молчаливым восхищением сейчас уставился на эту косыночку, как бы удивляясь, где она могла достать ее.

— А сами вы откуда? — спросил он ни с того ни с сего, словно, откуда была косынка, он уже установил.

— Из Москвы, а что? — ответила девушка и на всякий случай посмотрела на берег, прикидывая, не опасно ли на такой глубине разговаривать с чужими мужчинами.

— Вам повезло, — сказал физрук, — я вас научу нырять.

— Нет, — улыбнулась она на этот раз смелей, — лучше посмотрю, как вы ищете.

— Если я не вынырну, считайте, что вы меня нокаутировали, — сказал он, улыбкой перехватывая ее улыбку и доводя ее до нахальных размеров.

Он особенно мощно перевернулся и пошел ко дну, Я понял, что начались трали-вали и теперь ему будет не до плиты.

— Вы в самом деле видели статую? — спросила девушка и, вынув руку из воды, мизинцем, который ей по глупости показался наименее мокрым, приткнула сбившиеся волосы под косынку.

— Не статую, а стелу, — сухо поправил я ее, глядя, как она бесстыдно прихорашивается для физрука.

— А что это такое? — спросила она, продолжая спокойно стараться.

Я тоже решил принять свои меры, пока он не вынырнул.

— Не мешайте, — сказал я, — что, вам моря мало, плывите дальше.

— А ты, мальчик, не груби, — ответила она надменно, словно разговаривала со мной из окна собственного дома. Быстро же они осваиваются. Она знала, что физрук рано или поздно вынырнет и будет на ее стороне.

Физрук шумно вынырнул, словно танцор, ворвавшийся в круг. Хотя он очень долго был под водой, это был пропаший нырок, потому что сейчас он нырял не для нас, а для нее.

— Ну как, видели? — спросила она у него, словно они были из одной компании, и даже подплыла к нему немного.

— А, — сказал он, отдышавшись, — фантазеры! — Так он называл всех маломощных и вообще никчемных людей. — Давайте лучше сплаваем.

— Давайте, только не очень далеко, — согласилась она, может быть, назло мне.

— А как же плита? — проговорил я, тоскливо напоминая о долге.

— Я сейчас дам тебе шалабан, и ты сразу очутишься под своей плитой, — разъяснил он спокойно, и они поплыли. Черная голова с широкой загорелой шеей рядом с красной косыночкой.

Я посмотрел на берег. Многие ребята уже лежали на песке и грелись. Учитель все еще стоял на своих костылях и ожидал, когда я найду плиту. Если б я еще вчера не видел этого пацана, с которым мы е» нашли, я бы, может, решил, что все это мне примерещилось.

Я пронырнул еще раз десять и перещупал дно от самой сваи до буйка. Но проклятая плита куда-то запропала. За это время учитель наш несколько раз меня окликал, но я плохо его слышал и делал вид, что не слышу совсем. Мне было стыдно вылезать, я не знал, что ему скажу.

Я сильно устал, и замерз, и наглотался воды. Нырять с каждым разом делалось все противней и противней. Я уже не доныривал до дна, а только погружался в воду, чтобы меня не было видно. Многие ребята уже оделись, некоторые уходили домой, а учитель все стоял и ждал.

Физрук и девушка уже вылезли из воды, и он перешел со своей одеждой к девушке, и они сидели рядом и, разговаривая, бросали камушки в воду.

Я надеялся, что нашим надоест ждать и они уйдут, и тогда я вылезу из воды. Но учитель не уходил, и я продолжал нырять.

За это время физрук успел надеть на голову девушку косынку. Пока я соображал, с чего это он повязал голову ее косыночкой, он неожиданно сделал стойку, а она по его часам

стала следить, сколько он продержится на руках. Он долго стоял на руках и даже разговаривал с нею в таком положении, что ей, конечно, очень нравилось.

Я уныло залюбовался им, но в это время учитель меня очень громко окликнул, и я от неожиданности посмотрел на него. Наши взгляды встретились. Мне ничего не оставалось, как плыть к берегу.

— Ты же замерз! — закричал он, когда я подплыл поближе.

— Вы мне не верите, да? — спросил я, клацая зубами, и вышел из воды.

— Почему не верю, — строго сказал он, подавшись вперед и крепче сжимая костыли своими гладиаторскими руками, — но разве можно так долго купаться. Сейчас же ложись!

— Со мной был мальчик, — сказал я противным голосом неудачника, — я завтра его вам покажу.

— Ложись! — приказал он и сделал шаг в мою сторону. Но я продолжал стоять, потому что чувствовал — мне и стоя трудно будет их убедить, не то что лежа.

— А может, этот мальчик вытащил? — спросил один из ребят. Это был соблазнительный ход. Я посмотрел на учителя и по его взгляду понял, что он ждет только правды и то, что я скажу, то и будет правдой, и поэтому я не мог солгать. Гордость за его доверие не дала.

— Нет, — сказал я, как всегда в таких случаях жалея, что не вру, — я его видел вчера, он бы мне сказал...

— Может, ее какая-нибудь рыба унесла, — добавил тот же мальчик, прыгая на одной ноге, чтобы вытряхнуть воду из ушей.

Это был первый камушек, я знал, что за ним посыплется град насмешек, но учитель одним взглядом остановил их и сказал:

— Если б я не верил, я бы не пришел сюда. — Потом он задумчиво оглядел море и добавил: — Видно, ее во время шторма засосало песком или отнесло в сторону.

И все-таки через пятнадцать лет ее нашли не очень далеко от того места, где я ее видел. И нашел ее, между прочим, брат моего товарища. Так что и на этот раз она далеко от меня не ушла.

Знатоки говорят, что это редкое и ценное произведение искусства — надгробная стела с мягким, печальным барельефом.

Я с волнением и гордостью вспоминаю нашего учителя, его курчавую голову с прекрасным горбоносым лицом эллинского бога, бога с перебитыми ногами.

...Хотя в наших морях не бывает приливов и отливов, земля детства — это мокрый, загадочный берег после отлива, на котором можно найти самые неожиданные вещи.

И я их все время искал и, может быть, от этого сделался немного рассеянным. И потом, когда стал взрослым, то есть, когда стало, что терять, я понял что все счастливые находки детства — это тайный кредит судьбы, за который мы потом расплачиваемся взрослыми. И это вполне справедливо.

И еще одно я твердо понял: все потерянное можно найти — даже любовь, даже юность. И только потерянную совесть еще никто не находил.

Это не так грустно, как может показаться, если учесть, что по рассеянности ее невозможно потерять.

3. ДОМ В ПЕРЕУЛКЕ

Это был старый, старый дом со старым, заглушим садом. Здесь жил когда-то замечательный хирург, но он почему-то спился и умер.

...К телефону обычно подходила бабушка.

— Сейчас, — говорила она и, шаркая шлепанцами, удалялась из комнаты. — Аля, тебя, — слышал он далекое.

Он вслушивался в трубку, волнуясь и стараясь уловить что-то такое, что могли бы скрывать от него. Но ничего не было слышно, только иногда бой часов в комнате ее отца. Он

сам удивлялся тому, что вслушивается в эту пустоту и пытается услышать что-то такое, чего на самом деле нет. И все-таки каждый раз он напряженно вслушивался, хотя, кроме боя часов или мелких шорохов, ничего никогда не слышал.

Потом хлопанье дверей, визг собаки и звук быстрых шагов. Первой к трубке всегда подбегала собака, она радостно и торопливо лаяла, как будто старалась до прихода Али рассказать ему что-то на мужском собачьем языке.

Потом трубку хватала она, и они разговаривали под отрывистую, как марш, музыку собачьей радости. Он слышал, как девушка отгоняет собаку, но та снова и снова врывается в разговор. Иногда ему казалось, что собака кое в чем противоречит своей хозяйке, уточняет ее слова и даже поправляет ее. Но она, смеясь, отгоняла собаку, и все было хорошо.

По вечерам они целовались в саду, мечтали и говорили о будущем. Собака уходила в заросли бамбука, долго вынюхивала там какие-то следы, а потом неожиданно прибежала, как бы спохватившись, что надолго оставила их вдвоем. Они, смеясь, успевали разомкнуть объятия, но по умной, лукавой морде собаки было видно, что она кое о чем догадывается.

Дом, заросший виноградом и сиренью, уютно белел сквозь навес молодой листвы. Собственно говоря, он давно нуждался в ремонте, но об этом никто не думал. Бедность была гордой и рассеянной. Она не утруждала, а может быть, даже стыдилась поддерживать себя подпорками. Во всяком случае, ему так казалось. Они жили на пенсию отца и бабушки. Кроме того, у матери был небольшой заработок. Она вечно сидела с шитьем, но считалось, что это не работа, а так — развлечение.

Дом напоминал старинную усадьбу, соединенную с нашими днями только телефонным шнуром, потому что здесь жил замечательный хирург. Его могли вызвать в любое время, и он никогда не отказывал. У него, говорят, была твердая и точная рука, которая дрожала только в одном случае: когда держала стакан с водкой.

Он сам однажды видел в детстве, как ее отец пил водку, стоя у ларька. Запрокинув стакан и голову, он, казалось, старался, как можно быстрее залить что-то такое, что горело внутри у него.

Ему, совсем еще мальчику тогда, показалось, что доктор этой струей жидкости должен очень быстро и точно попасть во что-то внутри себя. Рука его сильно дрожала, когда он торопливо вливал в себя водку, и казалось, что она дрожит от волнения. А когда доктор выпил и, вдруг успокоившись, расплатился, взял свой портфель с прилавка и ровными, быстрыми шагами пошел в сторону больницы, он тоже успокоился и решил, что струя попала как раз в то место, куда доктор целился.

...Проголодавшись за ночь, они рвали холодный ночной виноград, а если она на цыпочках выносила из кухни хлеб, не было ужина прекрасней. Хлеб и виноград — древний ужин влюбленных.

Собака тоже ела виноград, смешно клацая зубами. Собаку звали Волк. Это была здоровенная овчарка, может быть, не чистых кровей, но с чистой и на удивление доброй душой. Возможно, она решила, что настоящая сила несовместима со злостью, и лаяла только в знак радости или приветствия. Иногда ее ругали за ее ленивое добродушие, за то, что она Есех без разбору впускает в дом. Порой ее пытались н-атравить на бродячих кошек, которые неизвестно откуда появлялись в саду. В таких случаях собака пыталась извлечь из горла несколько воинственных звуков, но то ли она забыла, как это делается, то ли никогда не знала, получалось до того фальшиво, что все начинали смеяться, и она стыдливой рысцой убегала в конуру.

...Девушка бледнела от ночной прохлады, и когда они выходили из сада, раздвигая мокрые синеватые листья, она вздрагивала и тесней прижималась к нему. А ему казалось, что в мире нет такого холода, от которого он не смог бы спасти свою девушку.

Он уходил домой и долго слышал парной, детский запах ее губ. Лежа в кровати, долго не мог уснуть. Комната покачивалась. Из полумрака летней ночи появлялись то ее лицо, бледное и ожидающее, то большая, мудрая голова собаки.

Раньше, в детстве, он жил на этой же улице недалеко от ее дома. Иногда он тайком забирался к ним в сад за инжиром или за грушами или вырезал для удочки длинный, трепещущий ствол бамбука.

Она, еще совсем маленькая, бегала по саду, раскрасневшаяся, всегда чем-то взволнованная, быстрая. Голосок ее звенел то в одном углу сада, то в другом.

Однажды, играя с подружками в жмурки, она забежала в кусты и притаилась совсем рядом с ним, чуть не задев его. Он замер, глядя на ее почти прозрачное личико и тонкую, как стебелек, шею. Он видел ее темный глаз, остановившийся, полный восторженного страха. Через мгновение она выбежала из-за кустов и скрылась, топоча крепкими ногами. Иногда она часами качалась на качелях, и он ненавидящими глазами следил за нею, надеясь, что веревка оборвется и она так или иначе вынуждена будет уйти в дом. Но веревка не обрывалась, а качаться ей не надоедало, и он неподвижно лежал в зарослях бамбука или ежевики, чтобы его никто не заметил.

Тогда ему было странно, что в саду доктора никогда не собирали фрукты.

Весной поспевала черешня, наливалась соком, потом постепенно высыхала. Фонарики мушмалы в начале лета начинали зажигаться желтыми огоньками, потом они делались оранжевыми и долго после этого не менялись, надеясь, что их заметят, а потом гасли и тускнели, как незамеченная любовь.

В те времена он часто видел самого доктора. Высокий, тонкий человек быстро садился в подъехавшую машину. Жена доктора каждый раз что-то говорила ему из окна, но доктор досадливо махал рукой и уезжал. Было удивительно, что она каждый раз не успевала ему что-то досказать. А может быть, высовываясь из окна, она говорила с ним, чтобы даром время не пропадало, пока он усаживается в машину. Если машина не сразу заводилась, она продолжала говорить, и тут уж доктору некуда было деваться.

Улица с уважением следила за отъезжающим доктором. Было похоже, что ему не то что на сад, на жену времени не хватает.

Однажды девочка, забежав в самый глухой уголок сада, застала мальчика на инжировой ветке. Они мгновение смотрели друг на друга. Он — сверху вниз, она — снизу вверх. Он первым очнулся и грозно приложил палец к губам. Потом быстро слез с дерева, нырнул в кусты, пролез сквозь щель ветхого забора и выскочил на улицу.

День прошел в тоскливом ожидании. Думал, придут домой с жалобой. Но никто не пришел.

Через несколько дней он ее встретил на улице с подружкой. Она улыбнулась ему и стала что-то шептать ей, плутовато поглядывая на него. И каждый раз, встречая ее, он чувствовал по ее улыбке, что она помнит об их тайне и не собирается ее забывать.

Потом он с родителями переехал в другую часть города. Теперь он ее видел очень редко, и все это отодвинулось и почти забылось.

Последний раз он ее увидел весной возле школы, где и сам когда-то учился.

Она прошла с подругами мимо него и радостно кивнула ему головой. Девушки пронеслись, обдав его ветерком юности и предчувствием тайны. Через мгновение он услышал за собой дружный смех и, краснея, догадался, что она им рассказала про случай в саду.

Весь этот день он вспоминал ее, ночью долго не спал. Слышал ее быстрый голос, видел жадно любопытный взгляд и радостную улыбку, как бы идущую из детства. Утром встал с таким чувством, как будто что-то случилось. Несколько дней он нарочно ходил мимо ее школы.

Уже два года, после окончания техникума, он работал дежурным техником городской электростанции. Чувствовал себя взрослым, особенно после того, как приобрел мотоцикл. Мотоцикл придавал ему какую-то уверенность, даже если он ходил пешком.

Однажды они встретились и разговорились. Он знал, что ее отец умер несколько лет назад. Его отец погиб еще раньше, на фронте. Оказывается, она об этом знала. Когда-то их

отцы дружили. Она ему сказала, что ее маме будет приятно увидеть его, и пригласила его домой.

И вот он первый раз появился на улице, на которой когда-то жил. Почему-то стыдно было проходить по ней. Может быть, потому, что многие его помнили, останавливали, грустно удивлялись, что он так вырос, а главное, понимали, почему он снова здесь появился.

Он думал, что после первого раза эта неловкость пройдет, но и потом, появляясь здесь, он чувствовал смущение перед старыми знакомыми.

Женщины, как когда-то в детстве, сидели у ворот и внимательно его оглядывали. В их взглядах он чувствовал какое-то осуждение, словно он что-то делает неловкое, неестественное и жалкое. Казалось, они говорили ему: раз уж ты переехал на другую улицу, где-то там и ищи себе девушку, а сюда возвращаться глупо и бесполезно.

У него было такое чувство, словно он зашел в школу, где учился когда-то, встретился со старыми учителями и вдруг сел за парту и объявил, что снова будет здесь учиться.

Такое ощущение возникало у него почти каждый раз, когда он приходил к ней. Потом он научился не обращать на него внимания, но ощущение все-таки не проходило. Вернее, проходило после того, как он захлопывал за собой калитку и Волк, который всегда радовался его приходу, бросался ему навстречу.

За эти годы мать ее немного постарела, но выглядела все еще стройной, подтянутой. Бабушка ему показалась такой же, как и была, только стала плохо слышать. Это была веселая, жизнелюбивая старуха. Она быстро привыкла к нему и стала его называть женихом. Она часто вспоминала, что в детстве спасала его от какой-то болезни, но никак не могла вспомнить, какая это была болезнь. Она тоже в свое время работала врачом, но теперь стала так стара, вернее, уже так давно стала старушкой, что это ей просто надоело и она слегка придурилась. Говорили, что она тронулась после смерти сына. Видимо, так оно и было.

Порой ему казалось удивительным, что он в тот же сад теперь входит через калитку. Но еще удивительней было чувство, что не тогда, а сейчас он делает что-то незаконное или неестественное.

Мама ее иногда просила его собрать фрукты, и он выходил в сад с Алей или бабушкой. Влезать на старые, знакомые деревья тоже было странно. Казалось, они стали совсем другими. Расстояние между знакомыми ветками изменилось, перелезть с ветки на ветку стало гораздо легче, зато он заметил, что теперь он не может подниматься так высоко, как раньше, — стал тяжелее.

Старушка часто увязывалась за ним, особенно когда он собирал инжир. Она стояла под деревом и все время просила, чтобы он бросил инжир, и, когда он бросал, она испуганно замирала, растопырив подол. Иногда инжир шлепался рядом, но она его все равно подбирала и отправляла в рот. Она поела инжиры быстрее, чем он успевал их срывать. Она их ела так, как он в детстве.

Когда он приезжал на мотоцикле, девушка выбегала на улицу с сияющими глазами, в мальчишеских брюках и лихо усаживалась за ним.

Мать неизменно появлялась в окне, как во времена доктора, и что-то говорила. Наверное, предостерегала от чего-то, но за треском мотора он не слышал слов. Потом он рвал с места, и, выехав на шоссе, они летели за город.

Они летели, ломая встречный ветер в какой-то неподвижности каменеющего восторга.

— Быстрее, быстрее! — выкрикивала она ему в спину, потому что ни разу не падала и еще не знала страха. Иногда после таких поездок они возвращались домой поздно вечером, и он, пьяный от счастья, чертил вокруг ее дома грохочущие круги, не в силах оторваться от своей счастливой орбиты, пока кто-нибудь из соседей не высовывался из окна и не швырял ему вслед беззвучные проклятия.

Они встречались почти каждый день, везде бывали вдвоем, а чаще всего у нее дома. Ее мама встречала его с ровной доброжелательностью, и он не знал, догадывается она или нет о том, что они целуются, и вообще обо всем. Она вела себя так, как будто с тех пор, как

он стал появляться у них в доме, ничего не случилось, и он не знал, хорошо это или плохо. Он был благодарен ей за такт, но все-таки это его тревожило.

С тех пор, как они стали встречаться, он заметил, что думать о ней для него стало так же естественно, как и думать вообще.

Иногда ему казалось, что, когда ее нет рядом, она ему ближе и понятней. Но это бывало редко.

Несмотря на все эти мелкие тревоги, он чувствовал в себе какую-то пьяную легкость, и каждый день казался ему тайным праздником, и каждый день он просыпался с таким чувством, какое бывало в школе в начале каникул, когда праздник уже начался, но еще весь впереди.

Ложась спать, он иногда боялся, что однажды проснется и этого не будет, но утром, еще не проснувшись, чувствовал, что оно здесь. Так бывает утром, — еще сквозь сон чувствуешь, что день ясный, солнечный.

В следующую осень подошло время идти в армию. Он пришел попрощаться с ее родными. Мама ее все так же спокойно и благожелательно выслушала его и просила обязательно заходить, как только он вернется.

— Конечно, — сказал он и почувствовал, что приглашение это его кольнуло, но он не разобрался, почему оно было ему неприятно. Не оставалось времени. Узнав, что он уезжает, бабка отозвала его и попросила в последний раз нарвать ей инжиру. Он залез на дерево и стал бросать ей последние, осенние плоды. Они уже переспели и торчали на ветках, обнажив изъеденную птицами кроваво-красную мякоть. Над ними кружились насекомые, и, прежде чем сорвать инжир, ему приходилось отгонять злых полосатых ос. Бабка все так же ловила плоды в подол, потом жадно запихивала их в рот и съедала раньше, чем он успевал сорвать следующий.

— Береги себя, — сказала она, глядя вверх в ожидании очередного инжира. И вдруг добавила: — А то убьют, как моего Павлика.

Так звали ее сына. «Совсем спятила, — подумал он. — Ведь доктор умер дома, его никто не убивал».

— Я уже, — сказала Аля и вышла в сад нарядная, тонкая, праздничная. Вот так она выходила в сад, где он ее ожидал, когда они собирались в гости или в кино. Он быстро слез с дерева.

Она провожала его на вокзал вместе с собакой и выглядела оживленной. Может быть, ей казалось, что разлука — это продолжение любви. Продолжение незнакомое и потому интересное.

Волк выглядел грустным и растерянным. Толпа незнакомых людей на вокзале, музыка, пение, крики — все это сбивало его с толку, и Волк испуганно прижимался к их ногам.

Перед самым отходом поезда многие ребята целовались со своими девушками, и получалось так, что и им надо было поцеловаться на прощание, но они оба не смогли преодолеть неловкости, потому что на людях они никогда не целовались. Поцелуи для них еще означали только то, что может быть между влюбленными, когда они одни.

Поэтому, когда поезд тронулся, он облегченно вздохнул и, подхватив свой вещмешок, вскочил на подножку. Кто-то взял у него вещмешок и вбросил в тамбур, а он стоял на подножке, ухватившись за поручни, и смотрел в ее сторону, стараясь слиться с общим гомоном, немного искусственной, нервной раскованностью уезжающих ребят, и, не умея слиться с этим вокзальным весельем, досадовал на себя.

Поезд набирал скорость. Он в последний раз увидел ее в толпе. Ему показалось, что лицо ее опрокидывается. Он чувствовал, что она его все еще видит. На мгновение вокруг нее раздвинулась толпа, и он заметил собаку. Она сидела у ее ног и слепо смотрела вслед уходящему поезду. Он подумал, что собаки всегда так вот слепо смотрят вдаль, когда стараются разглядеть что-то неразличимое. Почему-то он пожалел, что Волк его уже не видит.

Она ему писала длинные, нежные письма. Писала, что они с Волком страшно скучают. Писала, что в городе тоска, нечего делать и она кое-как готовится поступать в институт.

На следующее лето она уехала в другой город поступать в институт, и он ждал результата, но она не писала, а потом он получил от нее письмо, когда она уже возвратилась домой. Она ему писала, что пыталась поступить в медицинский институт, куда ее никогда не тянуло, но мама ее уговорила, потому что медицина — их фамильное призвание. Она срезалась на химии и теперь вернулась домой, и у нее еще один год пропадает, а ведь могла поступить здесь в педагогический институт, хотя и учительница из нее, наверное, будет никудышная. И, наверное, она неудачница и ничего из нее не выйдет, а ему еще целых два года служить.

Потом она стала писать реже, и переписка заглохла, а через несколько месяцев он от знакомых узнал, что она вышла замуж. Ему писали, что она вышла замуж за молодого врача, приехавшего работать в их город.

Днем еще было ничего. Но по ночам он опять и опять растревлял себя мучительным: «Почему? Почему так случилось?»

И во все время службы он продолжал думать о ней, и боль никуда не уходила, и он злился на нее за это, и все-таки продолжал думать о ней, а иногда боль выплескивалась с такой физической силой, что он ощущал ее, как приступ тошноты.

Так бывало, когда он слышал знакомую музыку, которую когда-то слушал с ней, и она теперь звучала, как тогда, или видел на улице девушку, которая, остановившись под порывом ветра, одной рукой придерживает волосы, а другой платье, как она когда-то, или мимо проносился мотоцикл, на котором сидел парень с девушкой, как они когда-то, и было множество таких мелких, повторяющихся, мучительных примет.

Однажды во время перекура в лесу, когда они с ребятами, смертельно усталые после марша, отдыхали в тени большой липы, он услышал, как дерево зашелестело под ветерком точно таким же шелестом, как однажды, когда они отдыхали за городом в тени букowego дерева, и не успел он удивиться мучительной точности этого сходства, как испуганно свистнула птица и, чиркнув крыльями в листве, улетела куда-то, совсем, как тогда, и он подумал в следующий миг, что этого не может быть, что он сходит с ума, и когда раздался голос сержанта, который оборвал это сходство, он почувствовал, как медленно приходит в себя, и был благодарен сержанту.

Окончился срок службы. С тяжелой, мстительной радостью он думал о том, как они встретятся, как она жалко будет оправдываться, и как он раздавит ее холодным, беспощадным презрением. И в то же время он боялся, что не выдержит и прорвется все, что намучилось и наболело за все время. Он вздрагивал от стыда, боясь этой ненужной, позорящей откровенности. Особенно он опасался неожиданной встречи.

Первые дни в родном городе прошли в суматохе встреч, узнаваний, разговоров и дружеских попок. Слава богу, все позабыли, во всяком случае, никто не напоминал о его девушке. День начинался со смутной надежды на встречу, с боязни этой встречи и кончался тоскливой пустотой облегчения.

Однажды на улице он встретил ее маму. Она немного постарела, но все еще хорошо выглядела, то есть оставалась стройной и подтянутой.

Она ласково расспросила его о делах, пригласила обязательно заходить, сказала, что все будут очень рады. К своему удивлению, он, подчиняясь тому тону, который она ему легко и прилично навязывала, обещал заходить, хотя про себя решил, что этого никогда не будет.

Она удалилась со скромным величием, и он впервые почувствовал что-то глубоко фальшивое в ее стареющем изяществе. Она продолжала с ним так говорить, как будто ничего не случилось, и в этом была какая-то тихая, хорошо отработанная жестокость. Она как бы внушала ему, что раз она раньше говорила с ним так, как будто между ними ничего нет и не может быть, и он сам принимал такое отношение, естественно ей считать, что и

теперь ничего не случилось, и было бы нечестно ему теперь не принимать такое отношение к себе, раз он его раньше принимал.

А может, так оно и есть, вдруг почему-то попытался он оправдать ее, может, в самом деле ничего не случилось для нее, и она ничего не понимала? Ну, были знакомы, ну, приходил, мало ли что?

Но он знал, что это не так, и догадывался, что ему хочется так думать для оправдания будущей встречи, и он ждет этой встречи и не успокоится, пока не увидит ее.

На следующий день он увидел на улице девушку с собакой и почувствовал, как внутри все одеревенело. Придя в себя, он зашел в телефонную будку и позвонил.

К телефону подошла бабушка. Потом, шаркая шлепанцами, затихла в другой комнате. — Аля, тебя, — услышал он далекое.

Потом тишина, и только мерный стук старинных часов из кабинета ее отца. И вдруг он вспомнил, как раньше он вслушивался в эту тишину, стараясь услышать что-то такое, что могли от него скрывать, и вспомнил ту давнюю тревогу, от которой он никак не мог избавиться, и туг же с необыкновенной ясностью понял, что все, что случилось, уже тогда было заключено в его тревоге. Это открытие его так поразило, что он забыл про трубку и вздрогнул, когда услышал ее голос.

— Обязательно приходи вечером, — сказала она, — будет много старых друзей.

Ему показалось, что она вытолкнула этих старых друзей, чтобы спрятаться за ними. Разговор был неловким, чувствовалось, что она боится того главного, о чем он и так не в силах был говорить, тем более по телефону.

Дождавшись темноты, он пришел к ним. Мать ему открыла дверь и, все так же ласково улыбаясь, провела в комнату, где сидела бабушка. Внешне она не изменилась, но долго его не узнавала, а потом, узнав, начала рассказывать, как лечила его в детстве от тропической лихорадки, вспомнила она наконец.

— Слава богу, что возвратился живой! — сказала она умиротворенно, как будто он был не просто в армии, а на фронте.

Вошла Аля. Он напряженно ждал ее прихода и поэтому не растерялся, а достаточно спокойно с ней поздоровался.

— А ты возмужал, — сказала она, протягивая ему руку, и по ее голосу он понял, что она пытается взять тот тон, как будто ничего не случилось, может быть, бессознательно подражая матери.

— Надо же было что-то делать, — ответил он и почувствовал неловкость, потому что в его словах прозвучал недоговоренный упрек, словно в самом деле дальше следовало: «...пока ты меня предавала...». Или что-нибудь в этом роде. У него это получилось ненамеренно, и все-таки такой упрек ему показался постыдным, и он понял окончательно, что никогда не сможет сказать тех мстительных и обидных слов, которые он так долго готовил, потому что ударить ее ему было бы больнее, чем получить удар. Он это чувствовал и испытывал отвращение к себе за свою мягкотелость, но понимал, что измениться не может.

Когда они остались одни, он только у нее спросил:

— А где Волк?

— Он постарел и перестал узнавать своих, — сказала она, нахмурившись, — его застрелили.

Больше он ни о чем не спрашивал. Говорили о разном, осторожно обходя то, что таили оба.

Он вспомнил, что собака больше всего не любила купаться. Бывало, только услышит самое слово, и уже подозрительно настораживается, а если пошли приготовления, забьется куда-нибудь в подвал или в заросли. Ее тащили за ошейник, она сопротивлялась и, симулируя бешенство, хватала за руку, но по-настоящему укусить никогда не решалась.

Мыли в лохани. Волк покачивался и по-детски закрывал глаза от мыла. Иногда он нарочно отряхивался, и она, смеясь, отскакивала и осторожно закатанным рукавом утирала мокрое лицо.

Он сейчас глядел на нее, и мгновениями ее лицо, делалось до того чужим и незнакомым, что становилось страшно, как бывает во сне, когда видишь близкого человека и вдруг угадываешь в знакомых чертах совсем другие — мертвые, или злобные, или обреченные. Это накатывалось волнами, а потом уходило, и он узнавал ее милое лицо, узнавал в нем то давнее, знакомое, свойское выражение и в то же время понимал, что вот-вот накатится что-то, как приступ болезни, и ее лицо снова делается чужим и страшным.

Она сказала, что муж на дежурстве и придет попозже. Это было удобно, и он надеялся затеряться среди гостей.

Пришли гости, и было много старых друзей. Веселились, танцевали, пили домашнее вино, закусывали домашними пирогами. Ее мама сидела с шитьем, ласково и ровно всем улыбалась, и он подумал, что за этой ласковостью есть что-то такое, от чего можно повеситься.

Он с удовольствием хмелел, лихорадочно острил, хотя и не вполне удачно. Одним словом, он веселился и своим весельем показывал, что осознал в конце концов ту давнюю программу, означавшую, что ничего не случилось и не могло случиться. Возможно, он в этом даже переусердствовал, потому что после одной из его шуток ее мама посмотрела на него укоризненно, хотя и по-прежнему ласково. Она слегка покачала головой, и он это понял так, что нельзя слишком показывать, что ничего не случилось, потому что, если слишком показывать это, могут заподозрить, что все-таки что-то случилось.

Он притих, а она снова склонилась над шитьем, продолжая ласково улыбаться.

Он все время танцевал с одной из ее новых подруг, держась за нее, как за спасательный круг. Девушка охотно кокетничала с ним. Аля шутливо грозила им пальцем. Они смеялись, но он чувствовал, что ей и в самом деле неприятно, и это было совсем непонятно после всего, что случилось.

Танцуя с этой девушкой, он вдруг вспомнил, как однажды, когда они только-только стали видеться и танцевали на одной вечеринке, внезапно погас свет.

Сначала он думал, свет вот-вот зажжется и они будут продолжать танец, но свет не зажигался, и он понял, что ему просто не хочется убирать руку с ее плеча, и он чувствовал на своем плече ее легкую, доверчивую руку и впервые понял, что и ей не хочется убирать руку, и это навсегда заменило им признание. А потом через минуту зажегся свет, и все увидели, что они все еще стоят в той же позе, и все весело рассмеялись, и они тоже рассмеялись, и это был самый легкий, самый счастливый смех его жизни. Тогда он думал: в их жизни.

Танцуя с ее подругой, он улыбался и каким-то внешним слухом слышал ее, и поддерживал ее щебет, и в то же время слушал, как внутри него все время звучит то, что она сказала о собаке. Слова эти каким-то образом сливались с мелодией каждой пластинки, то вытягиваясь в ритме, то сжимаясь, чтоб уместиться в музыкальной фразе, но каждый раз с кошмарной назойливостью вплетались в мелодию и звучали, пока она не кончалась.

«Перестал узнавать своих, и его застрелили, перестал узнавать своих, и его застрелили, пе-ре-стал уз-на-вать сво-их...»

После одного из танцев он неожиданно вслух сказал:

— Перестал узнавать своих, и его застрелили...

Девушка ничего не поняла, но рассердилась и отказалась с ним танцевать. Он подумал, что она права.

Вскоре пришел Алин муж, и тут он окончательно отрезвел, тем более что стали подавать чай.

Муж ее, высокий, спортивный парень в очках, крепко и со значением пожал ему руку, как бы говоря: «Я все понимаю, мужайся, братец!» Это была излишняя мера, и он окончательно помрачнел и замкнулся, но никакой враждебности к нему не почувствовал. Он

подумал: «Неужели она ему обо всем рассказала или он сам догадался? А может, ему все это показалось. В конце концов все это не имеет никакого значения», — устало решил он.

Видно было, что муж ее привык к шумным сборищам и ему нравится вся эта суматоха.

Он рассказывал, по-видимому, что-то смешное, потому что вокруг смеялись, и Аля громче всех, может быть, благодарно, а может быть, чтобы что-то заглушить в себе. Глаза у нее блестели.

Он не слушал его рассказа, но, задумавшись, следил за его руками. В какое-то мгновение ему показалось, что голос и руки молодого хозяина принадлежат разным людям.

Голос развлекал, а руки взрезывали пирог, придвигали сахарницу, делали свое дело и шутить не собирались. Рука подцепила ножом ломтик лимона и ловко, как блин, шлепнула его в стакан с чаем. Потом рука опрокинула ложку с сахаром, но не просто в стакан, а на лимон. Под тяжестью сахара лимон пошел ко дну, но на полпути перевернулся и выплыл.

«Хочет утопить», — подумал он и стал следить, что будет дальше. Рука высыпала еще одну ложку на лимон, стараясь, чтобы горка сахара пришлась на середину, и как будто достигла цели, но упрямый ломтик, не доходя до дна, сбросил свою сладкую ношу и весело вынырнул. Ему показалось, что голос рассказчика дрогнул. Третья ложка сахара посыпалась на лимон. Теперь он сыпал осторожно, как сквозь сито, стараясь заполнить всю поверхность лимона, а не середину, как раньше. Но и новый прием не помог. Оттого, что он сыпал очень осторожно, часть сахара растаяла еще на поверхности. Ломоть медленно пошел ко дну, и оставшаяся часть сахара стаяла во время погружения. На этот раз он вынырнул, даже не перевернувшись.

«Что ж, так и будет сыпать?» — подумал он, но хозяин неожиданно проткнул лимон ложкой и помешал в стакане, как будто перетасовал колоду.

«Зачем мне все это?» — подумал он и, забывшись, с такой тоской посмотрел на нее, что муж ее метнул из-под очков тревожный и быстрый, как холодная молния, взгляд, как будто что-то перерезал.

Назад шли через сад. Стояла ясная осенняя ночь, луна озаряла сад сквозь поредевшие листья. Возле инжира высилась лестница-стремянка. Собачья конура осталась на месте. Она была похожа на игрушечный домик, какие бывают в детских парках, и только черный круг входной дыры напоминал о ее истинном назначении.

Молодые хозяева провожали гостей до калитки. Прощаясь, обещали видеться, но он знал, что теперь этого не будет.

Она озябла и погрустнела, и, как всегда в таких случаях, глаза ее немного закосили. Муж попробовал накинуть ей на плечи пиджак, но она отказалась, и он почувствовал, что она это сделала из-за него, хотя ему это теперь было не нужно.

Когда захлопнулась за ними калитка, он подумал, что ему вообще не стоило возвращаться на эту улицу и входить в сад через калитку, раз уж в детстве он входил в него через тайный лаз. Он распрощался со всей компанией и пошел в противоположную сторону.

Впервые он думал о себе отдельно от нее. Это было, как возвращаться в пустую комнату после последних проводов. Оставалось кое-что прибрать и начинать жить сначала. Он закурил и пошел к себе домой, срезая переулок проходным двором, потому что хорошо еще помнил эти места.

К ШЕЙ ВКЛАДКЕ

ЖИВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ

Когда выйдет в свет этот номер журнала, можно будет сказать словами Назыма Хикмета, что «под дождем по московскому асфальту идет весна своими тонкими зелеными ногами». А сейчас, когда пишутся эти строки, на улице трескучий мороз, большие окна

московского Дома художника заиндевели косыми узорами. Раскрасневшиеся с мороза люди вбегают в теплый зал выставки, как в спасительный рай...

В конце 1965 — начале 1966 года в шести выставочных залах столицы открылась большая художественная выставка живописи, скульптуры, графики, произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, работ художников театра и кино. Эта выставка московских художников не была ни тематической, ни целевой, ни юбилейной. Она обобщала внутренние поиски, была смотром в пути, генеральной репетицией перед выставкой, посвященной 50-летию Советской власти.

На выставке московских художников предстало перед нами многообразие индивидуальных почерков и направлений, во всей определенности раскрылись пути поисков, ведущихся сегодня не только в Москве.

Смысл этих поисков состоит в том, чтобы уйти от искусства регистрирующего и констатирующего и приблизиться к собирательному образу нашего времени. Отчетливо проявила себя на выставке тенденция художников разных поколений стать выше факта, избежать упрощенного его воплощения в искусстве.

Радостно видеть дальнейшее развитие московской школы живописи. Представленная в прошлом такими именами, как Суриков, Серов, Коровин, Машков, Кончаловский, Лентулов, Гончарова, Ларионов, эта школа славилась страстным отношением к жизни, остротой идейно-художественного воплощения ее, новизной живописно-пластических и композиционных решений.

На зимней выставке произведений московских художников внимание посетителей привлекало много работ. Одной из наиболее интересных в композиционном отношении мне представляется картина Виктора Попкова «Бригада отдыхает». Эта картина навеяна поездкой художника на целину. В свободных позах лежат трактористы — молодые сильные ребята. Двое играют в шахматы. Фоном служит выгоревшая, похожая на яичный порошок степь, где каждая песчинка пропитана солнцем. Художник решает глубину пространства на плоскости свободно и широко. Один из крупнейших мастеров живописи, Павел Кузнецов, сказал мне, что картина Попкова кажется ему несколько рационалистичной по цвету, но очень верной по настроению и передаче жизненной ситуации.

Облик отцов и дедов тех ребят, которых показывает Попков, мы видим на картине Д. Тегина «На Зимний». Голубой луч прожектора вырывает из темноты несколько лиц. Художник подчеркивает решительность и мужественную одержимость людей, идущих на штурм Зимнего. При сопоставлении двух этих картин рождается мысль о преемственности. И это не просто литературная реминисценция. Художники искренни в своем стремлении выразить то, что их по-настоящему волнует.

В этой связи нельзя не сказать и о композиции Нины Жилинской «Взрослые и дети». Казалось бы, мир взрослых и мир детей противопоставлены друг другу. Но в этом противопоставлении обнаруживается вдруг такая взаимосвязь, такое гармоническое единство, подчеркнутое круговой замкнутой композицией, что вся работа Жилинской воспринимается как радостный гимн жизни.

«Тишина» — так называется новая картина Бориса Неменского. Традиционная «вечная» тема материнства. Когда я спросил художника, что он хотел выразить своей картиной, Неменский сказал, что никакой сверхзадачи он себе не ставил, правда, потом пояснил: «У меня сын родился, вот и захотелось передать настроение покоя, тихой радости, может быть, материнской тревоги». Художнику удалось, на мой взгляд, очень скупой гаммой охристых, синих, фиолетовых красок добиться всего этого. Его картина останавливает внимание и необычным построением вертикалей, написанных почти одним цветом.

Менее удалась цветовая гамма В. Васину в картине «У моря», но состояние стихии, темп работы переданы художником точно и правдиво. Цельность образного восприятия есть и в его натюрморте. Работа Г. Белоярцевой-Вайсберг «Юность» — из каменной массы и керамики — тоже на «вечную» тему: первое чувство молодых.

Естественно, наша вкладка не смогла вместить много других талантливых работ, таких, как портрет Лавинии Бажбеук, выполненный Татьяной Соколовой, «Пейзаж с озером» Николая Андропова, «Художники П. и М. Никоновы» Ю. Александрова, «Семья» И. Дервиз, «Апрель» А. Соколова, «Звенигород» В. Почиталова. Все эти произведения говорят о зрелости мастерства их авторов.

Интересно выступило на выставке среднее поколение московских художников. Вот небольшой портрет Е. Расторгуева «Сашка-бульдозерист». Он монументален и пластичен, убедителен, живописен. То же самое можно сказать и о работе А. Пологовой. Этот портрет в мраморе живописен в самом лучшем смысле.

Внутренняя правда образа есть в карандашном рисунке И. Голицына, который показал старую женщину, и в деревянных портретах П. Шиммеса и И. Фрих-Хара: один из них изобразил своего друга скульптора Вахрамеева — беспокойного странника, другой — умного, ироничного, страдающего Греч боедова.

Приятно сознавать, что Москва во всю силу выступила на своей «рабочей репетиции» перед юбилейной выставкой, посвященной 50-летию Октября.

Григорий АНИСИМОВ

Светлана
Соложенкина

Раздумье
Жить двадцать лет — и ничего не сделать!
Пусть сорок впереди — так что ж с того!
Мир жадно ждет, как лист бумаги белой,
несказанного слова одного.

Я не хочу, чтоб мной он был обманут,
но, может, это слово не найду!
А сколько раз под тяжестью румяной
уже сгибалась яблоня в саду!

Есть тихий дом...

Сестре Иве,

Есть тихий дом над голубою речкой,
всю изгородь
оплел веселый хмель...
А где та речка!
Очень недалечко:
она всего за тридевять земель!

Там целый день
полощут горло утки,
раздолье им,
вода — подать рукой,
и, словно брызги неба,
незабудки
сливаются с журчащею рекой.

И у меня глаза, как брызги неба,

а лет мне,
может, пять, а может, шесть,
отщипываю уткам крошки хлеба:
одной горбушку как-то скучно есть.

Ах, детство — бирюзовое колечко,
давно мало,
а с пальца жалко снять...
Есть тихий дом над голубою речкой,
да где теперь ту речку отыскать!

Наставления

Нам старшие читают наставления,
а мы в окно рассеянно глядим.
«Не обожгись!—твердят они.—Терпение!»
А мы... о, как обжечься мы хотим!

Мы с наслажденьем, мы с восторгом
падаем,
и синяки для нас, как ордена...
И только много позже мы досадуем,
что человеку жизнь одна дана.

Приходят к нам и мудрость и терпение.
Не пьем — по капле цедим мы вино
и юношам читаем наставления,
а те глядят рассеянно в окно.

Юрий Куксов

Андромеда

Есть болото в глуши, где грехи не замолишь:
Не успеешь. Так вот: неказист, невысок,
там растет он — не чудо, а просто заморыш,—
неземное названье, болотный цветок.
На ветру его листья задеревенели,
в мох упругие корни ушли глубоко.
А вокруг на семь верст ни кола, ни деревни,
и добраться к нему через топь нелегко.
И однажды случится: чужим, позабытым,
он в суземах, среди неуютных широт
тихо хрустнет под острым лосиным копытом,
под медвежьей когтистой лапой умрет.
И следа не оставит на кочке пригретой,
вечным мхом зарастет, ляжет в торф на века,
и никто не всплакнет. Только я не об этом,
а о гордом и странном названье цветка.
Андромеда... В нем слышится голос созвездий,
синий свет метеоров, сгоревших во мгле.
Он, как души героев, пропавших без вести,

свою боль навсегда завещавших земле.
И когда над землей ходит ночь-невидимка,
осыпая созвездья в камыш и осот,
это имя всплывает мерцающей льдинкой
над холодным простором безлюдных болот.

*

Как страшно оступиться в тишине.
Сухой сучок сломать неосторожно!
В лесу, о чем ни думалось бы мне,
Все отчего-то на душе тревожно.
Вот о сосну рогами стукнул лось,
Вот из-под самых ног взметнулась птица,—
Все сразу вдруг во мне оборвалось.
Я испугался. Надо ж так случиться!
Стою один за елкой, не дыша,
И жду — с вершины шишка ли сорвется,
Сухие иглы опадут, шурша,—
Как будто кто-то по лесу крадется.
Вот дерево, как через речку мост.
Повалено каким-то зверем лютым...
Одна лишь мысль все время точит мозг,
Одна лишь цель: скорее выйти к людям.

Алла Коркина

*

И белый снег, и белый сад,
и профиль, как на темных фресках.
На старой кафедре профессор
забылся, смотрит снегопад.
Мы ощутили вдруг неловкость.
Снег бесконечен, словно жизнь.
Его печальная полоска
на голове седой лежит.
Мы узнаем, что мир был нем
[и это странно для филологов],
что в мозг приносит импульс нерв,
что материален мир, но голову
нам кружит белый-белый снег,
и сквозь природы идеальность
на лицах свет, на лицах след —
как бы намек на гениальность...

Тамара Шевелева

*

Когда дневная четкость схлынет,
Я медленно иду туда.

Где кустики седой полыни
Растут у темного пруда.
А там бросаю в воду камни
И равнодушно, без тоски.
Вполне спокойными руками
Я обрываю лепестки.
И, повторяя сон вчерашний.
Едва поднявшийся со дна,
Мне потихоньку врут ромашки,
Что я в кого-то влюблена.
Закат. И мелкий пруд бездонен.
Далеко сны. А наяву
Я растираю меж ладоней
Седую горькую траву.

Юлиана Колесникова

*

В настоящем грядущим живешь,
Налегке, как на временной даче.
Все о чем-то мечтаешь и ждешь.
Верить: в будущем будет иначе.
Только время так долго не ждет.
Всем известно, что жизнь быстротечна.
И грядущее тоже пройдет.
Лишь одно ожидание вечно...

*

Я тебя поняла. Ты скромный.
Оттого и трудно живешь.
Даже жизнь, как подарок огромный,
просто так ни за что не возьмешь.

Я тебя поняла. Ты гордый.
Оттого и обид не знаешь.
Даже жизни характер твердый
будто вовсе не замечаешь.

Не взлетишь, словно шарик мыльный,
а тяжелый на землю ступишь.
Я тебя поняла. Ты сильный.
Оттого и меня не любишь...

Михаил Шур

Еще шестнадцать мальчиков

Комбриг сказал четверым: К; — Сегодня в десять вечера прибывает московский поезд, понятно? Приедет человек лет двадцати, звать Валерий. Одну ногу он немножко

тянет: недавно сломал. Найдете ему койку переночевать? Тогда ладно. Утром приведете сюда. Нате вам деньги на дорогу. Что значит не надо? Берите. Все. Порядок.

КОМБРИГ СНИМАЕТ КОРТИК

...А что это все, собственно, значит? Ничего особенного. Валерка, которого должны встретить на вокзале, сдавал в Московский университет на факультет журналистики и не прошел по конкурсу. Тогда папа позвонил в Москву и велел немедленно возвращаться в родной город. В родном-то городе уж как-нибудь устроишься, тем более что папа — прокурор, а дядя — секретарь обкома.

И тут-то Валерка решил не возвращаться под родительское крыло, а поехать в город, где можно быть не чьим-то сыном и племянником, а быть самому по себе.

Он поехал в Тулу, где некий Женя Волков, редактор «Молодого коммунара», создал отряд «Искатель» со своим уставом, со своим ритуалом, с многообразием гайдаровских, макареньковских, комсомольских дел.

Этот Женя Волков стал почти легендарным в тульском масштабе. Рассказывали, каждый со своими преувеличениями, как его в любой час дня и ночи, когда бы он ни приезжал, ни уезжал, встречают и провожают батальон пацанов. Рассказывали, что в девичьих общежитиях пединститута развешаны его портреты, увеличенные неизвестно кем. А в одной иностранной газете (это уже не тульский масштаб!) сказано было, что Женя постоянно носит кортик и на вопрос о том, зачем он его носит, отвечает: чтобы резать на куски бюрократов...

Вот к нему и устремился Валерка: Волков обещал ему место в строю «Искателя», кое-какой гонорарный заработок — по способностям, общежитие и вечерний институт.

Не прошло и дня с момента приезда Валерки в Тулу, как он уже был в первой своей корреспондентской командировке...

В какой-то ее части я был свидетелем этой истории, потому что сам в те дни приехал в Тулу и подолгу сидел в кабинете Волкова, редактора и комбрига.

Я называю его комбригом, потому что отряд «Искатель» уже преобразован приказом от 20 мая 1905 года в бригаду.

— Женя, — поинтересовался я, — а где же кортик?

Комбриг смутился.

К сведению иностранной газеты, кортик пришлось снять, потому что командир бригады носит теперь брюки, простите, на подтяжках, а не на ремне, так что кортик просто и прицепить не к чему. А насчет бюрократов это просто выдумка.

Женя Волков, прямо скажу, понравился мне, и в дальнейшем тут возможны пристрастные суждения, хотя я постараюсь быть решительно объективным.

Прежде всего как он выглядит? Выглядит он таким Наполеоном, правда, несколько отощавшим: черноглазый, порывистый, насмешливый. В сущности же, обыкновенный газетчик, «курящий полуночник» редакции, любитель рисовать макеты, примерять клише, перекраивать полосы, выдумывать хлесткие шапки, каких еще не было. Из заголовков ему нравятся, например, такие: «Зайцы пьянеют от запаха белого клевера».

КОГДА ГОЛУБЕЕТ ЛЕС

— Ну, поехали?

Мы едем в Городок, в базовый городок бригады «Искатель». Это в живописном лесу на окраине Тулы, за Красными воротами.

Шлагбаум на просеке. Мальчишечьи караулы. В глубине скрытые листвой крохотные коттеджи, штабные домики, обложенные дерном землянки, погребки, кухоньки. Но из военного обихода здесь только «Стой, кто идет?», в таинственной же чаще дислоцируются вполне рассекреченные грибы, цивильная земляника, орешник и цветы на опушках.

Детом здесь проходил слет. Вся окрестность была забита машинами из разных городов. Даже Якутия была представлена; слет назвали всесоюзным.

«Лес поголубел» — так выразился «Молодой коммунар» в безымянной корреспонденции со слета. Голубые рубашки — это форма «искателей», Ладно скроенные гимнастерки с нарукавной эмблемой: срез глобуса, море и бригантина под алыми парусами.

Трибуны были — трава. Вынесли знамя бригады с эмблемой и с девизом: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Выстроились батальоны, прошли торжественным строем.

Произнес приветственную речь Борис Иванович Ковзан, летчик, Герой Советского Союза, совершивший четыре воздушных тарана. Произнесла речь парашютистка Светлана Власова, рекордсменка мира. Объявили правила военной игры.

В военную игру вмешалась непогода: пошел сильный, шумный дождь, выкупал весь лес, ударил по людской массе косоприцельным шквалом. И командование обрадовалось ему, как новому участнику игры.

Под дождем дымились походные кухни на шестьсот едоков. Под дождем ели, маршировали, давали интервью журналистам, фотографировались, пели песни о «яростных и непохожих, презревших грошовой уют», под дождем спали и видели прекрасные сны ребята и девчонки.

И второй день лил дождь — по своим и по гостям. Но батальоны пошли в город, на проспект Ленина, со знаменосцами впереди, с почетным эскортом, с кавалькадой сопровождающих машин.

Тула увидела своих пацанов при полном параде.

КОМБРИГ РАССКАЗЫВАЕТ:

— Ну, или такой возьмите криминал: зачем вывел ребят на первомайскую демонстрацию? Или вот песню зачем спели — прошли строем и спели песню, а часы показывали пять минут двенадцатого вечера...

— Нам говорят: ребят в походе кормить не полагается, — продолжает перечислять свои грехи!

Женя. — А мы кормим. Форму приобрели... В общем, четырнадцать нарушений финансовой дисциплины. У одной девочки папа тут видный пост занимает. Мы и провели операцию «Папа»: дочка его подготовила с вечера, а утром наш товарищ был на приеме, и вопрос решился довольно щедро... Тоже, в общем, нарушение...

Ага, вот он. Сначала просунулась голова:

— Можно? — а потом появился Толя Архаров.

Долговязый парень восемнадцати лет похож на артиста: кудри взбиты, горящие глаза... уж не подведены ли?

Это командир парашютного батальона явился на доклад, ветеран «Искателя». Он с комбригом накоротке обсуждает что-то насчет мотоцикла.

Еще с год назад Толя Архаров был парнем-проблемой, парнем-бедой. «Искателю» с ним повезло: вдруг сработала проба на душевную щедрость. Обнажилась, жажда выручать, покровительствовать.

В отряд Архаров пришел . не с . пустыми руками: < принес две настольные лампы веселой конструкции. Может, штабу пригодятся: ночами решать стратегические задачи?

Комбриг, увидев лампы, велел лишним выйти из комнаты. В содержание_последовавшего затем разговора Женя меня так и не посвятил:

— Говорили в общих чертах, о мужской порядочности. Понял он меня, кажется, правильно, я ведь и языком улицы владею — сам из дому в свое время убежал...

Впрочем, конец разговора Волков передал мне почти дословно.

— Поезжай, — говорю ему, — и верни все назад и честно во всем признайся, слышишь?

— Слышу...

— А завтра придешь на совет командиров держать ответ.

Назавтра он пришел минута в минуту...

— Так как же, — спрашиваю, — дела и как настроение?

— Все, — говорит, — в порядке, и настроение отличное...»

Теперь Толя Архаров стоял перед комбригом спокойный и веселый. За короткое время, что пробежало с тех пор, он сам уже столько раз был судьей чужим мальчишечьим грехам, сам теперь без конца твердит: дисциплина, дисциплина. За год Толя стал классным водителем мотоцикла. Скоро первые парашютные прыжки, для него они как экзамен: вот-вот в армию идти.

Недавно «Молодой коммунар» напечатал в рамочке соболезнование Толе Архарову: после долгой болезни умер отец. Вот они как умеют отзываться на чужое горе: мальчишке соболезнование — этого в газетах еще не было.

Толя долго держал перед собой газетную страницу с этой рамочкой чуть ниже подписи редактора Е. П. Волкова.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ — «ФЛАМИНГО»

Задумано было на лето откочевать в устье Волги на работу, самим добывать свой хлеб. Операция называлась «Фламинго». 170 человек тронулись в путь, провожаемые всей Тулой.

Конечно, все готовилось загодя; конечно, списались с астраханскими колхозами, получили «добро» ЦК комсомола, добыли деньги, продукты, снаряжение. Отбирали строго. Общее правило для всех участников операции: если работаешь — чтоб ни одного замечания, если учишься — чтоб ни одной двойки...

Руководителем поехал Володя Кузнецов, заместитель командира бригады, литсотрудник отдела пропаганды «Молодого коммунара».

В Туле оставались беспокойные мамыши. С каждой предварительно говорили, но все-таки мамы тревожились. Мало ли что! А как будет с едой? С ночлегом? А если простуда? Доглядят ли взрослые? И кто они? Холостые, женатые? Кто их знает, еще курить научат, вино пить, любовь разведут...

И мамыши, не дожидаясь писем, стали навещать в редакцию — у Волкова начались «родительские дни».

Приехали ребята в Астрахань, облюбовали на Волге островок с названием Куба, и первые весточки вызвали в Туле легкий переполох. «Вы слышали, дети вона где — на Кубе! А нас даже не предупредили...»

Работали «искатели» на помидорах, собирали в ящики, норма была немалая. Выходили в поле часов в пять утра, а в девять возвращались. Стояла жара: сорок градусов в тени. Укрывались в палатках, под пологами, в шалашах.

Володя Кузнецов говорит так: «Есть у нас придуманная романтика вполне благоустроенных и ухоженных дорог. Идут ребятки на турбазу, получают спальные мешки, весело поют туристские песни, через каждые десять километров ждет их столовая, и вот такая, понимаете, на весь месяц хорошо оборудованная романтика. А мы не имели готового ничего! Сами себе всё делали! Дрова таскали и пилили, воду носили, землю копали, а главное, зарабатывали себе романтику. Это было для наших ребятшек грандиозным предприятием. Некоторые ведь не отлучались из Тулы дальше чем километров на двадцать!»

Перебыю Володю записью разговора с Толей Клоповым:

«Жарища была страшная, но это все ничего. Мы, конечно, в трусах, девчонки тоже по-купальному, а как же, в самом деле, иначе? А были от колхоза протесты: мол, местное население не хочет такого зрелища, чтоб парни были в плавках. Но мы ж только в поле! Все-таки наше начальство как-то урегулировало этот вопрос. А насчет дисциплины, так у нас она была в сто раз жестче, чем в обычном лагере, потому что мы как взрослые были, как самостоятельные. Во-первых, собери-ка двадцать ящиков помидоров — узнаешь, почему

кусочек хлеба. Отсюда дисциплина и сознание. И вообще, смотрите: закон против сквернословия, закон против спиртного, закон мужского рыцарства, закон беспристрастия, закон выручки, закон самоограничения... О, сколько у нас законов действовало!.. Сплотились ребята, сдружились. Массовые купания, соревнования, водное поло, борьба, бокс и все такое»...

Была, разумеется, самодеятельность, этим занимался художественный батальон во главе с комиссаром эстетики Олей Мишиной. Комиссар эстетики! Тут никак не скажешь, что ребята кого-то копируют — не было такого.

Существует в бригаде «Голубой дивизион» — военно-спортивный, есть «Белые косынки» — санитарное подразделение, «Ракета» — мотобатальон, «Молния» — связисты, батальон имени Дзержинского — оперативный, то есть способный, как хорошая комсомольская дружина, поддержать порядок на улице, обезвредить хулиганов, пресечь драку. Есть еще «Орленок» — это младшие, 13-летние, есть «Алые паруса» — мечтающие о море.

Все это записано в уставе, который начинается так:

«1. Тульский отряд «Искатель» начал свое существование 5 июля 1964 года. В этот день первые бойцы отряда приняли клятву на могиле павших коммунаров.

Настоящий устав родился в походах, на марш-бросках, во время трудовых десантов и операций, проводимых отрядом».

ТАКАЯ ПЕДАГОГИКА

— Самое важное, пожалуй, — говорит Володя Кузнецов, — что ребята были вовлечены в хозяйственные и даже финансовые наши дела, знали и про наши расчеты с колхозным правлением и про все неувязки. Знали всегда всю правду.

Возникали, понятно, инциденты. Мальчишки же, задиры! Однажды в первые дни Володя построил всех в колонну, увел ее километра за полтора в лесок и сказал перед строем:

— Или мы выработаем закон, что поднявший руку на товарища объявляется подлецом и изгоняется из лагеря, или я не желаю тут с вами быть...

Шум, крики, свист. Приняли ультиматум. Сформулировали закон. Поднявший руку на товарища — подлец.

Понятно, была проблема сачков. Сачок — это не тунеядец, а просто парень с лентой, с волевой недостаточностью, особенно в такую жару.

Командир приказал в течение суток выявить всех сачков. И доложить. И вот общее построение в лагере. Трудный вечер, ответственный вечер. Тут держала испытание Болодькина педагогика: будут ли называть? Педагогика выдержала испытание: называли даже близких друзей. Раз на откровенность, раз всеобщая суровая и беспощадная справедливость, то никаких приятельских эмоций. Витя Мартьянов назвал Желткова, куда уж больше!

Что же приказал командир? Удивительно: он приказал не брать сачков на работу. Наказать их ветошением к работе, перевести на иждивенческий образ жизни и кормить... в первую очередь!

Ох, думал Володя, не сорваться бы с этим экспериментом; нарвись он на взрослых циников, они уж поглумились бы над ним, поедая первоочередные обеды в полном безделье!

В первый день действительно послышался пошленький хохоток:

— Ну, вы на работу, а мы на кухню....

Тогда Володя разозлился и приказал: двойную порцию сачкам! Повара негодуют: неслыханная практика! Черт знает что, новый Макаренко выискался, тоже!

Прошел день, и один из сачков взял топор рубить дрова на кухне.

— Положи! — властно крикнул Кузнецов.

На третий день сачки впали в меланхолию. Наказанные не могли уже есть. Теперь они молчали, а кругом гоготали: «Еще им каши, еще компотику...» О, это была тяжелая кара! Кончилась педагогическая операция тем, что сачки вымолили — вымолили, понимаете! — себе право работать вместе со всеми. А потом, по приезде в Тулу, возникла новая педагогическая задача: никому из них не напоминать о том, что было.

Операция прошла, считает Володя, несколько грубовато, но зато остро и действенно.

Однажды Володя пригласил в гости начальника соседнего пионерского лагеря — обычного лагеря. Беседа с ним неожиданно превратилась в развлечение. Начальник стал рассказывать, как хорошо в их лагере все налажено, сколько у них штатных поваров (смех!), сколько ребят приходится на одну техничку (продолжительный смех!), какие имеются коммунальные блага (всеобщее веселое оживление). Ведь тут-то все сами делают! Повара — сами! Сторожа — сами! Хозяйственники, кладовщики, санитары, прачки, холодные сапожники, уборщики и уборщицы — сами, сами, сами! Только врачей приглашали со стороны па определенные часы приема.

...Вернулись в Тулу победителями.

«ХОТИМ ВСТУПИТЬ...»

Кончился редакционный день, и снова гул в помещении — это голубые рубашки: сегодня совет командиров!

Совет втиснулся в кабинет Волкова. Многие толкуются в коридоре, ловят обрывки речей. За столом, за рукописями, фотографиями, макетами сидит комбриг, он же редактор: успевает и слушать и дело делать.

...Вначале обсуждается организационный вопрос: нужен начальник штаба бригады. Заканчивается же совет командиров судом над парнишкой, бросившим пост в Городке. Не ожидали, что он придет. Думали, побоится с глазу на глаз встретиться с товарищами. Впрочем, он и боится.

— Ты нам скажи, как можно бросить дежурство?

Какие-то очень невнятные объяснения.

— Ты к тому же еще и врешь! Парень пришел в форме, чистенький, причесанный, наутюженный. Но ему говорят:

— Смотреть на тебя тошно! Оставив свои рукописи и макеты, из-за стола выходит Волков.

— Ну-ка, девушки, посмотрите в шкафу, дайте ему какую-нибудь рубашку. А ты снимай форму! И отдай удостоверение!

Кинули парню рубашку, он ушел в коридор переодеваться. Однако рубашку возвращают вместе с формой.

— Так ушел, в майке, не взял...

Сурово обошлись! «Высшей мерой наказания является отчисление из отряда навечно», — сказано в уставе «Искателя». Недоброжелатели, правда, высмеяли эту метафизику, и теперь, при переработке устава, авторы, наверное, будут искать другую редакцию. Вряд ли она, Впрочем, сулит снисхождение провинившемуся.

...Сколько я потом ни бывал в кабинете Жени Волкова, всегда у него оказывались посетители, и не двое или трое, нет, сразу по десятку, а то и больше.

— Ну, проходите, проходите. Что у вас? — принимает пришельцев комбриг.

— Хотим вступить...

— Понятно. Кто посоветовал? Это какой же Виктор? А, знаю, хороший мальчишка. Так. А знаете, что здесь за бригада? Знаете, что мы делаем, чему учимся?

— Знаем.

— А подчиняться дисциплине умеете?

— Умеем, — говорит один.

— Научимся, — говорит другой.

Волков просит каждого рассказать о себе. Биографии коротенькие, в одну строку. Вот одна из них, впрочем, уже посложней.

— Отец кто у тебя? Парень опустил голову.

— Сидит.

— Что такое?

— Ну, пил, ввязался, так получилось...

— Так. Мама работает? Понимаю. Учишься ничего? Это очень хорошо, что ты к нам пришел. Комсомолец? Очень хорошо!

Смотрит в глаза парню, тепло и мягко смотрит.

— Завтра прямо с утра приди ко мне, ладно? У меня для тебя есть одно задание. Договорились?

Потом возникают в дверях восемь девочек в пестрых платьях, держатся друг за дружку, робко теснятся на диване.

— Хотим вступить...

— Кто посоветовал? Ага, есть такая...

ТЫСЯЧА СОТРУДНИКОВ ГАЗЕТЫ

Конечно, во всем этом много игры. И все они здесь охвачены игрой — и комбаты, и советники, и больше всех сам Женя Волков, режиссер этой игры, увлекающийся редактор, азартный талант, наделенный богатым воображением, редкой энергией и юмором.

Много видал я на своем веку редакторов. Сколько среди них полусонных, полумертвых! Иногда такой держится долгие годы, потому что даже на сколько-нибудь серьезную ошибку неспособен и его вроде бы не за что снимать: не пьет, улицу переходит только там, где положено. И продолжает под его руководством благополучно выходить некое жвачное издание на случайном корму.

А вот я слышу слова редактора:

— У нас отдел информации — тысяча пацанов...

Преувеличение? Скорее правда! Почитайте в «Молодом коммунаре» «искательские» полосы, подростковые страницы. Да вот же они, мальчишки и девчонки! Все там на этих страницах: и письма, и стихи, и очерки, и рассказы, и постоянный «Спорзал». Надя Минакова, юная журналистка «Молодого коммунара», выразилась в статье так: «Помочь мальчишкам раскрутить свою фантазию». И она «раскручивается».

Мы читаем: «Клуб Вовки Крикшина»; читаем: «Нас — сотни» и множество подобных заглавий. Это все самодеятельные ребячьи общества, задорные корпорации, любительские объединения — и друзья милиции, и следопыты, и туристы, и «пионерские фонарики». Прошел конкурс юных композиторов, работает школа комсомольских репортеров, в механическом техникуме открыт даже общественный факультет журналистики.

Школьница Саша Коновалова напечатала стихи с такой энергичной и безапелляционной концовкой: «Мы подарим планете желанное счастье!» А письмо Нади Минаковой кончается такими примечательными словами: «До свидания, девчонки! Мы снова пойдем по той размытой дороге. Три километра до автобуса. Только теперь мы не будем считать себя героями. Вы ходите по таким дорогам каждый день. Вы мокнете под дождем, сажая свеклу. Это просто работа. И нам, девчонкам и мальчишкам из города, прежде чем приехать к вам учить отдыхать, надо поучиться у вас работать».

Тысяча пацанов — это еще и отдел публицистики.

После того как возник «Искатель», тираж газеты вырос в семь раз. Теперь «Молодой коммунаре» купишь в киоске только рано утром. Замахиваются тем не менее вдвое увеличить и нынешний 80-тысячный тираж. Ну-ну! И в то же время:

— Написано больше ста бумаг против нас, — сообщил мне Женя.

Уйти от шаблона, вырваться из нудной схемы — это не причуда Волкова, а закономерный рост молодой сегодняшней журналистики, которая ошетилилась против

серости, скуки, чиновного равнодушия и косноязычия. Это же и живая потребность сегодняшнего комсомола — жажда ответственного, осмысленного, самостоятельного дела большой коммунистической важности. Этим живет и бригада «Искатель».

ФЕЙЕРВЕРК ИДЕЙ

— Как вы смотрите, — вдруг встрепенулся Волков, — не устроить ли нам конкурс бродячих гитаристов?

— ??

— А очень просто: ребята ж слоняются, бренчат на гитарах. Так пусть сюда идут, пусть перед нами выступят, послушаем, повеселимся, лучших выделим. Им это будет приятно и полезно, и нам выгодно: оторвем, глядишь, от улицы, переключим с блатной музыки на здоровую. Идея!

Так каждый день приносит бесчисленные идеи. Вот выдержки из дневников, отчетов и приказов. Посмотрите:

«В ночь с 12 на 13 июня была проведена операция «Браконьер». В операции участвовали Липковский и Приупский оперативные отряды. Обезврежена шайка браконьеров, захвачены трофеи...»

«Отряд «Алые паруса» с 7 по 14 июля жил в палаточном лагере на берегу Упы. Члены отряда смолили лодки...»

«Обычно на Петров день в нашем городе было полное безобразия, в эту же ночь было намного тише по сравнению с прошлым годом. Кроме пяти перевернутых лавочек, ничего не было».

«Коллективным членом бригады вступила детская библиотека, готовится зеленый фургон для операции «Книга».

«Сейчас мы создаем свой эстрадный оркестр, проводим политзанятия, строевую подготовку».

И еще выписка из приказа:

«С сегодняшнего дня зачислить в списки отряда «Искатель» гражданина Советского Союза Владимира Воронова, родившегося 5 июля 1964 года, в день рождения отряда «Искатель»...

А гражданину Советского Союза Борису Кострову, родившемуся 31 мая 1965 года, посвящен специальный номер «Молодого коммунара» — «Человек родился...»

«Он непременно спросит отца, мать, людей, как это было, каким был мир, его страна, его Тула в день, когда он родился, как люди жили, что любили и ненавидели, о чем мечтали. И пусть вместе с отцом и матерью, вместе с теми, кому сегодня двадцать, тридцать, сорок, ответит ему этот номер нашей газеты. Он написан для тебя, малыш, родившийся 31 мая 1965 года, для всех мальчишек шестидесятых годов».

И хорошо написан. Возбужденны и горячи его непричесанные строки. Описки есть, недосмотры, но это понятно. Это даже естественно: так молодой отец, прибежав с букетом в родильный дом, не в том кармане ищет карандаш и не туда кладет расческу —

ПУСТЬ РОДИТСЯ ЗАВОД!

Женя, — спрашиваю я, — а что там в углу, в этих пакетах?

— Ой, — вздыхает комбриг, — там наше горе, там наша боль...

Это чертежи завода «Подросток», готовые чертежи проекта, продукция нескольких инженеров-энтузиастов. Летом торжественно, заложили завод и замуровали в его фундаменте «Молодой комму-' нар», адресованный молодежи будущего.

Ну и как же дела? Никак. Ничего пока не сделано. Одной редакции тут не справиться. В этой операции должны участвовать более влиятельные бойцы.

Хорошая идея: завод сплошь, поголовно ребячий. Но серьезный завод, политехнический, механизированный. Продукция? Ну, предположим, тульские сувениры. Или учебные пособия. Или игрушки. Или просто ширпотреб, на худой конец. Есть на заводе директор семнадцати лет, главный инженер и главный конструктор, есть комитет комсомола, который одновре: менно и отдел кадров, и производственный совет, и высший орган управления. Есть главный художник, главный поэт завода, комиссары эстетики, президенты спортивных клубов, и прочая, и прочая.

Как выглядит рабочий день? Начинается он, предположим, с демонстрации фильма «Чапаев», или с концерта артистов, или с фестиваля местной самодеятельности. Или со встречи с героем. Потом рабочее время, работа с музыкальным, допустим, сопровождением. Архитектура соответствующая. Ничего приевшегося и затасканного.

И ритуал тоже свой, неожиданный, остроумный. Скажем, так: не имеешь права в день получки уйти, не купив подарка матери, сестре...

— Да это только предварительные наброски... А начать — такое придумается, ахнут! Но руки, руки надо приложить. А у нас нет средств. А что «Подросток» быстро себя окупит — это, между прочим, не забудьте помянуть.

Женя нервно зашагал короткими шагами:

— Ограниченность мысли! Серость! Мещанство!

Умолк, улыбнулся и добавил с мальчишеским озорством:

— Могу еще и не такие слова найти...

У этой страстной критики нет точного адреса. Но я рад этому бесшабашному антибюрократизму, потому что у него здоровая, честная природа и потому еще, что Женя не разговорами живет и сетованиями: его стихия — это осмысленные дела, живые и заразные, рассчитанные на сотни, на тысячи горячих и смысленных ребят с добрым сердцем и мужским нравом.

«А КТО РАЗРЕШИЛ!»

Есть в бригаде и ее бригадире этакая страсть: врезаться в спячку, взорвать сонную тишину казенщины, выйти на улицы, оживить комсомольскую традицию творчества.

Кто это придумал — операция «Грибы»? Идею мальчишки принесли в редакцию. Женя не усидел в кресле, сорвался с места — давай, давай! Простая вещь: высыпали ребята в лес по грибы, но с социальной, можно сказать, задачей: сбить цены на рынке! И... промахнулись: спекулянты скупили грибы у наивных противников и продолжали держать свою цену...

А то вдруг Тулу взбудоражил слух: отряд «Искатель» начал какие-то таинственные раскопки в кремле!

Милиция на ноги: кто позволил?

Но энтузиасты этой операции и ве подумали, что надо иметь какое-то особое разрешение. От кого разрешение? Из каких опасений? Ребята решили: раз говорят и пишут без конца о погребенных в кремле демидовских мастерских, складах и кладях, так откопать это и внести свою скромную лепту в историю родного города!.. Какие же мы, мол, искатели, если не будем искать?

Тут нельзя сказать, что всем этим ребятам, и Володе Кузнецову, и Жене Волкову, лакомо и заманчиво недозволенное. Просто они против напрасно не дозволенного, неизвестно кем не дозволенного.

Над бригадой все время висит вопросительный знак: «А кто разрешил?»

В самом деле, кто?

Вот приказ: в такой-то день, в такой-то час в Тулу приезжает генерал армии такой-то... Для встречи выделить почетный караул в составе 40 человек...

Спрашиваю Женю:

— Ну как, состоялось?

— А как же! Точь-в-точь как приказано. Вперед вышла девушка с букетом, генерал, принимая цветы, наклонился, и девчонка наша, точно как задумано, приложила губами к его виску...

А кто разрешил?

На некоторые вопросы Волкову трудно ответить. Все как-то некогда, руки не доходят проанализировать свои многочисленные ошибки, разобраться в них. Водоворот дел, суматоха идей, поток операций... Дня не хватает!

ГЕОЛОГ, ТАНКИСТ, ГАЗЕТЧИК

Будущий комбриг Женя Волков родился в Сибири, в семье TM коммуниста, участника гражданской войны. В 1948 году отца, заместителя председателя Томского облисполкома, исключили из партии. Тогда Жене было пятнадцать лет. Он помнит, как выселяли семью из квартиры.

Впрочем, семьи уже, в сущности, не было. Одна мачеха, другая мачеха... Женя ушел на улицу. Учился плохо, из школы выгоняли, с трудом окончил семь классов. Болел, заваливал экзамены, жил где придется. Когда на него совсем было махнули рукой, пошел в техникум и, представьте себе, окончил его. стал геологом. Послали на Север начальником бурового отряда в геофизическую экспедицию, с год проработал там, призвали в армию. Окончил танковую школу, стал офицером, но попал в автомобильную катастрофу и вернулся домой больным, месяца три ходил без работы: в северные геологические партии уже не брали. Так забрел в редакцию комсомольской новосибирской газеты: еще в армии немного писал. Вскоре стал заведующим отделом спорта и информации, писал бойко, быстро, без оглядки. Дошел до заместителя редактора! А там и Москва присмотрелась — взяли в «Комсомольскую правду», сначала в аппарат, потом в сибирские собкоры. Опять болел, оперировался, и как раз в день, когда был под ножом, опровергли его статью, попала она под горячую руку и под очередное «веяние»...

Все. Ничего больше. В тот же день все разлетелось в дым... Улица. Тоска. Друзья где-то далеко, не дозвониться, не доискаться. Не печатают, не зовут, не видят. И вдруг спустя полгода нашли его, растормошили добрые ребята из ЦК комсомола. И в Тулу — редактором.

Вот и вся биография.

Уже взрослым, уже редактором встретился с отцом, восстановленным и реабилитированным незадолго до кончины. Может быть, это был у них единственный в жизни глубокий и откровенный мужской разговор. «Читал тебя, читал...» Много хороших слов нашлось у отца для него. С горькой улыбкой смотрел старик и, видать, мучительно раздумывал: от него ли она, эта гордая самостоятельность молодого коммуниста? Идут, идут в жизнь сыновья, и как это обидно, что нет уже времени у них поучиться и поправить былые ошибки!

— Кажется, все рассказал, — говорит мне Женя.

Он набрасывается на стопку рукописей, как голодный на съестное.

— «Трубадуры остаются в прихожей»... Ничего, неплохо. «Там, где ночевала песня». Так, так. «Право быть бойцом»... Теперь — письма.

— Кстати, о письмах... — поднимает голову Женя. — Мы получили 339 писем, Нас спрашивает Киржач, нас спрашивает Термез. Ждут советов, как строить работу отрядов. Так что, я думаю, пресс-группу создавать надо, не так ли?

Уже очень поздно. А ведь завтра делать газету.

И утром все начинается сначала.

Недолго молчит телефон. Какое-то время закрыта дверь. Но потом проходит минута, другая, и все уже идет в прежнем ритме и темпе.

— Евгений Павлович, тут к вам...

— Кто такие?

— Шестнадцать мальчиков...

Тула,

август — декабрь 1965 г.

Репортаж Василия ЗАХАРЬКО и Василия МАРТЫНОВА

ЗАВОД ОТПРАВИЛСЯ В РАЗВЕДКУ

Как известно, в Ленинграде более ста островов, и уж чего-чего, а воды здесь хватает. Тем не менее история с кубометрами воды заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Но лучше это сделать попозже — иначе она покажется слишком мелкой. Хотя секретарь заводского комитета ВЛКСМ Виктор Федосеев именно с этой истории начал свой рассказ о тех больших переменах, которые происходят сегодня в цехах, отделах и лабораториях ордена Ленина и Трудового Красного Знамени Невского завода имени В. И. Ленина.

На улице — минус тридцать два. В комнате, где мы беседуем с Виктором Федосеевым, — плюс двадцать два. Вода в батарее подается из газовой котельной. А газ в Ленинград гонят мощные турбины, изготовленные Невским заводом.

— Недавно на литературном диспуте, — говорит Виктор, — один скороспелый Цицерон объявил, что он не читал «Цусиму»: Новиков-Прибой, мол, устарел. Но те, кто читал эту книгу, знают, что такое «Жемчуг» и «Изумруд». Эти грозные «коробки» были построены на Невском заводе. Тут же были созданы ледоколы «Таймыр» и «Вайгач», паровые котлы для знаменитого ледокола «Ермак». Д сколько паровозов вышло из ворот Невского завода, сколько компрессорных и нагнетательных установок! Всего не перечесать...

В последние годы коллектив выполняет заказы для химической, металлургической, машиностроительной промышленности не только Советского Союза, но и многих стран мира. Наш завод — пока монополист по выпуску оборудования для магистральных газопроводов...

Невскому уже больше ста лет, а его часто называют «пионером». И не зря. Впервые в нашей стране хозрасчет был применен в нашем чугунолитейном цехе. В порядке опыта мы одни из первых перешли на укороченный рабочий день. Вот и сейчас наш завод снова отправился в разведку. Но об этом вам расскажет Николай Николаевич Обухов. Пошли к нему в штаб. Так будет верней...

...Еще три года назад на Невском заводе стали подумывать о новых, более совершенных методах и формах управления производством. Необходимость сломать устоявшиеся догмы в руководстве производством настолько созрела и стала настолько ощутимой, что об этом стали говорить и опытные, старые специалисты, немало потрудившиеся на заводе, и молодые инженеры-экономисты, недавно влившиеся в рабочую заводскую семью. Короче говоря, на Невском заводе сложилась группа энтузиастов, которые перешли от слов к делу. В группу вошли: начальник планово-экономического отдела В. Дроздовский, нынешний заместитель директора по экономике В. Кантор, старший инженер лаборатории экономики В. Гальперин, начальник лаборатории организации производства А. Васильев и председатель общезаводского совета общественных бюро экономического анализа Николай Николаевич Обухов...

— Вы спрашиваете, с чего мы начали? — говорит Николай Николаевич. — Прежде всего надо было глубоко и всесторонне проанализировать хозяйственную деятельность нашего предприятия. Это не просто. Об объеме проделанной работы можно судить хотя бы по тому, что на нее ушло больше двух лет. За это время пришлось выполнить сотни самых различных и очень сложных технико-экономических расчетов. В результате была разработана принципиально новая система планирования и материального стимулирования.

По сравнению с прежним порядком резко сократилось число показателей. Остались только главные из них.

В старину считали, что земля потому так устойчива, что покоится на трех китах. Вот такими тремя китами для нас будут: Номенклатура реализованной продукции, прибыль, рентабельность. А идея всей этой реформы необычайно проста, она складывается также из трех элементов:

Первое — освободить хозяйственных руководителей завода от мелочной опеки, дать им большую самостоятельность.

Второе — организовать работу заводского коллектива таким образом, чтобы при минимальных затратах достигался наибольший экономический эффект.

Третье — повысить личную заинтересованность каждого работника в деятельности завода.

Не будем утверждать, что всем, от кого зависело дать «добро» на проведение этой реформы, понравились идеи, предложенные нашими инициаторами. Всякое было. Так что представляете, с каким одобрением встретили у нас на заводе постановление сентябрьского Пленума ЦК партии! Прошло несколько месяцев, и с февраля этого года цехи основного производства стали работать по новой системе...

Если вы думаете, что сейчас последует восторженный рассказ о первых потрясающих успехах, о баснословном скачке зарплаты, о кисельных берегах и молочных реках, то нам с вами не о чем говорить. «Мы не волшебники, мы еще только ученики». Мы были бы наивными прожектерами, если бы считали, будто достаточно сократить число показателей, как дела разом пойдут в гору. Никакая система, даже самая совершенная, сама по себе не обеспечит успеха. Успех создают люди, их умение, их желание по-хозяйски и наиболее полно использовать все те возможности, которые заложены в новой системе.

Система системой. Важна еще и психологическая перестройка. Это тоже не менее сложная проблема, которая составной частью входит в новую систему хозяйствования. Мы все должны научиться думать и действовать по-хозяйски. Поэтому пусть вас не удивляет, что у нас на заводе очень много говорят и о психологии.

Психологическая перестройка, о которой говорил Николай Николаевич, вылилась на заводе во всеобщий поход за экономическими знаниями.

За учебу принялись семьсот человек. А скоро начнет регулярно заниматься на экономических курсах еще тысяча человек, причем половина из них — рабочие.

Конечно, нелегко сразу проникнуть в то, как складываются такие понятия, как «фондоотдача», «себестоимость продукции», «прибыль». Поначалу эти слова звучат абстракцией.

Но с каждым днем заводские ребята все больше и глубже начинают разбираться во всех тонкостях экономики своего предприятия. Об этом свидетельствуют многие факты в повседневной жизни Невского завода. Вот один из них.

...Официально второй цех называется «лопаточным», в разговорах же — «самое узкое место». Узкое, потому что всегда цех задерживал поставки лопаток. А без них турбина не турбина. Годами цех склоняли на всех собраниях, писали о нем в городских газетах, но положение не менялось. А сейчас... Впрочем, пусть об этом скажет комсомолец, фрезеровщик Иван Кец:

— Часы «пик» бывают не только в автобусе или метро, но и в нашей тесной кладовой. Очередь за инструментом отбирала очень много рабочего времени. Проблему решили просто: подсчитали стоимость времени, ушедшего на стояние в очереди, и увидели, что выгодней взять шестерых вспомогательных рабочих, которые и обслуживают теперь станочников.

Раньше решиться на такой шаг мы не могли: штаты были железными. Нынче в пределах отпущенного фонда зарплаты! мы можем укомплектовать, штат по своему

усмотрению, как сочтем полезнее для дела. Система хозрасчета, применяемая у нас, построена так, что все — от начальника до рабочего — стремятся сократить затраты на обработку деталей, получить прибыль, ведь от нее зависят и премии. И еще. Теперь мы не гонимся, как бывало, за новыми станками. Сначала подсчитаем: стоит ли их брать? Может быть, выгоднее усовершенствовать старые? На днях так и поступили — модернизировали два станка...

Высказывание Ивана Кеца кратко прокомментировал токарь Ивав Смолук — комсорг цеха и член заводского комитета ВЛКСМ. Он сказал: «Наш девиз — хозяйственный расчет».

И эти слова показались нам не только выражающими сущность новой системы, принятой на Невском заводе, они свидетельствуют еще и о происходящей там психологической перестройке, о важности которой с таким беспокойством говорил Н. И. Обухов.

К сожалению, нам не удалось более подробно выпросить Смолука. Не могли мы этого сделать по одной простой причине: на заводе узнали, что накануне Иван Смолук стал отцом, и ребята пришли его поздравить.

Ленинградские комсомольцы избрали Ивана Смолука делегатом на XV съезд ВЛКСМ. Очевидно, там он выступит с рассказом и о новшествах на Невском заводе и о славных заводских ребятах.

Но чуть опережая выступление Смолука, мы все же коротко расскажем об одном пареньке с Невского завода.

Ему семнадцать лет, он токарь. Зовут его... еще недавно его звали просто Юрием, а то Юркой. А сегодня нет на заводе человека, который позволил бы себе неуважительно обратиться к нему или величать иначе, как Юрий Сергеевич.

Каждый день на завод звонили из Москвы: ускорьте выполнение специального заказа — изготовление борон. Весна ждать не будет.

Для борон нужны зубья. За смену лучший токарь выточивает не больше двухсот зубьев. Это не так уж мало. Но нужда в зубьях огромна. Цех все время лихорадит — над планом угроза срыва.

В этот вечер семнадцатилетний токарь, как всегда, встал за станок. Все остальное тоже было, как всегда: никаких новых специальных приспособлений, никакого хитроумно придуманного инструмента, те же скорости обработки зубьев. Но утром, по окончании смены, у станка лежала гора деталей. Подсчитали и ахнули: 420 зубьев выточил он за смену. И сделал он это благодаря тому, что по-новому, более рационально использовал свое рабочее время, уплотнил его так, что ни одна минута не пропала даром. Именно так он и сказал: «Теперь минуты стали дорогими».

В экстренном номере стенной газеты пятого цеха, выпущенной комсомольцами, было подробно рассказано об успехе молодого токаря. Газета призывала: «Равняйтесь по Юрию Сергеевичу Поздняку!»

Вот каким образом просто Юрий стал уважаемым на Невском заводе человеком, которого теперь величают: «Юрий Сергеевич» — и никак иначе.

Поскольку зашла речь о комсомольской заводской печати, пришло время рассказать об истории с кубометрами воды. А история эта тесно связана с деятельностью комсомольской печати, точнее, с «Комсомольским прожектором».

Из года в год Невский завод выплачивал большой штраф за перерасход воды — хоть в Ленинграде ее и много, но она денег стоит. К уплате штрафов привыкли, их считали чуть ли не закономерным явлением.

У руководителей завода, у хозяйственников, озабоченных другими делами, руки не доходили до воды. Комсомольцы-прожектористы, мечтая о «грандиозных делах», действовали, как бы копируя руководство завода. Они выпускали грозные «молнии», проводили всякого рода проверки, порой, чего греха таить, отрывая начальников

производства от более важных дел. Зачастую ребята, увлеченные своей общественной работой, ставили такие вопросы, которые при всем своем желании не могли решить ни начальники цехов, ни даже директор завода.

И вот однажды в комитет комсомола пришел директор завода В. Фирсов. Поначалу его слова показались ребятам чуть ли не обидными. Вместо того, чтобы заниматься главным — вопросами производства газовых турбин, — директор предложил ребятам заняться какими-то «мелочами».

— Скажем прямо, — вспоминает комсорг 7-го цеха Юра Рогов, активнейший корреспондент «Комсомольского прожектора», — разговор с директором расстроил ребят. Показалось, что нам не доверяют большого дела. Когда страсти улеглись и мы спокойно поразмыслили над тем, что говорил директор, то поняли, что перед нашим «Прожектором» поставлена очень и очень важная для всего завода задача.

Мы занялись экономией топлива, электроэнергии, металла. Так дошла очередь и до воды. Почему происходит такой огромный перерасход, влетающий заводу в копеечку? И что же выяснилось? Одна из причин утечки воды — неисправные краны! Занялись арифметикой, подсчитали, и оказалось, что если починить все краны, завод выиграет на этом не одну тысячу рублей. Вот вам и «мелочь»!

Теперь у наших прожектористов всех цехов масса дел. Можно без похвальбы сказать, что наши ребята становятся настоящими хозяевами, бережливыми людьми. Ведь чем больше мы сбережем, тем большая прибыль заводу. А это и большой заработок рабочему...

Заработок! «Хороший заработок — гордость рабочего» — такие плакаты встречаются теперь па заводе. Начальник «штаба» Николай Николаевич Обухов предупредил нас: не ищите фактов баснословного скачка зарплаты. Но все же? Ведь об этой стороне дела тоже немало было споров...

Прорваться к В. Кантору, заместителю директора по экономике, одному из соавторов новой системы, трудно. Пришлось воспользоваться телефоном:

— Не вы первые, — слышим мы в ответ.

— Меня часто спрашивают: «Сколько же будет на нос?» Я отвечаю: «Все зависит от того, как мы поработаем. Размер заработка прямо пропорционален уровню рентабельности предприятия. Могу сказать, что у нас уже создан поощрительный фонд. Каждый рабочий, инженер, мастер, служащий имеет возможность получить существенную прибавку к зарплате. Конечно, у того, кто трудится более активно, высокопроизводительно, — у того эта прибавка будет выше. Если выполним годовой план (а в этом нет сомнений), то, помимо обычных вознаграждений, каждый работник нашего завода получит премию в размере до месячного заработка. Конечно, опять же в зависимости от количества и качества вложенного труда...

Но это еще не все. За счет создания социально-культурного фонда мы сможем, например, быстрее улучшить жилищные условия многим работникам завода. И сделаем это уже в ближайшее время. В последующие годы с ростом рентабельности завода будут расти не только личные заработки — будет приумножаться социально-культурный фонд, источник средств для строительства новых домов, пионерских лагерей, детских яслей, домов отдыха.

...Уже при выходе с завода состоялась еще одна короткая беседа. На сей раз — с С. Городецким, ведающим финансами завода и сбытом.

— Раньше завод не был особенно заинтересован в срочном сбыте готовой продукции.

Теперь всякая задержка машин на складах плохо сказывается на плане, на размере прибылей. Сейчас порядок такой: вышедшие вчера из цехов турбины, нагнетатели,

компрессоры уже сегодня отправляются в Челябинск, Омск, Новомосковск, за рубежи нашей страны.

Сотни машин, установок, турбин, необходимых для нового подъема народного хозяйства, изготовит в этом году Невский завод имени В. И. Ленина.

За выпуск уникальной газовой турбины мощностью в 5 тысяч киловатт восемь работников завода удостоены Ленинской премии. Пять тысяч — не предел. Уже сейчас на заводе собирается турбина мощностью в 10 тысяч киловатт.

А в конструкторском бюро идет разработка новой газовой турбины, ее мощность будет еще выше.

К открытию XXIII съезда КПСС Невский завод обязался прийти с большими производственными успехами. Взятые обязательства конкретны, продуманны, экономически обоснованы.

В новых условиях коллектив завода сделал пока первые шаги. С каждым днем они тверже и уверенней. Отправившись в разведку нового, работники Невского завода отдают себе отчет в том, что их опыт должен открыть дорогу другим заводам, которые тоже готовятся перейти на новые принципы планирования и экономического стимулирования.

Доброго вам пути, товарищи с Невского!

Среди книг

Силуэты времени

Она родилась в Париже, судьба ее — в России; ее отец — французский оперный певец Теодор Стефан, мать — полуфранцуженка-полуангличанка Натали Вильд, актриса, учительница пения. 19-ти лет, уже под нашим небом, их дочь вышла замуж за обрусевшего француза Александра Арманда, богатого фабриканта, «почетного гражданина»; у Армандов родилось пять детей, трое из них и сегодня могут рассказать о необычайной своей матери, решительной и прекрасной, как сама революция, ушедшей «от ликующих, праздно болтающих, обгагривших руки в крови... в стан погибающих за великое дело любви»; о женщине, впервые арестованной в 1905 году и через два года сосланной в Беломорье, в 1909 году познакомившейся с Лениным и отныне ставшей близким его помощником и другом; о строгом и пламенном облике трибуна, организатора пролетарского женского движения; о той, чьим девизом было: «Звание коммуниста налагает много обязанностей, но дает лишь одну привилегию — первым сражаться за революцию». О том, как в 1920 году она умерла в Нальчике от холеры; как провожали ее к Кремлевской стене и среди множества венков был венок из живых белых цветов: «Тов. Инессе — от В. И. Ленина»...

Об Инессе Арманд — документальная повесть Павла Подляшука «Товарищ Инесса» (издание второе, Политиздат). Во вступительном слове к книге одна из старейшин партии Е. Стасова писала: «Инесса Арманд относится к числу ярких, но незаслуженно забытых и как-то остающихся в тени, а на самом деле выдающихся тружеников нашей революции». Так возникают перед молодым современником поистине святые лики революции, выходя из тени того времени, когда, по словам В. Бонч-Бруевича, «у нас не любили сообщать имена тех, кто работал долгие годы с Владимиром Ильичем, кроме двух-трех фамилий, безмерно прославляя лишь одного, который должен был присутствовать даже там, где никогда не был».

* ...Из неисчерпаемого вулкана революционного духа вышли и «Силуэты» А. Луначарского — от «колоссального купола лба» Ленина, чье лицо напомнило Луначарскому черты Сократа и Верлена, до «острого черного силуэта» «царя русского смеха» Гоголя, от «аристократического чела великого демократа» Плеханова до фигуры «великолепного седого старика» Станиславского; от «серого исполина с орлиным лицом» Володарского до

великого волшебника в музыке — Римского-Корсакова... И несть числа этим быстрым бликам, в смене которых прорисовывается искуснейший импровизатор, культурнейший из сынов партии, стремившийся «придать большую эмоциональную широту марксизму, не изменяя ни на один волос его подлинный дух». Мы довольно, говорит Анатолий Васильевич, «довольно настрадались... от разного рода амбициозных людей с ограниченным кругозором, с врожденной антипатией ко всему яркому, замечательному...»

Как жаден, необъятен Луначарский! Он зовет нас понимать Вагнера («Горе тому, кто обеднит мир, перечеркнув Вагнера цензорским карандашом») и вникать в Спинозу («Согласие между всеми людьми есть наивысшая из вообразимых полезностей», — цитирует он философа); его интересуется и «необычайно любопытный тип», воплотившийся в Бэконе, — «разум цинический», который, «легко позволяя себе перешагнуть все пороги» и «стремясь к яркому существованию, практически борется за свою собственную власть в обществе...».

Таков в «Силуэтах» (серия «Жизнь замечательных людей», изд-во «Молодая гвардия») размах мысли революционера, «полета вольное упорство», принципиально устремленное к цели, в которую Луначарский веровал до конца.

* И вот еще один из интереснейших «силуэтов революции», Михаил Кольцов... Кто он? Каким он был? И сегодня многие будут так вопрошать, хотя переизданы книги Кольцова, выходят воспоминания... Да, не так-то легко восстановить духовный прочерк, образованный трагедией минувших лет... Михаил Кольцов, павший жертвой клеветы в конце тридцатых годов, ныне — волей партии — воскрешен навсегда. «Михаил Кольцов, каким он был» почти присутствует на вечере воспоминаний его друзей, коллег, собравшихся под обложкой книги (сост. Н. Беляев, изд-во «Советский писатель»), которая трогательна, как дыхание-воспоминание, — такой живой человек возник с ее страниц! («Тем, кто придумал эту встречу воспоминаний, надо пожать руку...» — можно присоединиться к словам Бориса Агапова.) О Михаиле Кольцове рассказывают его младший брат народный художник Бор. Ефимов, видный советский дипломат академик И. М. Майский, помощница М. И. Ульяновой в секретариате «Правды» писательница Софья Виноградская, писатель Корней Иванович Чуковский... (всего более тридцати человек). Говорят о дерзком, удачливом и вездесущем человеке, который на всю страну смеялся над всякой нечистью и взлетал на первых советских самолетах; объездил полмира и первый со страниц «Правды» сказал о подвиге Николая Островского («Мужество» — называлась его статья); строил Зеленый город для отдыха трудящихся и основал журнал «Огонек», а затем Журнально-газетное объединение, где под редакцией Горького выходили серии книг: «Жизнь замечательных людей», «История молодого человека XIX века» и другие; придумал игру «Викторина» и поднял движение за культуру сельских чайных; выступал на антифашистских конгрессах, разоблачал фашистское судилище над Г. Димитровым и сражался за свободу Испании... Автор скорострельных памфлетов, фельетонов, передовиц и создатель панорамного «Испанского дневника» (в сборнике перепечатана статья А. Толстого и А. Фадеева об этом дневнике). Человек недюжинного пера, предприимчивого ума и воинской хватки. Он не щадил себя. Человек партии.

* ...И — совсем несхожая судьба: Николай Заболоцкий. Судьба поэта. Она до боли зрима в сборнике «Стихотворения и поэмы», вышедшем в большой серии «Библиотека поэта» (вступительная статья, подготовка текста и примечания А. М. Туркова). Для меня эта книга — в ряду трех предыдущих. Почему? Потому что не только итог, но и весь путь Заболоцкого принадлежит нам; все перипетии его — в биографии эпохи. Чем добыто признание Заболоцкого? Всей его жизнью, всей нашей жизнью.

Когда в переломные эпохи на одном полюсе концентрируется тупая многовековая пошлость, а поэт переплавляет боль в гротеск:

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой.
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой.
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов! —

тогда на другом социально-психологическом полюсе рождается героическое самоотречение и в нем революционная личность находит себя, потому что — либо «проплеванный амбар», либо подвиг во имя людей.

Аскетический пламень промыл скульптурные толпы образов молодого поэта; муки слова, муки жизни, приходя и уходя, сложились в выстраданную философию — «так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Перед нами поздний, «классичный» Заболоцкий. Быть может, и самые дальние потомки задумаются о позывных поэта:

Сообщает он кучу известий,
Непонятных, как вымерший стих.
Но таинственный разум созвездий,
Несомненно, присутствует в них...

...Меж тем как поэзия сообщает о мире «кучу известий» и таит в сгущенном своем слове тысячи научных гипотез, физики предпочитают доверяться чистому разуму в его математической форме, находя изящество в формулах и испытывая вдохновение при открытиях, последствия которых трудно предвидеть... В политику и поэзию врываются «космики»!

Космики не комики, хотя чувство юмора не покидает их. В этом убедился Артем Анфиногенов, который в своей документальной повести «Космики» (изд-во «Молодая гвардия») вовсе не строит из себя абсолютного знатока космических исследований, зато в мускулистых фразах умно и напряженно обдумывает людей, изучающих космическую радиацию. Невольно напрашивается сравнение физика-теоретика и поэта. Есть физики-поэты. Таков в повести «Космики» Дима Данков, спортивного вида парень, физик-мыслитель по натуре, погруженный в науку, как поэт в слово, революционер — в действие. Рядом с Димой — Костя Чадов и Сергей Ездовский, верные научной идее, но чуждые звездного полета бесплотной мысли. Действие «Космиков» пружинит в довольно будничной обстановке, но бывший летчик А. Анфиногенов сближает два масштаба, две меры — трезвость и полет. За борьбой, и научной и чисто житейской, ему видится пейзаж космически-ломоносовский.»

* ...И все это — и судьбы революции, и судьбы поэзии, и судьбы космоса — в конце концов все решается на этой планете. Масштаб раздирающих мир противоречий дает почувствовать изданная «Молодой гвардией» книга «Два мира — две юности» (авторы М. Блатин, А. Егоров, И. Киселев, А. Лебедев, В. Ли, В. Орлов, А. Светлов, В. Чикин; сост. — Ю. Кашлев; отв. редактор — С. Голяков).

Фактов в сборнике много, и они знаменательны. Растет опасность фашизма, «наиболее развитой и реакционной из всех предшествующих идеологий, спекулирующей на динамизме, силе и честолюбии молодежи», как сказал один из молодых борцов за мир. Немалую часть молодежи характеризуют «отсутствие цели, скептицизм и склонность к алкоголю», сообщают из Канады. Передовая молодежь мира осознает свою ответственность за будущее. «Вы можете вырвать мои уши, мой нос! Но вам никогда не удастся выкрасть и уничтожить мои мысли, мои идеи! Мы боремся за счастливое завтра!» — воскликнул под пытками Констанино, студент из Гондураса. Трагедия многовековая, конфликт тысячелетний... Но «времена иные засинели»: «...капитализм не характерен для нашей

эпохи. Для нашей эпохи характерен социализм», — гордо пишут ребята из Риги. И словно видение будущего, прообраз братства — «поющие поезда целинников» — советская Юность. Мир в «пламенах рожденья», в надежде..

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ

Рассказы о профессиях

Павел Волин

НЕСКОНЧАЕМ АН ЭСТАФЕТА

КАК ВЫБРАТЬ ПОДАРОК НОВОРОЖДЕННОМУ

У некоторых народов Азии существовал (впрочем, в отдельных странах сохранился и поныне) обычай, пришедший из глубокой древности: к колыбели новорожденного прикреплять миниатюрный предмет — символ его будущей деятельности. Подвешивали игрушечное ружье, или малюсенькую рыбацкую сеть, или модель плуга, или сантиметровое бамбуковое коромысло, подобное тому, на котором переносят корзины с рисом. Родители ребенка безошибочно предсказывали его будущую профессию: чаще всего она переходила из рода в род, от поколения к поколению. В наше время родителям было бы нелегко соблюсти эту освященную веками традицию. Можно, конечно, воплотить ее в сегодняшнем «антураже»: прикрепить к колыбели новорожденного, скажем, модель нефтяной вышки или морского судна, игрушечный трактор или самолет. А может, взять предметы, еще точнее символизирующие вторую половину двадцатого века? Например, макет космического корабля или мигающую разноцветными огоньками электронно-счетную машину на батарейках от карманного фонаря. Не правда ли, вполне современно?

Но что будет завтра? Останутся ли эти предметы символами времени через два десятка лет? Ведь смысл этой традиции — заглянуть в неблизкое будущее. А просто ли угадать, кем через двадцать лет станут родившиеся сегодня, какие к тому времени появятся новые профессии, где в ближайшие десятилетия возникнут иные поприща деятельности?

«Трудовая книжка» человечества непрерывно обновляется. Одни названия профессий в ней безжалостно и навсегда вычеркиваются, другие — заполняют свежие страницы. И чем дальше, тем этот процесс идет стремительнее. Названия некоторых профессий, еще вчера такие привычные, известные всем, сегодня полузабыты, звучат архаично.

ВРЕМЯ И ПАМЯТЬ

Многие ли сегодня скажут, что такое «грабарь», «козонаос», «саночник», «коногон», «каталь», «ключник»? Я задавал эти вопросы своим знакомым. Почти все недоуменно пожимали плечами.

— Саночник? — повторил мой вопрос один молодой человек. — А черт его знает! Мальчишка, играющий с санками, что ли? Или, может, человек, управляющий впряженными в сани лошадьми, а?.. Ну, а грабарь — это ясно: человек, работающий граблями. Верно?

В обоих случаях юноша ошибался. Саночник — не то и не другое:

человек сам впрягался в груженные санки, чтобы выволочь из забоя нарубленный уголь. А грабарь не имеет ничего общего с граблями. Название этой профессии происходит от слова «грабарка», означающего тачку, повозку, на которой когда-то вывозили выкопанный грунт...

Почему же не знал этого мой собеседник? Может быть, все эти профессии уж слишком ветхозаветны? Да ничего подобного! Еще сорока лет не минуло с тех пор, когда в шахты спускались саночники. Каких-нибудь тридцать лет назад ни одна, даже самая крупная, стройка не обходилась у нас без грабарей. И без козоносов — они переносили по строительным лесам кирпич и другие материалы на «козе» — специальном приспособлении, укрепленном за спиной. Основной рабочей силой на погрузке и выгрузке — в портах, на складах, на железнодорожных станциях — тогда были катали, руками выкатывающие грузы в бочках, да крючники, пользовавшиеся для поднятия и переноски тяжестей специальным большим крюком. А коногоны пережили даже и их: и двадцати лет не прошло, как последние «водители» подземного гужевого транспорта покинули шахты вместе со своим живым тяглом. Двадцать лет, а какой уже «не нашей», «исторической» кажется эта профессия!

Невольно подумаешь: как все-таки решительно наше время смещает представления и понятия: вчерашнее кажется невероятно далеким, сегодняшнее — давним! Пятнадцать лет — и мы уже не знаем, не помним. А спроситека нынче: кто такой монтажник железобетонных конструкций? Любой ответит, не задумываясь. Хотя «стаж» этой профессии едва насчитывает какой-нибудь десяток лет.

Да, память наша быстро расстается с тем, что ушло в прошлое, цепко завладевает только что появившимся на свет.

НЕСХОЖИЕ СУДЬБЫ

Профессии, как и люди, имеют свои судьбы. Одни переживают века, жизнь других скоротечна и недолга.

Был я недавно в городе Ставрополе. И вот там, на местном стекольном заводе, в цехе, где делают пузатые трехлитровые бочонки (знаете, такие, в которых продают маринованные огурцы и помидоры), я увидел колдовавших длинными тонкими трубками людей древнейшего в человеческой истории ремесла — стеклодувов. Я глядел на них, выдувавших из стеклянной расплава свои прозрачные бочонки, и виделся мне древний мастер, создавший на заре нашей эры и бережно пронесший через столетия свое изумительное, филигранное искусство... Одна эпоха сменялась другой, а человек с волшебной трубкой, словно застывший во времени, все так же искусно превращал висевший на ее конце огненно-красный сгусток в тяжелые кубки и тонкие бокалы, в затейливые вазы и массивные блюда.

Меня «спустил на землю» голос инженера этого завода:

— Любуетесь стариной? Да, все это уже почти в прошлом. Последние, так сказать, могикане. Видели наш новый многоэтажный корпус? Оттуда стеклянные изделия пойдут потоком с автоматических линий.

Какую же, однако, удивительно, непостижимо долгую жизнь прожила эта профессия — почти две тысячи лет! Я вспомнил слова другого инженера — горняка: «У нас, знаете, иные профессии, что бабочки-однодневки. Прямо на глазах приходят и уходят. Вот, к примеру, врубмашинисты. Появились они лет так тридцать пять, ну, от силы сорок назад. А уже, как говорится, с ярмарки едут. Жить этой профессии еще десяток лет, не более: врубовые машины будут заменены агрегатами с дистанционным и автоматическим управлением. Вот и считайте возраст этой профессии: пятьдесят лет».

Двадцать столетий и полвека. Какие несхожие судьбы!

НА КРЫЛЬЯХ ИЗОБРЕТЕНИИ

В чьих же руках судьбы профессий? Как они входят в жизнь?

Лет десять назад в нашей стране начали создаваться первые промышленные установки для нагрева различных предметов токами высокой частоты. Возможности применения таких токов в технике оказались поистине неисчерпаемыми. Они прекрасно

плавил металл, сваривали и закаливали стальные детали. С их помощью можно было быстро и легко сушить дерево, стерилизовать пищевые продукты, обрабатывать стекло, пластмассы и другие материалы.

Не удивительно, что генераторы, вырабатывающие токи высокой частоты, получили постоянную прописку на предприятиях самых различных отраслей промышленности. А вместе с ними в цехи пришли их хозяева — термисты установок ТВЧ (токов высокой частоты). Так возникла новая профессия. В 1959 году у нас насчитывалась уже пятитысячная армия повелителей беспламенных печей.

Или возьмите другую из новых профессий: шахтер-гидромониторщик. Что такое шахтер, знают, безусловно, все. Достаточно известна и профессия гидромониторщика — рабочего у аппарата, выбрасывающего мощную струю воды. Но шахтер-гидромониторщик?

Услышав впервые о гидравлическом способе подземной добычи угля, я, помню, поразился: уголь и — вода, этот враг шахтеров номер один!.. Вспомнилась осень 1943 года. Сводки Совинформбюро: освобождены Кадиевка, Енакиево, Горловка, Артемовен. Разрушенным, сожженным оставили гитлеровцы Донбасс. Шахты были затоплены водой...

А ровно через десять лет в Кузбассе начала действовать первая в мире промышленная гидравлическая шахта — «Полысаевская — Северная». Под землю спустились рабочие, у которых не было ни отбойных молотков, ни врубовых машин, ни угледобывающих комбайнов. Зато они были вооружены гидропушками, танками-водометами и с их помощью отлично стали «рубать уголек». С того времени шахтеры-гидромониторщики выдали на-гора миллионы тонн угля.

В тех же сибирских краях мне довелось познакомиться с одним из первых представителей ныне многочисленного семейства «ультразвуковых» профессий. В прокатном цехе Кузнецкого металлургического комбината мое внимание привлек небольшой узкий металлический шкаф, в котором поблескивали хромированные ручки и мерцал голубовато-серый экран. Казалось бы, что было делать такому «тихому», чисто лабораторному предмету здесь, среди огромных машин, раскаленных блюмсов, лязгающих железнодорожных платформ, среди копоти, грохота и огня? Но ему было что делать.

Все прокатанные на стане заготовки останавливались возле этого шкафа. Приблизившись по «эскалатору» — рольгангу, каждая замирала и покорно ждала, пока человек в светло-сером халате глядел на экран, прикоснувшись к ней концом гибкого шланга. Потом металлический брус плыл дальше, а человек, напоминая врача со стетоскопом у постели больного, «выслушивал» следующую заготовку.

Человек этот — радиограф, или оператор ультразвуковой дефектоскопии. Он проверяет качество металла, «заглядывая» к нему внутрь: ультразвуковой луч, проходя сквозь заготовку, оставляет на экране электронно-лучевой трубки след в виде дрожащей ярко-зеленой линии. По изломам этой линии радиограф и может безошибочно судить о качестве металла.

Радиографы пришли и в другие отрасли промышленности, потому что ультразвуковой контроль теперь используется не только в металлургии. Больше того, дефектоскопия не единственное практическое применение «прирученного» ультразвука. Оказалось, что он «может» делать и многое другое: дробить строительные материалы, сверлить металлы и стекло, дубить кожу, красить материю... Разносторонние «способности» неслышимого «звука», открытые учеными, изобретателями, пополняют список новых профессий.

А другие профессии, возникшие в последние годы? И они «произошли на свет» точно таким же образом: принеслись на крыльях открытий и изобретений. Например, появление программистов счетно-аналитических машин было вызвано только что родившейся кибернетикой и электронной вычислительной техникой. Подготовка прокатчиков железобетонных изделий шла по горячим следам индустриализации строительных работ. Штамповщики-прессовщики пластмасс получили «право гражданства» в связи с созданием химиками многочисленных полимеров. Использование радиоизотопов и меченых атомов в

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства привело к возникновению «атомных» специальностей.

РАССКАЗ О БЕРЕЗОВЫХ ВЕНИКАХ

Новое в науке, технике, производстве, рождая профессии, часто произносит жестокий приговор тем из них, что отжили свой век. И тут, как говорится, ни обжалований, ни апелляций.

Вы, наверно, очень удивитесь, если узнаете о том, что до самых последних лет в число материалов, необходимых листопрокатному производству, входили... березовые веники. Да, да, не улыбайтесь, обыкновенные связки срезанных березовых веток. И не для подметания полов или для хорошей, жаркой бани после смены. Нет, они требовались в самом производственном процессе, и притом в таком количестве, что приходилось вырубать огромные рощи, целые березовые леса.

Еще со времен Демидова на металлургических заводах, выпускавших стальной лист, окалина с металла удалялась с помощью березовых веников. Березовых — и никаких других! Почему-то только в них, усыпанных нежными зелеными листочками, таилась сила, способная разорвать металлическую корку. На раскаленном листе листочки сгорали не то что быстро, а буквально мгновенно — в виде множества миниатюрных взрывов. Конечно, каждый из таких «взрывов» в отдельности и уловить-то невозможно, стальному листу он, что слону дробина. Но все вместе, в один момент, они словно встряхивали его. И окалина трескалась, рассыпалась.

Однако этого еще было мало, надо было скинуть окалину наземь. И вот тут в дело вступали сильные, выносливые люди — сметальщики. Бесстрашно орудуя четырехметровыми метлами у источающего нестерпимый жар металла, они быстро сбрасывали с него кусочки окалины.

Не раз делались попытки избавить металлургов от этой поистине адовой работы, но все эти попытки оказывались безуспешными. И только несколько лет назад задачу сумел решить — причем чрезвычайно простым и оригинальным способом — инженер Матвей Иванович Корчемный.

Корчемный предложил выточить на прокатном валке маленькие углубления — лунки. Он рассчитал, что вода, непрерывно льющаяся на него для охлаждения, попадет в эти лунки и, плотно прикрытая в них прокатываемым листом, мгновенно испарится. А пар, находящийся под давлением в закупоренном сосуде, всем известно, обладает огромной силой. Действительно, достаточно было готовому листу, выползающему из-под валков, чуть-чуть приоткрыть лунки, как пар прямо-таки выстреливал из них, разбивая, кроша и начисто сдувая окалину. Металл получался гладким, как стекло!

Возле валков, усыпанных лунками, сметальщикам делать стало нечего, и они навсегда покинули листопрокатные цехи. Так лишь одно небольшое изобретение «похоронило» целую рабочую профессию.

Почему я вспомнил сейчас об этой истории? Потому что в различных отраслях производства имеются свои «березовые веники». В одних случаях это устаревшие орудия труда, в других — допотопные материалы, в третьих — примитивные способы работы. Общее у них, пожалуй, только одно: обреченность. А вместе с ними навечно исчезают сопутствующие им профессии. Как с последними паровозами уходит в прошлое такая, например, профессия: железнодорожный кочегар.

В рыболовстве своеобразным «веником» становится... сеть. Обычная рыбацкая сеть, без которой, казалось бы, невозможен, просто немислим рыбный промысел. Дальневосточные рыбаки уже начали ловить сайру не сетью, а шлангом. В гибкую трубу, опущенную с борта сейнера, насосы втягивают воду, а вместе с ней и привлеченную светом, «загипнотизированную» слабым электрическим током рыбу. Разумеется, это тоже лов. Но

разве людей, занимающихся таким рыболовством, назовешь рыбаками в старом понимании этого слова? По существу, они люди совершенно новой профессии.

Можете ли вы представить себе гладильщицу без утюга? Не можете? Тогда поезжайте в одну из московских прачечных, ну, хотя бы на фабрику-прачечную № 9 Дзержинского района столицы, и вы увидите работниц, глядящих белье специальными машинами — каландрами и карусельными прессами. Но какие же это гладильщицы, ведь управление такими машинами ничем не напоминает прежнюю утюжку!

А недалеко время, когда эта профессия отомрет и вовсе, в любом значении этого слова: в обиход быстро входят новые, немнущиеся синтетические ткани, которые вообще не нужно гладить. Значит, не потребуются ни утюги, ни каландры: стирай — носи.

Кто из нас еще вчера сомневался в незыблемости профессии каменщика? Наверное, никто. Потому что бессмертным нам представлялся сам кирпич. А там, где кирпич, там и каменщик. Но кирпич тоже, если хотите, «веник». Что в этом искусственном камне основное, главное, наиболее постоянное? Состав, способ приготовления, метод кладки? Нет, на протяжении тысячелетий все это менялось неисчислимым множеством раз. Но одно оставалось неизменным: то, что он сделан по руке человека, его форма и размеры, «вписываемые» в человеческую ладонь. Вместе с этой неизменностью оставалась, казалось, навечно и «привязанная» к нему профессия.

«Рука» подъемного крана удерживает не отдельный кирпич, а стену дома, и междуэтажное перекрытие, и лестничный марш, и даже целую комнату. Стало возможным обходиться без медленной — «по кирпичику»! — каменной кладки. А следовательно, без кирпича. А значит, и без каменщиков.

Кстати сказать, индустриализация строительных работ ведет к ликвидации не только этой старейшей, «заслуженной» профессии, но и многих других профессий-«ветеранов». Исчезнут, скажем, такие «обязательные» из них, как штукатур, плиточник, маляр. Сборные элементы зданий уже изготавливаются на заводах целиком. Что называется, до последнего гвоздика, до последнего мазка. И придет время, когда повсюду на строительных площадках останутся одни монтажники, собирающие дома из полностью готовых частей.

РАЗГОВОР С ИЗВОЗЧИКОМ

Да, бородатая истина: ничто не вечно под луной — полностью относится и к профессиям. Только одни из них живут дольше, другие — меньше.

Ну, а люди умирающих профессий? Что же остается им? Поворот на 180 градусов? Из каменщиков — в чертежники, повара или стюардессы? На новую работу, не имеющую ничего общего с прежней, привычной, любимой?

Как-то случился у меня любопытный разговор с шофером такси. Он рассказывал мне о старых московских улицах, которыми мы ехали. Какими они были когда-то, кто из знаменитых людей на них жил, какие интересные события здесь происходили.

— Послушайте, — сказал я, пораженный его осведомленностью, — откуда вам все это известно? Увлекаетесь собиранием устных рассказов старожил, что ли?

— Да нет, ничего не собираю. Все это запомнилось самому. Я ведь, знаете ли, извозчик. А извозчикам известно обо всем.

— Ну, сравнение-то не очень удачное, — заметил я. — Таксист — и извозчик!

— А при чем тут сравнение? Я и в самом деле извозчик. Бывший, конечно.

И вот что он рассказал.

Это было почти тридцать лет назад. В Москве ожидалось открытие движения первых в стране такси. Тщательно готовились машины. Были заказаны таксометры. Разрабатывались правила пользования общественным легковым автотранспортом.

Самым, пожалуй, трудным делом оказалась подготовка водителей. Таксист ведь не просто шофер. Ему мало помнить правила движения, уметь «крутить баранку» и копаться в моторе. Он должен знать еще и многое другое. Прежде всего город со всеми его

бесчисленными улицами и переулками, площадями, бульварами и проездами. Знать, где находятся государственные учреждения и театры, рынки и крупные магазины, гостиницы и стадионы. Это чтобы ориентироваться в «пространстве». А «во времени»? Когда прибывают поезда дальнего следования и надо быть у вокзалов, что-

бы развезти приехавших в город? В какое время заканчиваются спектакли в театрах и следует спешить за пассажирами туда? Как распределяются людские потоки утром и вечером, в будни и воскресенья, летом и зимой? Всему этому быстро не выучишься.

Однако в такого рода вопросах в то время отлично разбирались... извозчики. В самом деле, кому, как не им, изъездившим город вдоль и поперек, было знать Москву до последнего ее закоулка, помнить часы «пик», излюбленные пассажирские маршруты и вообще весь ритм городской жизни?.. И тогда было решено: пересадить в такси «водителей кобылы». Разумеется, предварительно выучив их шоферскому делу.

Этим, как говорится, сразу убили двух зайцев. Во-первых, для подготовки кадров новой профессии нашли самый подходящий резерв. А во-вторых, большое число людей, профессия которых «дышала на ладан», обеспечили интересной, квалифицированной и вполне перспективной работой...

Вот так мой собеседник и пересел из пролетки за руль автомобиля.

Пример этот, по-моему, очень примечателен. Ведь подобная судьба постигла не только бывших хозяев извозчицких пролеток. В кабинах порталных кранов и автопогрузчиков вы можете встретить бывших крючников и каталей. Машинисты паровозов и поныне мчат по стальным колеям поезда, но только сменив реверс п регулятор паровоза на контроллеры электровоза или тепловоза. Землекопы продолжают «возиться» с землей — но уже с помощью бульдозеров, экскаваторов, грейдеров. Им-то освоить новое дело было гораздо легче, чем кому-то другому:годились давние навыки, опыт, рабочая сноровка.

А в наши дни? Из кого «вербовались» на машиностроительных заводах первые наладчики автоматических линий? Из наиболее квалифицированных токарей, фрезеровщиков, слесарей-сборщиков. То есть из представителей тех пока еще здравствующих профессий, которые уже начали сдавать позиции новой, идущей им на смену.

Кто были первые монтажники железобетонных конструкции! Вчерашние каменщики. Кем становятся бетонщики, асфальтировщики, битумоварщики? Операторами бетонных заводов-автоматов, мотористами растворонасосов. х Люди ироде бы н не расстаются со своим родным делом, остаются на старом поприще, только в ином, что ли, «качестве» — новом, современном, перспективном.

И так же будет завтра. Кем станут, например, доменщики, когда наконец осуществится давнишняя мечта ученых: прямое восстановление железа из руды? Снимут с себя почетный сан мастеров огненного дела? Огненному делу тогда действительно придет конец, а металлургами они, наверно, все' равно останутся. Только будут управлять не старушками-домнами, а заменившими их установками, которые с помощью магнитных сепараторов смогут извлекать из руды все запрятанное в ней железо.

*

Этот номер журнала выходит накануне XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза, работа которого будет посвящена новой пятилетке, дальнейшему подъему и развитию всех отраслей народного хозяйства. Количественный и качественный рост выпуска металла и машин, тканей и обуви, производства электроэнергии и продуктов питания, общий прогресс техники и науки, развитие образования советских людей — все это ведет к появлению новых профессий, соответствующих духу и задачам времени, соответствующих нашему социалистическому обществу, нашей социалистической, экономике.

...Время ставит перед людьми все более сложные и увлекательные задачи покорения природы. Меняется и сам человек, совершенствуя свое умение, приемы и способы труда. Эстафета профессий непрерывна и нескончаема.

Радий Кушниров

НА ДЕРЕВНЕ РАССТАВАНИЕ ПОЮТ...

Еще в столице, в одном из центральных журналов, мы прочли такую фразу, шутивную, но гордую: «В Уренском районе больше университетов, чем в Англии, Франции, Италии и Германии, вместе взятых...» Речь, конечно, шла об университетах культуры. Отмечалось такое достижение: безвкусная «мазня с лебедями» — до недавнего времени основное украшение колхозного быта — хоть и медленно, но бесповоротно изгоняется из деревни. По дороге в Урень сведения эти дополнились новыми, в частности в облторге заверили, что бельгийскими кофточками «кристален», английскими костюмами «суперджерси» и другими культтоварами Урень снабжается гораздо обильнее, чем более крупные города страны.

В райцентре все это наглядно подтвердилось, обрело конкретность: вот обширный деревянный Дом культуры, а вот кирпичный фундамент строящегося Дворца культуры, вот музыкальная школа, а вот танцплощадка, вот старый парк, а вот новый парк, вот летний кинотеатр, а вот районная библиотека на тридцать тысяч томов. И главная улица, пушистозеленая, деревянная, пестрящая гастрольными афишами, импортными кофточками.

А что касается культуры в самой «глубинке», на селе то есть, то райцентр снабжает интересующегося внушительными цифрами: 13 университетов и 10 школ культуры, библиотеки при каждом сельсовете, клубы в каждой деревне, где больше трех десятков дворов, киноустановки, лекторские группы общества «Знание» при каждой школе-восьмилетке. И, кроме того, «культобслуживание»: из райцентра — агитпоезда (то есть агитбригада с концертом самодеятельности, плюс автолавка с наиболее дефицитным ширпотребом, плюс закройщик с модными журналами, плюс мастера по ремонту радио, часов, обуви); из облцентра — лекции горьковских специалистов, выборочные медицинские обследования: из «самой Москвы» журналисты очень даже часто наведываются...

С Уренем, с людьми его деревень мы были знакомы и раньше, да и не только знакомы!.. Скажем сразу: перемены здесь ощутимые, особенно после мартовского Пленума ЦК КПСС. Возьмем, к примеру, гарантированно оплачиваемый трудодень. Такой трудодень — это и новый дом, и радио, и телевизор в личном обиходе. И артельный детский сад, куда колхозницы сдают почти бесплатно детишек на время летней страды под присмотр своих же колхозных бабок, про которых известно, что они к детям ласковы. Но ведь ясли, дегсад, пионерский лагерь, медпункт — это уже, несомненно, очаги культуры, новые очаги! И еще перемена: почти удвоили оклад заведующему клубом. Но, быть может, самая ощутимая из перемен — в настроениях пожилого колхозника. Старики — народ ворчливый, прямой; они ведь знавали всякие времена. И вот увидели приезжего человека, узнали, кто и откуда, и начали высказываться:

— Так ведь как поживаем: наживать стали, а проживать кончили. И чего и м не хватает?..

— Прошлый год какой неурожай был! В царское времечко всей бы деревней собирать (то есть побираться) пошли бы. А теперь зерно, какое кому причитается, из колхоза не берут, даже хранить негде, хлеб в лавке покупают печеный, а самогон на свадьбу — аж из сахара! Совсем они разбаловались.

— И чего и м не живет в деревне?! Все есть! Полон двор скотины — корова, свинья... И мотоцикл!..

Поясним: «они», которым чего-то «не хватает», которые «разбаловались», которым «не живет в колхозе», — это все о нынешней молодежи, которая в этих местах

действительно почти сплошь уезжает из села. Именно об этом шел разговор, именно это, пожалуй, проблема № 1, но о ней речь впереди. Пока заметим только: описанный разговор со стариками состоялся после окончания... божественной службы! Да, да, непосредственно в церкви в деревне Непряхино.

ДВА ДОМА

Два самых больших дома в деревне — церковь и клуб. Сравнения напрашиваются сами собою. Церковь в самом центре деревни, на зеленом пригорке, среди деревьев, а клуб где-то с краю, сбоку.

В церкви крашенные полы, чистехонько — в клубе курить не запрещается, подсолнечная шелуха под ногами. В церкви летом холодок, зимой натоплено — «клубная горница с богом не спорится (то есть не спорит!): на дворе тепло — ив клубе тепло, на дворе стужа — ив клубе не хуже». Последнее ехидное речение — это местная поговорка, вполне народная; в разных вариантах ее можно услышать и в других местах.

В клубе — лозунги и портреты передовиков; в церкви — во всю стенку намалеван ангел, со строгим лицом и с писчими принадлежностями в руке; он заносит в свой свиток неких Федора, Ивана, Елизавету. И пояснительный текст: «Ангел господень записывает тех христиан, которые без надобности покидают храм божий до конца божественной службы». Очень наглядная агитация, не так ли?

А на противоположной стене другой ангел, с лицом благодным, записывает тех, кто «угоден богу и со рвением и прилежанием исполняет все заповеди». Почти доска почета! Только вместо фотографий многолетней давности опять-таки свеженький список самых ходовых имен: Юрий, Александр, Мария...

И, наконец, церковью руководит профессионал, обученный и зачастую дипломированный специалист с приличным окладом, а клубом заведует кто? Вчерашняя школьница, которую за неимением трудового стажа или просто по конкурсу не приняли в вуз, а клубом заведовать приняли! Выпускники культпросветшколы? Увы, они все оседают в районных домах и дворцах культуры, на селе жить не хотят, а те, кто все-таки отработал годок-другой в деревне, становятся, как Сократы: «Мы узнали, что ничего не знаем!» Воистину так: ведь завклубом обязан быть одновременно художником, руководителем драматического, хорового и танцевального кружков, администратором и кассиром, взимающим плату за билеты па киносеанс, а заодно уж и билетером. И притом он единственный штатный культпросветработник на 10 — 15 деревень! И вот результат: в клубе неуютно и неприветно, в церкви же не в пример «культурнее»!

Слово в кавычках прежде всего потому, что это цитата — опять же местное речение. И еще «культура» в кавычках потому, что какая уж там культура в этом чистом и даже богатом, но таком рабьем и потому столь несовременном доме! Сегодняшние церкви — даже столичные! — увешаны пошлейшими новыми иконами, сусально-благодными, во вкусе парадной живописи, а прекрасные бронзовые складни XVII века, которые все еще можно увидеть в «глубинке», надраены солдатским асидолом. Утварь, убранство вот именно мещанские: какие-то вышитые подушечки для коленопреклонений, салфеточки для челобитий, кружевные подзорчики на выпиленных лобзиком фанерных полочках, покрашенных «золотой» краской и заставленных святыми портретами. Так оно и зовется ныне — «портрет», это аляповатое цветное фото с нелучшей иконы.

Безвкусный это дом — современная церковь. Можно бы и вообще его не поминать, если бы клуб в деревне Непряхино не был таким бесхозным домом п безликим!

ТРАФАРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ

Мысль эта не новая: молодежь стремится к культуре, следовательно, стремится из деревни в город. А как же те благополучные показатели, которые мы приводили в начале?

Липовые они, что ли? Ничуть, в том-то и дело! Записано тринадцать университетов культуры — тринадцать и есть. И все функционируют вот уже по нескольку лет. Лекции по международному положению, по искусству, по вопросам здоровья, по специальным вопросам земледелия, животноводства...

Дело делается, и немалое. Во всяком случае, посильное. Потому что — вот тут обнаруживается некоторое несовершенство иных цифр — университет культуры, например, создается на базе школы-восьмилетки. Таков его официальный статут. Что ж, сам по себе этот голый факт говорит не больше, чем голая цифра. Да, школьный учитель, конечно, не может прочесть курс на уровне университетского профессора. Но, готовя одну лекцию, он захочет и сможет «превзойти самого себя». Так же и местный врач и агроном, не правда ли?

Но вот беда, не едут в здешние сельские школы выпускники с институтскими дипломами!

Опять ; — в который уже раз! — все о том же. Но, как и обещано, речь об этом впереди. А пока в сельских школах (и в университетах культуры) в должности учителей (и в звании лекторов) — недавние школьники, прошедшие педучилище или весьма краткие учительские курсы. Или еще не прошедшие, еще сами студенты-заочники. О таких директора школ говорят (первое слово с гордостью, а последнее с тоской): «Выучится и... уедет!»

И вот десятки встреч с сознательными, во всяком случае, зрелыми людьми. Задуманные беседы и настороженные разговоры. Вопрос стандартный:

— Почему уехали (собираетесь уезжать) из деревни?

Ответы графариные:

— А я еще когда в армии службу кончил, завербовался по оргнабору. Вернуться? Нет уж, я теперь с правами!...

Ага, можно догадаться, что он осуществляет в го-| роде свое право на семичасовой (заместо колхозного ненормированного) рабочий день, после которого он умылся, побрился и сам себе председатель: хоть дома телевизор крути, хоть на природу. В ином городе природа побогаче деревенской, и пляж с силомером, и лесопарк с тиром.

— Замуж выхожу. А он, сам-то, в деревню, понятное дело, не хочет.

Да, дело понятное: «сам», наверное, городской парень, может, завязанный футбольный болельщик, или даже театрал, или просто любит, видите ли, посидеть в кафе, черный кофе попить — это теперь очень рекомендуется для молодежи, включая женатую.

— А я что, хуже всех? Кто уехал, ни один пока что обратно в деревню не воскрес. Да и вообще...

Так вот и сказал: «не воскрес»! А что значит это «вообще»? Да и что клуб здесь неуютный, и что кино «по частям», и что на бетонированной танцплощадке остроносые туфли протрутся после второго же тура...

Что ж, вопрос простой: молодежь действительно стремится к культуре. Но, если разобраться, все не так просто. Потому что старики сравнивают с тем, что было, и сравнение в пользу нынешних времен. А молодежь сравнивает с тем, что е с т ь в других местах, в городе. А деревне ведь не сравняться с городом по богатству библиотек и музеев, по широте киноэкрана и широте охвата зрелками, развлечениями, аттракционами, по разнообразию учебных заведений и житейских удобств, по количеству культур мероприятий и культурмассовых ведомств.

И все же дело не только в клубах и танцплощадках.

Потому что, оказывается, неправильно мы догадались про этого, завербовавшегося. Права, которыми он козыряет, всего лишь шоферские третьего класса, и работает он в автоколонне — городской культурой и не пользовался, а в кино попадает, когда заночует в каком-нибудь колхозе. Но все равно: вернуться в деревню — «Нет уж!».

И девушка, которая выходит замуж, — не в город она уезжает, а на лесоразработки; оттуда восемь километров до ближайшего клуба, до того самого, возле которого она живет,

в котором и познакомилась с «самим-то». Но попробуй уговори их обоих поселиться в деревне!..

И тот, который не желает быть «хуже всех», он действительно не хуже: он едет осваивать новые земли, строить новый поселок. И отсутствие там очагов культуры его не останавливает, а в колхоз тоже не возвратит.

«ТАКАЯ МОДА»

По всему поэтому Беляев Николай Александрович, председатель колхоза «Маяк» (это уже в Ветлужском, еще более глубинном районе), пришел к убеждению:

— Мода теперь такая — от села бегать. Да, просто мода!.. Что? Культура? Не согласен: едут и туда, где культура похуже нашей.

И ведь прав Николай Александрович: едут, не задумываются! А в результате — один уехал, другой убыл, а уж третьему и правда перекурить не с кем, сам бы не рад, но тоже туда же. А тогда уж и девушкам вовсе некуда — «не за кого». Глядишь, отца-мать перецеловала, пошла со скотинкой прощаться. Послушаешь: кто ревет-то? То ли телушка, то ли девушка. И покатила! Из пятистенной-то избы — в общежитие, от деревенского-то молочка — на чай с мармеладом.

Причины?..

Мы все откладывали разговор об этом, о самом главном, но, может быть, наш председатель скажет? И сказал председатель: и;. — Так ведь мода, много ли у ней бывает причин! Одной самой первой все и причиняется: парня вер буют в город еще при окончании службы в армии, сулят ему золотые горы. А уж за ним следом...

И вот порочный круг. Известная фигура, которая не кмеет конца, хотя когда-то с чего-то началась...

— ...Просто молодежи будто нарочно создали такую обстановку, чтобы уходила из села. Нет, я же понимаю: промышленность пополнять надо. Но не стихийно! А давать, скажем, разнарядки по колхозам: столько-то отпустить в профтехучилище, столько-то в техникум. А иначе что у нас получается?

По-видимому, наш председатель полностью солидарен с председателем из известного кинофильма. Тот тоже, пока воевал с «культурой», усвоил и присвоил единоличное право решать, кому надо ехать в город, а кому, наоборот, не надобно.

Так что же, Николай Александрович, значит, «тащить и не пущать» — так, что ли?..

— Нет, не так! — возражает. — Тащить-то в город никого не придется, только пусти-и! А вот административные-то меры принимать придется все равно! Потому что едва ли она сама уйдет, эта мода.

Корреспонденту ли спорить с умудренным жизнью председателем, которого и районное начальство высоко ценит и свои колхозники беспрекословно уважают? Да и как не ценить, не уважать! Хозяйство числится в средних, ко когда после мартовского Пленума стали списывать с колхозов застарелые кредиты, с «Маяка» и скостить было нечего: не одолжались! Это после такого трудного года, когда на полях все повыгорело, когда иные председатели раздавали на трудодни денежки в счет будущего урожая. И артельные фермы в «Маяке» и личные дворы стоят крепко — никто не обижается. Да и культура здесь не беднее, чем у людей: два клуба, школа культуры разные лекции проводит раз в неделю, а что касается библиотеки, то она считается лучшей в области по части пропаганды сельскохозяйственной и политической книги. Правда, завклубом Люся только-только отпраздновала свое восемнадцатилетие и вообще собирается в Горький на учебу, но, может, еще и не примут?.. Правда, широкоэкранную установку отказался приобретать колхоз: дороговата! Так что фильма «Председатель» в этих местах еще не видели.

— Да разве об этом речь? — спрашивает Николай Александрович. — О культуре?.. Смотри о какой! Вот, к примеру, картофель всегда считался культурой трудоемкой: посадить, прополоть, окучить, выкопать, вывезти — и все голыми руками, и все с поклоном.

Каждый год до самых холодов не успевали убрать, студентов из города занимали, и вот уж им белые мухи на задницы садятся, а они все рубят топорами мерзлую землю, картошку выковыривают. А теперь? Спроси иную колхозницу, где у нее в колхозе картофель посажен, — она и не знает: не была на поле ни разу. Только в хранилище мешки загрузила — вот и вся ее работа на картошке. Остальное все комбайны сделали, посадочные и уборочные. Это ли не культура! То же в производстве зерна, свинины. Тут нехватки рабочей силы почти не ощущаем. А вывозка навоза? Если бы ту гору удобрений, которую выбросили на поля в этом году, по старинке на одиночных лошадях возить, так десять весен провозили бы. А теперь от колхозников навозом и не пахнет, его за них машины ворочают! Опять же культура, или как?!

— А вот лен только что и зовется «культура», — продолжает председатель, — а на самом деле это же безобразие, до чего он трудоемкий! Нужны надежные льнотеребильные машины! Вот будем в этом году пробовать новый агрегат — как-то он себя оправдает?.. И уж, конечно, животноводство! Сейчас в колхозе 430 буренок, а ведь могли бы и 800 прокормить. Но ее позволяем расти поголовью: нету людей, чтобы обиходить даже тех коров, что имеем. Доярка уходит в декрет, так снимаем с другой работы ее мужа, чтоб на ферме корову за вымя тянул, а ведь он иной раз механизатор! Хорошо еще, у нас в декрет только замужние уходят, а то бы и заменить некем! Да, людей надо, меры принимать надо!..

На секунду брови председателя жестко сходятся к переносице: была б его воля, он бы ту «моду» пресек. Но потом задумался: «А возможно ли это в нынешнее время — пресечь? Да и так ли необходимо?..»

И вдруг размечтался председатель. Вот не так давно видел он агрегат для электродойки коров, усовершенствованную «карусель» — «Комсомолка» называется. Входит корова на круглый помост, доярка надевает ей на соски специальные отсосы, и пока эта «карусель» сделала круг, дойка закончена. Правда, для этого дела беспривязное содержание скота надо еще осваивать. Но уж если бы освоить — пусть тогда катится молодежь, куда хочет, пусть себе учится, потому что с такими машинами ему, председателю, все эти голые руки уже и ни к чему, тогда инженера подавай — одного заместо десяти, но с дипломом на руках! Вот это будет культура! А клуб тогда даже тот, что есть — на 90 мест, — и то велик будет: ведь у каждого дома телевизор будет, а со временем и автомобильчик, а тогда по гладкой-то дороге 20 километров до райцентра, до кинотеатра, до гастролей Аркадия Райкина, до профессорской лекции, не крюк...

Но пока... Пока председатель хмурится. Потому что не дотянулась еще до его дальнего колхоза электролиния, «Маяк» светит за счет маломощного движка, энергии едва хватает для артельных нужд и для киноустановки. Колхозники не могут еще обзавестись хорошими радиоприемниками, а ведь многие бы купили и не поморщились. И ретрансляционную башню только еще обещают району, а то над каждой бы крышей воздвиглась телеантенна — осилили бы. Ведь радио и телевизор — предметы именно культурного обихода, а не только признак благосостояния! И даже мотоцикл следует отнести к их числу — недаром он в Ветлуге продается в магазине «Культтовары». Правда, дорога от «Маяка» туда такая, что иной раз только на тракторе и доберешься... до культуры-то!

ИХ ВЛЕЧЕТ ДЕЛО, А НЕ ДОСУГ

Мне тоже кажется: в перспективе проблема культуры на селе да и многие прочие проблемы решаются именно так. Молодежь уходит из села? Что ж, пусть пополняет городскую промышленность, которая взамен дает селу машины, машины, машины... Они заменят десятки людей, работающих по старинке. А управлять машинами будут инженеры-техники. Все это — будущее. Может, оно и не столь отдаленное — каких-нибудь сто километров по разным дорогам до такого-то знаменитого или даже показательного хозяйства, где уже освоены многие машины.

Но ведь мы ведем речь о самом что ни на есть среднем колхозе. И о том будущем, которое не за сто верст, а в получасе ходьбы от правления — в селе Макарьевском: там сельская школа-восемилетка. Ее выпускники — кого ни спроси — уже выстроились в очередь к фотографу, а потом и в сельсовет за справкой. Выписываются!

Разговоры, задушевные беседы, стандартный вопрос:

— Почему?..

И ответ у всех один и тот же:

— А что здесь делать, в деревне-то?!

И только между прочим о клубе, о танцплощадке, о всякой культуре!

Но как же так? Разве земледелие, животноводство да и механизация сельского хозяйства уже и не дело?

Эх, до чего же популярно могут осветить вопрос иные безусые:

— Земледелие? Было делом, целой наукой! Было для нашего дедушки. Он свои пять десятин как свои пять пальцев ведал, академиком числился на своем наделе! А теперь — колхоз! Тыща гектаров пашни, лен, хлеба, клевер. Кто я посреди них? Полевод из бригады; куда пошлют, там и копаешь, что скажут, то и работаешь. Потому что про всю землю что я могу понимать?.. Нет! На земле дело только агроному.

— Животноводство? Большой интерес — как при Мономахе — корову за вымя тянуть! А внедряют «карусель», так и вовсе: даже бабка неграмотная может банки надевать да снимать. Зоотехник — вот это дело!..

— Механизация? Ха! Шестимесячные курсы прошел — вот ты уже и называешься «специалист». А я, может, учиться шесть лет хочу, чтобы самому такие механизмы строить. Чтоб был я не проще трактора, а не трактор хитрее меня!..

Да, еще 35 — 40 лет назад крестьянин сажал годовалого сынка на своего мерина: если мальчишка не испугается, ухватится за поводья, значит, добрый хлебороб будет! Теперь отец сажает наследника на трактор, и, если несмышлениш крепко ухватил рычаги, — добрый хлебороб будет!

Так ли? Не уведет ли его техника, за которую он ухватился, от хлебопашества в город? Потому что не в деревне она самая сложная и самая интересная. В деревне техникой только управлять можно, а строят ее и учатся строить в городе.

Итак, все на учебу?

Святое дело! Кто захочет встать поперек такого пути? Ну, не все собираются учиться сельским специальностям, многие, даже большинство, тянутся просто к науке, к любой технике. Но разве земля на них за это в обиде? Ведь вторая половина XX века на дворе!

Но эти деревенские паренки и девчата при сложившихся условиях не становятся настоящими специалистами. Ни сельскими, ни городскими!

ТРУДНОСТИ, ТРУДНОСТИ...

Не в том главная беда, что люди уходят из села. Беда, что уходят специалисты. Оканчивает парень или девушка педагогический, медицинский, сельскохозяйственный вуз и получает распределение в село Макарьевское, Ветлужского района, — какое осязаемое подкрепление и для производства и для культуры всего колхоза! Но в восьми случаях из десяти находится причина или предлог, чтобы не поехать...

Об этом написано множество гневных памфлетов и фельетонов. А один известный юморист даже разработал целую стратегию борьбы против несметной армии «асфальтопоклонников», то есть дипломированных специалистов, которые «скопом» торгуют газированной водой, служат в официантках и ночных сторожах!

Смешной фельетон! В том-то и дело, что город, разрастающийся за счет деревни, да и за свой собственный счет, свободно и охотно предоставляет работу по специальности и медикам, и педагогам, и даже сельхозспециалистам в научных заведениях, на бесчисленных подсобных хозяйствах, а особенно на все расширяющихся промышленных предприятиях по

ремонту, производству и конструированию сельхозоборудования. И на культработников тоже находится спрос.

Город растет, обзаводится дворцами культуры и спорта, театрами, библиотеками. Город полнится людьми, и молодые потомственные горожане заполняют аудитории вузов и университетов. Даже на заочном отделении Горьковского сельхозинститута половина городских...

Но стоп! Почему только горожане? Разве для выпускников сельских школ не те же правила приема?.. Нет, правила те же. Но абитуриенты, что из городских, не только побойчее, они, безусловно, подготовленнее. Почему? Разве сельские школы учат по другой программе? Разве выпускные экзамены не одинаковы во всех школах Союза?

Все так — и не так.

Подходит срок, выпускник пединститута получает распределение в село Макарьевское. В двух случаях из десяти он прибыл, приступил к работе.

И вот первая трудность: материальная жизнь молодого специалиста на селе ощутимо тяжелее, чем была бы в городе. Там привычный, отлаженный быт, здесь он живет «на квартире», причем хозяйка вовсе не рада ему и тем пяти рублям, которые получает за «постояльца» от школы. С питанием ему никак не устроиться: своего хозяйства нет, да ведь надобен и навык и вкус, чтобы вдруг обзавестись коровой, свиньей, курами, — это потомственному-то горожанину! Ему готовы пойти навстречу, предлагают любой дом-пятистенки из тех, что стоят заколоченные — хозяева в город подались. Отказывается: знает — через годик-другой он все равно уедет...

Результат: в Макарьевской сельской школе большинство учителей без дипломов. И притом биолог преподает также химию и... историю, директор — физик и математик, учитель литературы также и физкультурник и рисованию учит. А иностранный язык вот уже год не преподают вовсе. А ведь выпускникам сельской школы экзамены держать наравне с городскими...

Вот перед экзаменационной комиссией одного из областных вузов стоит юноша. Канонический вопрос: «Почему поступаете в данный институт?» Отвечает (и в искренности да и справедливости его ответа нельзя усомниться): «Потому что сейчас первоочередная задача — подъем нашего сельского хозяйства». А следом абитуриентка из села начинает вдруг рассказывать о «душевных свойствах» одной лично ей знакомой коровы по имени Ласточка: «До чего же хитроумная скотина! Идет с пастьбы и специально орет, будто несет пуд молока. Ты уж и не знаешь, как ее встретить, подкормку ей сыплешь горстями, а у ней там шести кружек не вытянешь! И причем поглядывает на тебя в один глаз, а сама думает»... Экзаменатор встревожился: «Вы так говорите, будто корова может думать. А?» И девушка экзамен не выдержала. Да, она была убеждена, что Ласточка — существо очень даже мыслящее. А павловские условные рефлексы ей в школе объясняла учительница, которая сама готовилась к уроку по тому же учебнику, что и ученица...

И что же? Не пройдя по конкурсу, ребята и девчата вернутся в деревню? Нет. Наука и техника влекут по-прежнему, а путь к овладению техникой и наукой более короткий, если лежит через город, — в этом они убедились на собственном горьком опыте. И они осият этот путь хотя бы во втором поколении! Не они сами, так их дети, потомственные горожане...

Не в том беда, что молодежь уходит из села. Беда, что не возвращается!

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Значит, так никто и не остается в селе? Нет, отчего же: в восьми случаях из десяти — это проверено! — возвращаются на село и остаются там жить и работать те, кто, родившись и выросши в деревне, окончив сельскую школу, сумел все же на общих основаниях поступить в вуз. Потомственные селяне — вот кто! Потому что у них к этой работе, к этой жизни и вкус и навык. И даже страсть.

Так что же делать? Да, такой вопрос не решить в одиночку ни председателю колхоза, ни начальнику управления культуры, ни автору данной статьи. И не в один день это будет решаться. Но пока в Горьковском обкоме предлагают, например, открыть в районных центрах постоянные консультпункты от некоторых вузов — от педагогического, медицинского, сельскохозяйственного. И чтобы здесь же выпускники сельских школ проходили подготовку и сдавали вступительные экзамены. Отбор на месте — потому что путешествие в облцентр далеко не каждому по силам. А институты чтобы бронировали для них хотя бы 20 — 30 процентов мест. Через четыре-пять лет по деревням разъедутся десятки (по 8 из каждого десятка!) молодых интеллигентов, которые оживят и колхозное производство, и клуб, и самодеятельность.

И уж они-то, сызмальства приверженные к сельскому хозяйствованию, будут не из тех, которые, сколько их ни корми, все в город смотрят. Вот так!

Разумеется, не единственное это средство, чтобы поднять культуру села. И новые клубы, и библиотеки, и широкий экран, и спортивные сооружения — все это понадобится, а, впрочем, кое-где остро необходимо уже сейчас. И для руководства культурой потребуются более высокая квалификация — во всех звеньях. Сейчас от завклубом какого ждут культурного уровня? Чтоб чуть повыше выпускника средней школы, но и «не ученее» абитуриента, иначе он уже студент, ищи его свищи! А тогда среди новых, н е в р е м е н н ы х специалистов деревни заведующему клубом будет принадлежать решающий голос — следовательно, этого заведующего надо готовить так же, как врача, педагога, агронома...

Сознаемся, мы не сами придумали эту простую, даже, можно сказать, элементарную меру. Был подобный опыт в прошлом: рабфаки! И ведь не безуспешный опыт! И в настоящем все настойчивее предлагают ввести эту меру те, кто практически знаком с положением культуры на селе. Но пока что этого нет. К тому же имеются и возражения: «А не обрекаем ли мы таким образом нашу деревню на специалистов заведомо второсортных — ведь принимали-то их если и не по благу, то с поблажкой? И не придется ли тогда некоторые вузы разделить как бы поперек: одна программа (а следовательно, и лекции, и семинары, и учебники!) — для конкурсной элиты, и совсем иное — для этих... деревенских?»

Не придется! Повозиться с ними на первых порах, поработать дополнительно придется, но эти люди свое наверстают! Те, кто знает их, не сомневаются в этом ни секунды. Во-первых, потому, что тяга их к учению, к знаниям, к культуре огромна. И еще потому, что вовсе не «с нулевого цикла» будут они начинать свое культурное строительство: самые основы культуры в них уже заложены. И какие основы!

ДЕРЕВЕНСКАЯ КУЛЬТУРА

Нет, мы не о том традиционном, исконном и «посконном», что так охотно заимствует город у деревни для приукрашения своего быта. Не о керамике, которая действительно пришла из деревни, но уже ушла из деревни: там давно оценили городской фарфор. И не о деревянной утвари, хотя знаменитая Хохлома не на одних только интуристов работает. В каждой избе найдется хоть одна расписная ложка для самого юного члена семьи: такому яркая красота все еще важнее, чем удобство; а старшие решительно предпочитают алюминиевую. И не о строчевышитых изделиях с традиционным орнаментом: в деревне не может быть моды на стилизованных петушков и коников, не станет деревня рядиться «под деревню».

Мы о другом. О той человеческой культуре, которая не втискивается в привычные сочетания: «культурмероприятие», или «культурный отдых», или даже такое: «культурненько выпили!» Потолкните с любым серьезным человеком, который по роду занятий или склонностей связан с колхозом, — назовет ли он деревню бескультурной? Нет, конечно! К примеру, ответственный работник милиции подтвердит, что многие проявления бескультурья, с которыми ему все еще, увы, приходится иметь дело по долгу службы, в деревне встречаются реже, чем где бы то ни было: случаев пьянства, хулиганства,

нарушений общественных и государственных законов и вообще преступлений здесь несравненно меньше, чем в городе. Ибо устои, традиции крепче, чем в городе: текучесть людская меньше, опять же все на виду друг у друга, оттого и взаимоотношения чище.

А художник сможет объяснить, как высока, порой даже изощренна культура цвета в деревенском интерьере, а проще сказать, в горнице.

Возьмите половички, которые теперь ткнут во всех деревнях из бросового тряпья! Они в полном единстве с темными бревенчатыми стенами, тесовым потолком, а их поперечная полоса разбивает однообразную продольность половиц. А чередование расцветок — до чего ж верное и тактичное! И, между прочим, эти деревенские бабки вовсе не стихийно подбирают свои тона: «Красный цвет чтоб у нас не форсил, чтоб как на воле: красный цветик между зеленой землей и медной сосной!..»

А инспектор отдела народного образования отметит, что ученики сельских школ «успевают» по дисциплине лучше городских: уважение к учителю, «почтение к старшим» и вообще культура поведения. И еще такой факт: в артельном пионерском лагере ребяташки только до четвертого класса — кто постарше, все на работах. Да и эти, маленькие, помогают чем могут: вяжут клеверные метелочки, грибы-ягоды собирают... Потому что есть здесь и культура трудового воспитания.

А свой брат, литератор, отметит еще и культуру слова. Того слова, которое «не на воде пузыри», которое «как соль в борще — не видное, но чувствительное», которое «сказано — связано, положено — лежит!».

А любой приезжий отметит хлебосольство, ненавязчивое гостеприимство, истинное доброжелательство. И такой несомненный признак культуры, как всеобщая вежливость: ведь все всем говорят «здравствуй»!

...С новой пятилеткой наступает и новая пора в жизни деревни. На село придет огромное количество техники: сотни тысяч тракторов и зерноуборочных комбайнов, больше миллиона автомобилей.

Мощным капиталовложениям в сельское хозяйство, насыщению его техникой должна соответствовать и назревшая перестройка системы подготовки сельских специалистов.

Колхозные и совхозные поля как никогда становятся в буквальном смысле слова прекрасным полем деятельности для молодежи. Правильно сориентировать ее, сломать психологическую инерцию «село-боязни», которая бытует еще среди молодых специалистов, раз и навсегда снять самую проблему нехватки квалифицированных рабочих рук на селе — задача серьезная и безотлагательная.

Пусть слово «здравствуй» звучит в деревне чаще, чем «прощай».

ИЗ ПРОШЛОГО

БОЛШЕВСКАЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА И ЕЕ ОРГАНИЗАТОР

Весной 1924 года молодого чекиста Матвея Самойловича Погребинского вызвали к Ф. Э. Держинскому.

— Коллегия поручила вам, товарищ Погребинский, заняться перевоспитанием несовершеннолетних правонарушителей, — сказал Феликс Эдмундovich. — Вы знаете молодежь, умеете подойти к ней. Если мы сумеем наладить перевоспитание, мы практически докажем, что свободный труд на общество, па самих себя может сделать из уголовников общественно полезных работников. Приступайте к работе.

Это было время, когда наша страна вступила в мирную полосу жизни. На всем еще тяжело сказывались последствия империалистической и гражданской войн. Особенно пострадали дети погибших на фронтах от голода, от сыпняка и других болезней, дети из разоренных войной местностей.

Колонии, детские дома не вмещали всех беспризорных, да и плохо налаженная работа, голод, холод гнали детей из домов на улицу. Среди них росла преступность.

Перед страной встала серьезная задача — спасти детей, вырвать их из рук преступных элементов и воспитать полезных для Родины людей.

Ф. Э. Дзержинский — председатель ОГПУ, проходя ночью по Москве, видел, как на вокзалах, в заброшенных подвалах, у котлов (в которых днем варили асфальт), ежась от холода, коротали ночь дети-беспризорники. Феликс Эдмундович подходил к ним, заводил разговоры; ему было ясно, что страна должна приложить все усилия, чтобы ликвидировать это народное горе, накормить и одеть детей, воспитать и дать им дорогу в жизнь. Он и предложил Погребинскому заняться организацией первой трудовой коммуны.

Военком гражданской войны на колчаковском фронте, хороший организатор, человек живой революционной практики, Матвей Самойлович Погребинский понимал всю необходимость этого дела.

Начал он со знакомства с самими беспризорниками. Переоделся в штатский костюм, оставив на себе только неизменную кубанку, и ночью отправился в город.

На Трубной площади у асфальтового котла горел небольшой костер, вокруг которого сидели ребята — грязные, в лохмотьях. Они грелись над углями, выжаривали насекомых из рубашек, кто-то перевязывал тряпкой ногу чугуна цвета, остальные дремали, болтали, пересыпая свою речь нецензурной бранью. Погребинский сел в круг, поджав под себя ноги. Парень в папаше насторожился и спросил: «А ты не контрабандист?» Так началось знакомство чекиста с выбитыми из колеи жизни подростками. О многом узнал Погребинский в эту и другие ночи. И о том, что в детдомах нет хороших педагогов, и что питаются дети плохо, и что их не приучают к труду, и что преступники-рецидивисты сколачивают из беспризорных банды.

Погребинский засел за педагогические книги, стал знакомиться с работой детских домов, много беседовал с малолетними преступниками, с беспризорными, советовался с товарищами-чекистами. Постепенно наметились основы организации трудовой коммуны. Вот в чем они заключались. В коммуне не должно чувствоваться принуждения. Ребята должны знать, что они пришли в коммуну не подневольными людьми с уголовным прошлым, а по своему желанию. В коммуне не должно быть конвойной стражи. Ребята будут жить трудовой жизнью; им надо научиться чему-нибудь; вся жизнь коммуны будет подчинена главной цели — обучению ребят какому-нибудь ремеслу; только трудом будут воспитываться из них честные советские граждане. Не проповедью морали, не лекциями, не угрозами надо добиться такой обстановки, в которой каждый парень, каждая девочка должны отвечать за свои действия перед коллективом — общим собранием членов коммуны.

Эти основы деятельности коммуны Ф. Э. Дзержинский одобрил.

Для организации первой трудовой коммуны нашли помещение в 27 километрах от Москвы, по Северной железной дороге, возле станции Болшево, бывшее имение шоколадного фабриканта Крафта. Природа щедро одарила это место — пруд, река, сосновый бор.

Погребинский горячо принялся за организацию коммуны.

На должность начальника он пригласил директора детского дома имени Розы Люксембург Федора Григорьевича Мелихова, энергичного, способного человека, с большим педагогическим опытом. Помощником его назначил врача Сергея Петровича Богословского, которого Погребинский знал еще по Сибири как самоотверженного работника, активного борца с сыпным тифом.

18 августа 1924 года в коммуну прибыли первые коммунары. Надо было создать здоровый актив, чтобы потом пополнить коммуну ребятами, взятыми из тюрем. Для коммунаров оборудовали спальни, мастерские, столовую. На станции Болшево их встречали Погребинский и Мелихов. Так начала свою деятельность Болшевская коммуна.

Предстоял очень трудный эксперимент. Ученые-криминалисты, последователи Ломброзо, пророчили крах этой затее. Погребинский писал:

«Много было трудностей, мало было уверенности, что коммуна оправдает свое название трудовой. Планов не строили, наоборот, боялись об этом громко говорить, работали год без огласки».

В первый год существования коммуны крестьяне соседнего села Костино написали прошение М. И. Калинину, чтобы от них убрали неприятных соседей. Дочерям своим крестьяне запрещали даже близко подходить к коммуне.

А коммуна росла и крепла. В ней находились и честно трудились сотни бывших правонарушителей. В тридцатых годах число коммунаров превышало 1 500. В коммуне появилась крупная обувная фабрика, выпускавшая в день сотни пар обуви, трикотажная фабрика, завод по выпуску коньков. Коммуна перешла на полную самокупаемость и давала доход стране. Для коммунаров выстроили большие, благоустроенные каменные дома. В клубе коммуны работали кружки художественной самодеятельности, три отличных оркестра, хор из 60 человек, драматический коллектив. Участников художественной самодеятельности охотно приглашали в рабочие клубы. Оркестры выезжали на лето в Сочи. В коммуне издавался свой печатный журнал, был литературный кружок, которым руководил член коммуны — ныне известный поэт Павел Железное. Постепенно широко распространилась добрая слава о коммуне. Теперь уже костинские крестьяне стали охотно выдавать своих дочерей за коммунаров. Молодоженам предоставляли отдельные комнаты в новых домах.

Алексей Максимович Горький был большим другом коммуны. Он часто навещал коммунаров, подолгу беседовал с ними. Погребинский с некоторыми коммунарами приезжал в гости к Алексею Максимовичу. Они часами просиживали у него, беседуя о делах коммуны, об успехах коммунаров-спортсменов, которые не раз брали всесоюзное первенство и отличались на всемирных соревнованиях.

На квартире Горького коммунары устраивали концерты. Алексей Максимович помог коммунарам издать альманах «Вчера и сегодня». В предисловии к альманаху Горький писал:

«...Они хотят, чтобы тысячи беспризорных и социально опасных нашей огромной страны — все заключенные в домзаках, организованные в колонии и коммуны, убедились на факте выхода сборника, что перед ними действительно открыты все пути к честной и социально полезной работе».

Любопытна запись Алексея Максимовича в книге посетителей коммуны:

«Как бывший социально опасный, искренне свидетельствую: здесь создано совершенно изумительное, глубоко важное дело».

Тесная дружба связывала великого писателя с М. С. Погребинским.

Погребинский был гостем Горького в Сорренто, ездил с Горьким в Соловки, в Карелию, в Медвежью гору для бесед с малолетними преступниками и для отбора их в Большевскую коммуну. Погребинский сопровождал Горького в поездке по Волге на пароходе «Клара Цеткин» в тяжелые дни после потери сына — Максима Пешкова. По настоянию А. М. Горького коммунары Павел Железное и Владимир Державин по-, шли учиться на литературный факультет, Степан Дудник — в Академию художеств, Илья Петров — в консерваторию. Бывшие коммунары стали инженерами, врачами, актерами, мастерами спорта и, главное, хорошими, честными советскими людьми.

К Матвею Самойловичу Погребинскому, как к человеку большой души, тянулись многие люди. К нему приезжали, у него гостили и А. Фадеев, и А. Толстой, и Вс. Иванов, и Лидия Сейфуллина, и многие другие.

В письме к М. Горькому А. Фадеев писал:

«Я живу сейчас на даче под Уфой — много пишу (самому пока что нравится то, что пишу, а это дает хорошее настроение), катаюсь верхом и на лыжах, пью кумыс. Кругом дремучие снега и целыми днями солнце. Пестует меня Мотя Погребинский, — Вы его знаете, — человек, которого я очень люблю... Он человек незаурядный талантливый и очень добр — в самом конкретном и не пошлом смысле, т. е. небескорыстно добр Работа его с «ворами» и беспризорниками — лучшее подтверждение этого».

В последние годы своей жизни по примеру Болшевской коммуны Погребинский организовал трудовые колонии для несовершеннолетних в городах Уфе и Горьком. Любопытно отметить, что в Уфимской колонии воспитывался будущий Герой Советского Союза А. Матросов. Но никогда Погребинский не порывал связи с Болшевской коммуной, где его любовно звали «Мотей» и отцом коммуны. Когда в 1936 году он тяжело заболел, к нему из Болшева в Уфу приехала группа коммунаров, чтобы проведать и рассказать о своих успехах.

— Тебе, может быть, здесь тяжело работать, Мотя? — спросил руководитель группы Погодин, в прошлом крупный «медвежатник». — Может, уголовники тебя замучили? Скажи нам. Мы здесь останемся и их переловим.

...В 1937 году в расцвете сил и таланта на 42-м году жизни Погребинский погиб. Вскоре перестала существовать и Болшевская коммуна.

Замечательная кинокартина «Путевка в жизнь», снятая в Болшевской коммуны, увековечила и коммуны и М. С. Погребинского, человека в кубанке (Погребинский всегда ходил в кубанке), которого отлично отобразил артист Николай Баталов.

Память о коммуны и ее славном организаторе должна сохраниться. Опыт создания и деятельности Болшевской коммуны ждет своих исследователей и продолжателей.

Е. ВАТОВА

Нельзя не упомянуть здесь о друге и верной помощнице Матвея Самойловича в делах коммуны — недавно скончавшейся его жене Анастасии Борисовне. Не было воскресенья или любого праздника в доме Погребинских, чтобы с раннего утра один за другим не шли к ним в гости коммунары. Не имея семьи, испытав голод, болезни, тяжелый быт в подвалах, ночлежках, на заброшенных чердаках, на бульварах, они тянулись в семью, к людям, которые их встречали как родных.

Весь день не убиралась со стола обеденная скатерть, — запоздавшие знали, что, когда бы они ни пришли, здесь накормят чем-то вкусным, поговорят по душе, здесь можно посоветоваться, излить свои думы, сомнения, даже покаяться в чем-то.

Шум, споры, смех, хлопоты, теснота — такими бывали праздники в доме Погребинских. И, даже вырастая, выходя из коммуны, воспитанники считали этот дом своим домом.

Всех приветливо встречала А. Б. Погребинская. Ее гостеприимство играло большую роль, способствуя общению коммунаров со многими выдающимися людьми.

Эту статью, в которой она рассказывает о встречах с Н. К. Крупской и А. М. Горьким, Анастасия Борисовна написала для «Юности» незадолго до смерти.

А. Погребинская

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

1. Надежда Константиновна Крупская

Много зарубежных гостей побывало в трудкоммунах, и не было границ их удивлению: ведь до сих пор главным лекарем всех преступлений они считали тюрьму. Посетив Болшевскую коммуны, Анри Барбюс восхищенно сказал: «Эта коммуна есть маленькая республика в Большой».

В истории Болшевской коммуны остались незабываемые встречи с посетившими ее замечательными людьми. И, пожалуй, самое теплое воспоминание оставила о себе Надежда Константиновна Крупская. Чувство горячей симпатии, с каким встречали ее коммунары, может сравниться лишь с тем душевным пылом, который они отдавали Горькому.

Как-то, бродя по лесу, закройщик обувной фабрики Болшевской трудкоммуны Эмиль Каминский увидел сквозь просвет между деревьями приближающуюся легковую машину. Эмиль бросился за ней. Машина остановилась у исторического домика, в котором когда-то жил Владимир Ильич, а теперь — заведующий коммуной С. П. Богословский. Из Москвы приехали члены коллегии ОГПУ и с ними Надежда Константиновна Крупская. Это был счастливый день для коммунаров. Дети — всегда дети, а в иных случаях и молодежь не отличается от детей. Весь городок облетела весть о приезде Н. К. Крупской. Тотчас же машина была окружена такой плотной толпой коммунаров, что сквозь нее нельзя было пробиться. Но тут Надежда Константиновна сразу же получила возможность убедиться, как высока дисциплина в трудкоммуне: короткая команда руководителя — и после восторженных приветствий коммунары быстро разошлись по своим местам. Снова заработали станки, продолжались школьные занятия.

Мне никогда не забыть лица Надежды Константиновны, впервые увидевшей как будто обычную толпу рабочего поселка, но с таким грандиозным общим числом судимостей и приводов, что и подумать страшно. На ее лице отразилось приятное удивление, приветливость и участие вместе с природным добродушием и зоркой внимательностью.

Надежда Константиновна и другие гости вошли в домик. Она стояла облокотясь о подоконник, и негромко рассказывала воспитанникам, как зимой 1921 — 1922 годов в этой комнате жил Ильич. Приехал он сюда отдыхать, чувствовал себя неважно, плохо спал, быстро уставал. Надежда Константиновна навещала Владимира Ильича, гуляла здесь с ним в лесу, увязая в занесенных снегом овражках. Иногда, когда Ленину было трудно ходить, катала его в кресле.

Грусть, с которой Надежда Константиновна рассказывала об Ильиче, передалась всем; большевцы стояли молча вокруг гостей. Они смотрели на портрет Ильича, висевший на стене, и ясно, до мельчайших подробностей, представляли себе его живым. Около портрета Ленина на стене висела маленькая железная подковка, выкованная в кузнице коммунаром Умновым. Надежда Константиновна осторожно тронула ее пальцем и сказала с уважением: «Маленькую выковать труднее, чем большую...»

В сопровождении руководителей коммуны Надежда Константиновна осмотрела все производства, общежития, квартиры семейных коммунаров. Многие вчерашние правонарушители стали не только рядовыми тружениками, а и руководителями предприятий (в Болшеве производились лыжи, коньки, трикотаж и обувь).

Надежда Константиновна с живым интересом осматривала этот первый в мире чудогородок, построенный руками людей, перерожденных трудом.

Когда гости вошли в помещение обувной фабрики, I за ними толпой двинулись большевцы. И вот здесь закройщик Эмиль выступил вперед.

— Надежда Константиновна!.. — начал он торжественно.

Все обернулись к нему.

— ...В общем, постановили снять мерку с вашей ноги и сшить туфли, — выговорил Эмиль залпом.

Улыбаясь, Надежда Константиновна дала снять мерку.

Не прошло и часа, как вокруг Эмиля, кроившего кожу для туфель, столпились ребята и глядели, как он ловко работает сапожным ножом.

Эмиль кончил кроить, отдал заготовки Гуляеву и долго потом смотрел, как в ловких руках куски кожи принимали форму изящных туфель.

Этот подарок большевских обувщиков — отличную пару туфель — Надежде Константиновне вручили в следующий ее приезд. Она уверяла ребят, что впервые в жизни носит такую удобную, так замечательно пришедшуюся по ноге обувь, и от души благодарила их.

А я не могла не вспомнить самую первую пару сапог, сработанную в Болшевской коммуне бывшим правонарушителем Алехой Чуваевым, во многом напоминавшим трогательного и героического Мустафу из фильма «Путевка в жизнь». Эта пара сапог весила

14 фунтов. Чуваев извел на нее столько кожи и вбил столько гвоздей, что их хватило бы на четыре пары. Но сапоги сработаны были крепко — на всю жизнь. И так же добротнo и крепко, на всю жизнь был перевоспитан трудом Чуваев.

Уже сидя в машине, Надежда Константиновна, прощаясь с ребятами, пообещала снова приехать и даже назначила определенный день.

Шум мотора был заглушён громкими криками прощальных приветствий. Уже машина скрылась из виду, а коммунары все стояли, глядя ей вслед.

В обещанный день Надежда Константиновна не смогла приехать и прислала болшевецам письмо.

«Дорогие ребята! — писала она. — К сожалению, приехать в коммуну не могу. Шлю привет, желаю, чтобы коммуна ваша продолжала крепнуть и развиваться. Еще раз спасибо за туфли, они такие нарядные и красивые, что просто прелесть. Всего вам хорошего.

Н. КРУПСКАЯ»

2. Алексей Максимович Горький

В 1928 году приехал из Италии в Москву Алексей Максимович Горький.

В честь его приезда был устроен банкет в гостинице «Селект». В числе гостей были мой муж Матвей Самойлович Погребинский и я. С этого вечера и началась наша дружба, не прекращавшаяся до последних дней жизни великого писателя.

А. М. Горький живо заинтересовался Болшевской трудкоммуной, стал большим другом коммунаров и в первую очередь другом организатора трудкоммун — Матвея Самойловича.

Мы с мужем часто бывали на зимней квартире Горького у Никитских ворот и на летней его даче, когда-то принадлежавшей московскому фабриканту-миллионеру Савве Морозову. Обычно мы приезжали в субботу и оставались до понедельника. У А. М. Горького всегда было много гостей, особенно к вечернему чаю, когда подавалась традиционная в его семье, очень любимая им огромная творожная ватрушка и дружно поедалась гостями и хозяевами.

В ту пору я была молода и, что греха таить, любила принарядиться, а Горький в быту был прост и терпеть не мог вычурных дамских платьев. Я была очень озадачена, когда однажды летом, увидев на мне открытое платье, Алексей Максимович укоризненно спросил: «Что, другое платье надеть не могла?» Я сейчас же закуталась в шаль и просидела весь вечер, несмотря на жару. Но потом уж, собираясь в

гости к Горькому, я всегда одевалась как можно проще.

А. М. Горький вскоре вернулся в Италию продолжать лечение. М. С. Погребинский ездил к нему в Сорренто погостить.

В 1934 году Алексея Максимовича постигло большое горе: умер его единственный сын Максим. Горький в то время уже жил в Москве. Он был душевно потрясен и болен да и переутомлен творческой работой. Нас очень волновало его состояние, и Погребинский пригласил Алексея Максимовича покататься по Волге на пароходе «Клара Цеткин».

Алексей Максимович поехал вместе с женой своего покойного сына Надеждой Алексеевной и внучками Марфушей и Дашенькой. Мы с мужем тоже поехали семьей с нашими детьми — Нинелем и Майей. Трудно сказать, с кем больше проводил время Горький — со взрослыми или детьми. Он играл с ними, рассказывал о своем тяжелом детстве, радуясь, что теперь детей воспитывают иначе — убеждением, а не розгами.

На отмелях мы чуть ли не голыми руками ловили стерлядь, ее было множество, варили на берегу на кострах уху и тут же ели.

Мы радовались, видя, как благотворно действовала на нашего великого друга эта поездка. Алексей Максимович отдыхал и поправлялся на глазах, а это было главной нашей заботой.

Горький любил покурить, но это было строжайше запрещено ему врачами. Он, как мальчик, пытался улизнуть от надзора и где-нибудь в уголке выкурить папиросу. Мы подозревали, что в правом кармане брюк у него находилась коробочка папирос. Едва он поднялся с места и медленной походкой с невинным видом шел куда-нибудь подальше от наших глаз, как кто-нибудь, крадучись, шел за ним следом. Вся команда парохода была посвящена в это, и покурить ему ни разу не удавалось.

Понемногу Горький отвлекался от мрачных мыслей и выглядел очень бодрым. Когда мы проезжали мимо трудкоммуны, коммунары выезжали на лодках встречать Горького, и он на веревочках спускал им подарки. Общую радость забыть невозможно.

Мне особенно памятно одно утро. Мы с Алексеем Максимовичем стояли у борта парохода, и он спросил меня:

— Неужели ты, Матвеева жена, только домашними делами занимаешься?

— Нет, — ответила я, — я веду общественную работу. — И рассказала Горькому, как четыре общественницы из Нижнего края, в том числе и я, организовали Ликбезы, детские комнаты для детей дошкольного возраста, где их питали и развлекали, давая возможность родителям работать и учиться. Рассказала, как мы заботимся о наших подшефных школах, как боремся с детской беспризорностью, наводим порядок в детдомах, чтобы были в них изобилие и семейный уют.

Мне пришлось рассказывать все подробно, Горький задавал все новые вопросы, а под конец сказал:

— Да ты, оказывается, молодец, я и не знал.

В часы отдыха на палубе, когда спадал жар и становилось прохладно, А. М. Горький любил вспоминать свое посещение Большевской коммуны. Он вспоминал отдельных коммунаров, которые из беспризорных, воришек и крупных воров благодаря чуткости и большой работе, основанной на доверии, стали настоящими людьми, способными трудиться и честно жить.

Он вспоминал выпуск коммунаров в день десятилетия коммуны. На этом вечере коммунары преподнесли ему сделанный ими вязаный шерстяной свитер. Когда Алексей Максимович получил этот подарок, он был растроган до слез.

— Ребята, вот совсем недавно вы раздевали людей, — сказал он, — а теперь вы одеваете меня. Как приятно получить от вас этот подарок, в который вы вложили свой труд. Это — самое ценное. Продолжайте же и в дальнейшем честно жить и трудиться на благо Родины.

При этом он вспомнил свое тяжелое, безрадостное детство и трудный путь, который пришлось ему пройти — от бурлака до советского писателя.

НАШ ФЕЛЬЕТОН

3. Паперный

УВАЖАЙТЕ ТРУД ХУДОЖНИКОВ

Недавно ко мне пришел начинающий поэт и рассказал, как трудно ему начинать. Он написал стихотворение, может быть, не на самую актуальную, но все же вполне допустимую тему: о том, как ранним росистым утром он идет в лес за грибами:

Приподнимаю ветви, листья —
Тан разворачивают письма.
Так ждут прибытья поездов.
Так на реку глядят с мостов.

Грибы, как тайны вековые,

Как золотые кладовые,
Как затерявшийся алмаз.
Я ошибаюсь двести раз.

И вдруг... Обвал, землетрясение.
Звезды открытые. потрясение:
Среди навек уснувших мхов
Сам белый гриб — король грибов.

Что можно сказать об этих стихах? Что они действительно принадлежат поэту начинающему. Сравнение — «Так на реку глядят с мостов» — не очень оправдано. Рифма «землетрясение — потрясение» — не находка (почти то же самое, что рифмовать «пальто» и «полупальто»).

Но интереснее всего в этом стихотворении его дальнейшая судьба. Автор послал его в один из популярных наших журналов. Может быть, он хо- I тел совета, может, надеялся, что стихи увидят свет. Как говорят в народе, он ждал ответа, как соловей лета. И вот приходит официальный ответ за подписью литературного консультанта. Стихи мы цитировали в сокращении, но ответ приведем полностью. Тут драгоценна каждая строка.

«Уважаемый тов. Леонидов!

Сбор грибов — одна из увлекательнейших прогулок по лесу и к тому же весьма полезная во всех отношениях. Конечно, бывает и чувство досады — когда вернешься домой, как говорят, «не солоно хлебавши». Обо всем этом и надо было сказать в Вашем стихотворении. У Вас же в большинстве случаев дан лишь намек: «забыв вчерашнюю досаду», «я ошибаюсь двести раз». А не сказано, в чем была досада, где ее причина, о каких «превратностях судьбы» (слишком громко сказано!) идет речь, в чем были ошибки. Здесь умалчивать нельзя. В итоге, несмотря на удачную концовку — «И вдруг... сам белый гриб — король грибов», стихотворение осталось незавершенным, дано в виде каких-то отрывочных мыслей, намеков и т. п. А ведь можно было в нем сказать о том состязании, которое, даже не объявляя его, организуют охотники за грибами (кто больше и лучше соберет), как выставляют напоказ свою добычу, как думают о домашних, друзьях и знакомых, которых угостят вкусными лесными плодами. А поиски грибов, волнение, переживаемое при этом, разве не надо было показать? Вы не сделали это и, несмотря на отдельные удачные образы и сравнения («так разворачивают письма, так ждут прибытия поездов», «грибы, как тайны вековые, как золотые кладовые»), все же не достигли цели. Да и кроме белого гриба, можно и нужно было сказать и о некоторых других грибах — они ведь тоже встречаются на Вашем пути.

Над стихотворением надо основательно поработать. Сил у Вас для этого достаточно, а терпением можно запастись. Но постарайтесь, и Вы сможете создать хорошее стихотворение, достойное печати».

Как видим, литконсультант не столько разбирает написанное, сколько указывает, как все надо было написать. Оказывается, обязательно следовало сказать не только о белом грибе, но и о других грибах («они ведь встречаются на Вашем пути»); и не только о грибах, но и о грибниках; о состязании — кто больше и лучше соберет. В общем, литконсультант наметил целую программу стихотворных действий, так сказать, нацелил молодого поэта на решение новых тем и вопросов, связанных со сбором грибов.

Обо всем этом говорится так, будто подготавливается доклад, — консультант старательно припоминает, что еще не отражено.

Маяковский называл поэзию «ездой в неизвестное».

Здесь она стала ездой в общеизвестное и общеобязательное. Причем ездой по заранее проложенным трамвайным рельсам со всеми остановками.

Вспоминается другой случай — уже не с начинающим, а со зрелым мастером. Николай Николаевич Асеев читал цикл стихов о Гоголе. На обсуждении один из

выступавших стал деловито и настоятельно советовать: скажите подробнее о юморе Гоголя, лукавстве, любви к шутке. Советы давались в том же примерно духе, в каком написан ответ из редакции — «обо всем этом и надо было сказать в Вашем стихотворении».

Николай Николаевич кротко и тихо сказал:

Вот вам,
товарищи,
мое стило.
и можете
писать
сами!

Но любители развернутых советов сами не пишут. Они похожи на инструкторов по плаванию, стоящих на берегу, далеко от воды, но объясняющих, как держаться на поверхности, куда и зачем плыть.

Часто такого рода сухопутные наставники работают редакторами. Я знал одного такого. Получив материал — статью, фельетон, рассказ, стихи, — он прежде всего начинал переставлять абзацы или строфы. Добивался железной логики в развитии мысли. Подгонял строку к строке «заподлицо». Все, что нарушало эту неумолимую последовательность, вырезал — у него были большие портновские ножницы, такими можно резать и кровельное железо.

Как-то ему досталась статья старого литератора. Он долго что-то в ней переставлял, а что не переставлялось, отсекал. Внешне это напоминало игру, где надо расположить, передвигая, пятнадцать квадратиков в арифметической последовательности. Затем автору показали отредактированную статью. Он прочитал, страдальчески улыбнулся и воскликнул:

— Вы просто удивительный редактор! У вас дьявольское чутье. Высший класс! В каждой статье есть место, без которого статьи нет. Эпицентр, из которого все вырастает. И каждый раз вы безошибочно находите это место и удаляете именно его.

Для такого редактора чужой беловик — как свой черновик. Это особый случай графоманства: простого графомана все время тянет и «позывает» писать, а этого — переписывать написанное другим.

Литконсультант, редактор, критик — люди профессионально-должностные. Но искусству нередко достается и от внештатных ценителей — читателей, зрителей, слушателей, посетителей выставок.

В Сокольниках, на французской выставке, стояла фигура Дон Кихота — трогательного в своей беззащитной самоотверженности, долговязого, нарочито удлиненного скульптором почти до карикатуры и тем более выразительного. Против него, как будто стесняющегося своего странного и нелепого вида, стали две женщины, по комплекции похожие на Санчо Панса. Они с удовольствием, со вкусом, упоением потешались над скульптурой бедного гидальго.

— Уж больно он тощий.

— Мало каши ел.

— Доходяга.

— Не жилец.

— А ноги-то, ноги, ой, не могу!

— Нет, это надо же!

Санчо Панса был куда более добр и терпим к своему хозяину.

Другой раз, на выставке Врубеля, я видел, наоборот, человека молчаливого, с непроницаемым лицом. Он подходил к картине, быстро оглядывал ее и встряхивал головой: так, мол, с этим ясно, пошли дальше. Подходил к следующей картине, снова оглядывание и встряхивание. Изредка бросал реплики: так-с, ну-ну, все, понятно.

А когда он подошел к картине с поверженным Демоном, упавшим с невероятной высоты, — посмотрел укоризненно, покачал головой и громко, внятно произнес:

— Не вижу Демона.

Юноша в очках, с клеенчатой папкой под мышкой, удивленно спросил:

— Как же вы не видите? Вот голова, понимаете? А вот...

Но тот не соглашался, отказывался «засчитать» за Демона то, что ему показывали, и упрямо повторял:

— Не вижу.

И столько несокрушимой, богатырской уверенности было в его словах, что становилось как-то боязно за многострадального ангела, вольного сына эфира.

В читальном зале к юноше с книгой подходит его приятель.

— Что это у тебя? Блок? Дай поглядеть. Прочитал вслух:

Ты умерла, вся в розовом сиянии.

С цветами на груди, с цветами на кудрях,

А я стоял в твоём благоухании,

С цветами на груди, на голове, в руках...

И от души рассмеялся:

— «А я стоял... с цветами... на голове»... Стоял на голове! Акробат, что ли?

— Да нет же, не стоял, а «с цветами на голове»...

— Брось. Чуть какая.

Искусство — великая сила. Но оно бывает беззащитным, безответным — перед редактором, чье перо смахивает на острый, тугоплавкий резец. Перед критиком, знающим, что он напишет о книге еще до того, как он ее прочитал. Перед зрителем, уносящимся в гардероб за полторы минуты до занавеса. Что мог сказать Дон Кихот хохочущим посетительницам? Что мог ответить Демон поверженный человеку с невидящими глазами?

В учреждениях, редакциях, литконсультациях иногда вывешивают надписи: «Уважайте труд уборщиц!»

Хорошо бы приписать:

«И художников».

Борис Ласкин

В гостях У дяди КОЛИ

Рассказ

Я жалею, что вы меня сейчас не видите. У меня свежий вид, я здорово загорел, а то, что я не-емножечко заикаюсь, не имеет значения. Это уже проходит.

Все началось с того, что каникулы я решил провести где-нибудь в средней полосе, в мире тишины, покоя и раздумий. И вот, когда у меня уже наметилась реальная перспектива получить путевку в дом отдыха, я встретил Сашку Шилобреева.

— Старик! Ты собираешься в дом отдыха? Ты сошел с ума! — закричал Сашка. — Позор, тоска, о жалкий жребий твой!.. Ты должен отдыхать активно!..

— Понимаешь, мне... нездоровится, — соврал я.

— Что с тобой, аспирант-симулянт?

— У меня это .. блуждающая почка.

— Прекрасно! Тем более. Видишь, даже почка у тебя я та блуждающая, а ты собираешься сидеть на одном месте!.. И где? В доме отдыха. Запомни: молодой человек обретает силу в борьбе с трудностями!..

— А я уже обрел силу. Трудности были.

— Какие?

— С путевкой. Пока достал. Вот нужно идти брать, уже деньги в кармане.

— Отставить! — решительно произнес 1 Сашка. — Держи курс на юг. Я тебе сейчас дам адрес. Ты себе только представь: белый домик, синее небо, черное море, зеленый сад. Чего тебе еще надо? Записывай адрес и скажи спасибо, что меня встретил.

— Подожди, — сказал я, — а как там с питанием? :,. — Не делай из пищи культа! — закричал Сашка. — Робинзон и тог с голоду не помер.

— У Робинзона был Пятница.

— А у тебя будут три пятницы, если не все четыре. Что же ты, за месяц не устроишься?.. И потом — там есть столовая. Давай не теряй времени, записывай координаты.

Я послушно записал адрес.

— Фамилию хозяина я забыл, — сказал Сашка, — но это неважно. Зовут его дядя Коля. Передашь ему от меня привет, и ты в полном порядке. Понял?

Сашка умчался, а я, слабовольный человек, вместо того чтобы потерять этот адрес, отказался от путевки, собрал вещички и поехал.

Та-амошнюю природу я вам описывать не буду. Скажу только, что было это на юге, на берегу Черного моря.

Дядя Коля оказался деловым человеком.

— Привет вам от Саши Шилобреева, — сказал я.

Не обратив никакого внимания на мои слова, дядя Коля открыл замусоленную записную книжку и, заглянув в нее, начал вслух размышлять:

— Стало быть, так... Доцента с женой из сараюшки под навес, где печка. Артиста из чулана на висячую койку. Рыбаковых двоих на терраску к рыженькой. Туда же за занавеску можно и пару из Саратова, им всего три дня жить осталось, у них билеты в кармане. Студента на топчан у калитки, а вас можно на чердак. Или нет, чердак свободно двоих примет. Вас я, пожалуй, положу под велосипед...

— Ку-куда? — спросил я В то время я еще не заикался. Я просто спросил: куда?

— В общем, так. Вы оставляйте вещи, задаток, а сами идите пока гуляйте. К вечеру придете, все будет готово.

Вечером действительно все было готово. Дядя Коля отвел меня в чулан, где стояла застеленная раскладушка. Я до того намотался за день, что даже не успел: а) поразиться тесноте чулана и б) узнать у дяди Коли, что должна было означать его загадочная фраза «вас я положу под велосипед».

Все прояснилось само собой. Среди ночи я проснулся и, не соображая, где нахожусь, принялся нервно шарить по стене в поисках выключателя. Я, наверно, действовал чересчур энергично. Что-то я нашарил, за что-то дернул, и на меня со стены рухнул велосипед, благоразумно зашитый в старую портьеру.

Тут же вспыхнул свет. Потирая ушибленный бок, я односложно отвечал на вопросы множества любопытных. Все они оказались моими соседями.

Последним в чулан заглянул дядя Коля. Он пришел в холщовых брюках и в майке. На груди у него красовалась татуировка — синий орел, раскинувший крылья. В когтях у орла извивалась лента с надписью: «Береги честь смолоду!» Вскоре я понял, что благородный призыв, начертанный на груди у дяди Коли, носил чисто формальный характер и им самим никак не был воспринят.

Как я вам уже говорил, дядя Коля был человеком деловым. Ежедневно взимая с «дикарей», жаждущих крова, по рублику с носа, он превратил свой дом в общежитие типа Ноева ковчега, с той лишь разницей, что пассажиры ковчега дяди Коли были все равны. Они не делились на чистых и нечистых. Здесь все были чисты, поскольку рядом было море.

Дядя Коля был крупным психологом. Он знал, что южное солнце и шелест морской волны делают людей добрыми. В самом деле, кому придет в голову сетовать на тесноту в доме, когда рядом, можно, сказать, рай на земле.

Однако я несколько отвлекся. Дядя Коля вынес из чулана велосипед, к я почувствовал себя спокойнее. Уже засыпая, я вдруг услышал ласковый женский голос:

— Скажи честно: испугался?

— Нет. Не испугался, — бодро ответил я, удивляясь интимному «ты».

— Извините, это я не вам, это я у мужа спрашиваю, — ответил женский голос из-за перегородки.

— А вы где? — спросил я.

— Мы тут, по-соседству, — басом ответил мужчина.

— Мы Рыбаковы, — уточнила женщина. ~ — Очень приятно. Это, значит, вас перевели на террасу к рыженькой? . .

— Что еще за новости? — послышался из-за перегородки другой женский голос. — Кто вам дал право называть меня рыженькой? ..

— Прошу прощения, — сказал я. — Спокойной ночи. .

— Спокойной ночи! — донеслось откуда-то сверху, по-видимому, с чердака.

— Товарищи, давайте спать! — донесся новый голос, на сей раз откуда-то снизу, по всей вероятности, из погреба.

Утром, когда я проснулся, в доме было тихо. Все куда-то ушли. Е садике сидел дядя Коля. Он ремонтировал раскладушку.

— Доброе утречко, — кивнул дядя Коля. — Как чувствуете?

— Ничего. Жив, как видите.

— Проспали маленько. Теперь на пляже стоять придется.

— Пляж не автобус.

— Это верно. — согласился дядя Коля, — в автобусе попросторней. Вот лежачее место готовлю, гостей ожидаю.

— Еще гостей?.. Куда ж вы их денете?

— Найдем. Тут трое просились с вечера: муж, жена и мальчонка. Видите, вон собачья будка стоит большая. Если ее почудней раскрасить, получится вроде бы терем-теремок... Как Считаете, нельзя туда мальчонку на время поселить? А?

— Конечно, можно, — сказал я, — сажайте его в будку. А ночью, чтобы родители не беспокоились, привяжите его на цепь.

— На цепь? — рассеянно спросил дядя Коля. — Это зачем же?

— Чтоб будку не украли.

— Шутите, — вздохнул дядя Коля.

То-огда я еще шутил. Дня через два мне было уже не до шуток.

Для того, чтобы вы представили себе местный пляж, сделайте несложный опыт. Откройте банку шпрот и опрокиньте ее на тарелку. Этот натюрморт даст вам полное понятие.

Наивный человек, я пришел на пляж утром. Сочувственно поглядев на меня снизу вверх, коричневый от загара ветеран преподавал мне урок:

— Судя по цвету вашей кожи, юноша, вы здесь человек новый. Для получения места под солнцем вам надлежит явиться на пляж за часик до солнца. Сегодня-то вам повезло...

— В каком смысле?.

— Мне надо в кассу бежать за билетом. Так что ложитесь на мое место. А если ожидающие поднимут шум, я скажу, что вы были за мной и теперь ваша очередь лежать.

Та-ак началась моя жизнь дикаря. Памятуя Сашкину формулу «человек обретает силу в борьбе с трудностями», я быстро начал закаляться. С ночи я обеспечивал себе место на пляже. В очереди в столовую я укрепил волю и прилично загорел. Мне надоел мой жесткий топчан, более подходящий для разминки факира, чем для нормального отдыхающего. Простояв всего полдня, я взял напрокат кресло-кровать. В первый ж? вечер произошло техническое чудо. Когда я перевернулся с боку на бок, раздался треск, и кровать превратилась в кресло, зажав при этом отдельные части моего тела в пружинные тиски. Из мебельных объятий меня освободили супруга Рыбаковы.

За неделю до отъезда дядя Коля перевел меня из чулана на чердак. Там было прекрасно. Из слухового окна открывался живописный вид.

Итак, я жил на чердаке. Я жил один, это располагало к задумчивости и к желанию постричься в монахи, что, к слову говоря, сделать было значительно проще, чем постричься в местной парикмахерской. Пострижение в монахи потребовало бы значительно меньше времени.

Так вот, к вопросу об одиночестве. Я еще не сказал вам, что я очень подружился с той, которую легкомысленно назвал рыженькой. Она оказалась милой, остроумной девушкой, тоже москвичкой.

— Давайте встретим рассвет у моря, — как-то сказал я.

— Давайте! — согласилась она.

Ровно в полночь, не зажигая огня, я опустил ногу в люк, ведущий с чердака. Покрутив ногой, как ложечкой в стакане, я убедился, что приставной лесенки нет на месте. Ее, наверно, куда-то уволок хозяйственный дядя Коля. Тогда я вылез па крышу.

— Ку-ку! — услышал я снизу из темноты знакомый женский голос.

— Ку-ку! — ответа я и, повиснув на желобе, спрыгнул вниз, где, по моим расчетам, находились кусты.

Произошло следующее. Возле дома стояли, как выяснилось в дальнейшем, студент Ф. и его подруга студентка М. Они целовались. Я спрыгнул, не задев их, так как про-олетел чуть левой и попал прямо в бочку, полную дождевой воды.

Если бы влюбленные не целовались, они бы, верно, сразу закричали. Моя идиотская реплика «извините, кажется, я не туда попал!» вызвала у них Ц сперва легкое смятение, а потом страшный хохот.

А я,.. Когда я переоделся и ушел к морю с той, которая куковала в ночи, я вдруг заметил, что слегка за-аикаюсь. .

Но вы замечаете, у меня это уже проходят.

Сейчас и она и я — мы снова в Москве. Мы встречаемся ежедневно. Я счастлив и не сержусь на Сашку Шилобреева. Больше того, я ему благодарен. Я себя прекрасно чувствую. Я закалился, как сталь. И теперь мне, вернее нам, уже не страшен ни-икакой отдых.

Заметки и корреспонденции

Алмазное дно Щугора

— Когда в 1846 году после сильнейшей грозы на реке Чусовой был найден алмаз, граф Шувалов немедленно распорядился открыть здесь алмазный прииск. Увы, следующую находку пришлось ждать почти сто лет. И геологи пришли к мнению, что на Урале алмазов нет и быть не может. А они все-таки были. Время от времени алмазы находили на таежных речках, впадающих в Чусовую. Но находки были столь эпизодичны,.. И когда уже никто не верил в уральские алмазы, геологи нашли на Большом Щугоре россыпи, да еще какие россыпи! Дно небольшого притока Вишеры оказалось настоящей сокровищницей! В Якутии к алмазам шли медленно, но верно, там у геологов был надежный «проводник» — пироп. А на Вишере искали на ощупь, — заключил мой собеседник, главный геолог Такатинской поисковой партии Виктор Ветчанинов.

Моросил мелкий дождь. Новые «ЗИЛы», расплескивая колесами густую жижу, вывозили из алмазного карьера глину. Все было очень просто и буднично. Так же буднично выглядят и сами алмазы. Я держал их на ладони, и они тускло поблескивали. Обыкновенные стеклышки. С той лишь разницей, что за горсть таких «стеклышек» можно купить средней величины завод. Уральские алмазы котируются на мировом рынке так же высоко, как и бразильские. Они чище, тверже и, что главное, крупнее якутских. И тем не менее...

— И тем не менее, — продолжал Виктор Ветчанинов, — мы еще не раскрыли тайну уральских алмазов. Ведь пока найдены только россыпи. Богатые, но тем не менее россыпи.

А мы ищем коренное месторождение. Возможно, мы стоим на нем. А возможно, его вообще не существует. Уральские алмазы — сплошная головоломка, задача с энным количеством неизвестных. Здесь все непонятно. Непонятно, откуда взялись алмазы. На всем Западном Урале нет даже признаков изверженных пород. Без них не бывает кимберлитовых трубок, а трубки — это и есть коренное месторождение. Во всяком случае, так считалось до сих пор. Что же получается? Трубок в этом районе нет, а алмазы есть. Сейчас мнения геологов разделились. Одни считают, что уральские алмазы — «эмигранты», что их принесло со Среднерусской возвышенности. Другие утверждают, что уральские алмазы — самые настоящие «аборигены» и где-то здесь надо искать коренное месторождение. Мы ведем поиски на водоразделе Большого Щугора и еще двух близлежащих речек. Здесь обнаружена так называемая такатинская свита — древнейшие отложения, в которых, возможно, запрятано коренное месторождение. Назовем его условно «жилой». Кимберлитовую трубку мы здесь не найдем, но если найдем «жилу», это будет революцией в геологии алмазов! Вы представляете, что здесь начнется? Второй Мирный! А коренное месторождение обязательно должно быть, в этом я уверен. Ведь пока чем выше поднимается по Щугору драга, тем больше выход алмазов. В нынешнем году их намыли вдвое больше, чем в прошлом. Алмазный «эпицентр» явно находится где-то у Поименного камня. Вон он, наш красавец!

В эту минуту проглянуло солнце. Прямо перед нами высился Поименный камень — гора, увенчанная зубчатой грядой скал. Будет ли здесь второй Мирный?

В. КАДЖАЯ

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ, «СЕСКАР»!

Недавно в редакцию «Юности» пришла бандероль. Если письма геологов, по заверению очеркистов, пахнут тайгой, то этой бандероли сам бог велел пахнуть морем.

В бандероли лежало не что иное, как первый номер самодеятельного молодежного литературного журнала «Сескар» — по имени судна, где его задумали.

Кто же сотрудники и авторы журнала? Молодые парни, работающие в управлении Дальневосточной научно-промысловой перспективной разведки. Шесть месяцев в году, а то и больше они находятся в открытом море.

Как-то в одном из рейсов в Беринговом море в каюте «Сескара» и родилась эта идея — выпускать свой собственный журнал.

— Пишешь стихи, рассказы? А потом сжигаешь или прячешь в чемодан? Принеси к нам, посмотрим, обсудим...

— Был в Австралии, много интересного видел? Напиши для журнала путевые заметки.

Так ребята отобрали материал для первого номера «Сескара». Трудно отнести его к толстым журналам (в нем всего около тридцати машинописных страниц), но здесь есть и обращение главного редактора к читателям, и стихи, и прозаические этюды, и очерки, и критическая статья, и даже роман с продолжением.

«В море часто человек остается наедине с собой, со своими мыслями, — пишет главный редактор «Сескара» 24-летний гидролог Борис Шатов. — Иногда моряк берется за перо, чтобы выразить свои мысли, и чувства, и впечатления. Рождается стихотворение, рассказ, просто какой-то набросок. Писать и прятать под подушку становится неинтересно. Мы попытались создать свой журнал».

В редколлегию вошли моряки «Сескара»: 24-летний штурман Вячеслав Девятков, 23-летний ихтиолог Иван Серобаба, 25-летний ихтиолог Геннадий Солодовников, 19-летний гидрохимик Владимир Седов.

Журнал печатает произведения моряков своего судна, а когда в открытом море «Сескар» встречается с другими кораблями, редакция предлагает страницы своего журнала и

«посторонним» поэтам и рассказчикам. Так и получается: знакомятся с молодежью повстречавшегося судна, рассказывают о своем журнале, и желающие напечататься приносят свои произведения (разумеется, печатается не все, так как в «Сескаре» очень строгие редакторы).

«Конечно, мы не ставим себе целью стать профессиональными литераторами, — пишет Борис Шатов, — но попробовать свои силы в журнале, который издают и читают свои же товарищи, очень интересно и здорово».

Сейчас, где-то в водах Берингова или иного моря, в штиль, а может быть, в шторм плывет рыболовный траулер «Сескар», на котором ребята делают в свободное время очередной номер своего журнала. Пожелаем счастливого плавания «Сескару» — журналу и кораблю.

Л. ЛЫСЕНКО

САМЫЙ СМЕШНОЙ СЛУЧАЙ

Катя Мемлырогытна учится в школе-интернате на мысе Шмидта. Ей пятнадцать лет. Учительница литературы предложила недавно Кате и ее одноклассникам написать сочинение на такую тему: самый смешной случай в твоей жизни. Вот что написала Катя:

«...На зимние каникулы я ездила К отцу в тундру, попросила, что-

бы он разрешил мне попасть в стадо. Ночью шел снег, потом небо закрыл густой-густой туман. Я устала: целый день бегала по глубокому снегу. Решила отдохнуть. Сначала определила направление, в котором двигалось стадо, а потом зарылась в снег и уснула. Проспала я часов шесть. Открыла глаза, отряхнула кухлянку и торбаса от снега, осмотрелась и вижу, что стадо далеко-далеко от меня бежит напротив ветра. Солнце показалось над горизонтом. Я бегом к стаду. Когда поднялась на маленькую сопку, увидела только половину стада. Мне Стало страшно: где вторая половина? Я решила подняться на высокую гору. Оказывается, двое пастухов из другой бригады посадили оленей, которых я искала, около яранги. Спускалась я с горы медленно, мне было стыдно: как же это я проспала стадо? Подошла к пасту-, хам из нашей бригады. Я думала, они ничего не видели. Оказывается, они взяли мой бинокль, аркан, мешочек с едой. Они меня увидели, кричат мне: «Здравствуй, Катя, а где твое стадо?» А мне очень совестно, и я ничего не говорю. И I смешно: как же я проспала?»

Разбирая на уроке сочинение, учительница сказала:

— Мемлырогытна Катя. Ничего особенного.

Я разговаривал с Катей. Спросил:

— Какая была температура? Она задумалась:

— Градусов пятьдесят мороза.

Я вспомнил учительское: «Ничего особенного». У Чукотки своя мера вещей.

Г. ВОХМЯНИН

В КОМНАТЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

«У каждого из погибших, вероятно, есть на земле сердце, которое помнит его твердо, и в нем и живет мертвый». Это строчки из письма Е. А. Фисанович, жены командира подводной лодки И. И. Фисановича, Героя Советского Союза, подводника-североморца. Письмо адресовано молодым морякам, тем, кто сегодня стоит на страже северных рубежей страны. Письмо бережно хранится рядом с последним снимком Героя в Комнате боевой славы соединения подводных лодок Краснознаменного Северного флота.

Здесь, в этой Комнате, собраны сотни реликвий, воскрешающих боевой путь моряков-подводников.

Вот крышка торпедного аппарата подводной лодки «К-21», которой командовал Герой Советского Союза Н. А. Лунин. В июле 1942 года из этого аппарата была выпущена торпеда во вражеский линкор «Адмирал Тирпиц».

На подставке, под стеклом, потемневший от времени секстан командира дивизиона подводных лодок Героя Советского Союза Магомеда Гаджпева. Двадцать боевых выходов успел совершить Гаджиев. Десять вражеских кораблей нашли могилу на дне моря Баренца от торпедных залпов и меткого артиллерийского огня его подводных лодок.

Каждый вечер па поверке старшина называет имя Гаджиева, навечно зачисленного в списки соединения. И правофланговый отвечает:

— Погиб смертью храбрых в боях за Родину!

Сурово море Баренца, тяжела служба здесь, на краю советской земли. Многосуточные автономные плавания, постоянная боевая учеба, сложная современная военная техника — все это под силу только волевым, мужественным людям.

Семь Героев Советского Союза дали подводники Севера в Отечественную войну. Двенадцать подводных лодок стали краснознаменными, восемь носили на своих флагштоках знамя гвардии.

Скупые строчки военных донесений, запечатленные на стендах Комнаты боевой славы соединения, составляют для потомков немеркнущую в годах летопись.

Вот строчки этой летописи:

«14 июля 1941 года подводная лодка «Щ-402» под командованием старшего лейтенанта Н. Г. Столбова открыла боевой счет подводников Северного флота, потопив фашистский транспорт. .»

«28 мая 1942 года подводная лодка «М-176» под командованием капитана 3-го ранга И. Л. Бондаревича в беспрецедентном подводном поединке, продолжавшемся около четырех часов, потопила фашистскую лодку...»

«14 сентября 1943 года торпедист подводной лодки «Щ-404» старший краснофлотец Сергей Камышев спас корабль, обезвредив в боевом походе торпеду, сработавшую и застрявшую при залпе в торпедном аппарате...»

Около двухсот пятидесяти потопленных и 20 серьезно поврежденных вражеских судов на счету подводников-североморцев. Тактика «волчьих стай», которой кичились немецкие субмарины, была сокрушена.

В 1943 году Северный флот пополнился новыми подводными лодками, построенными на личные сбережения советских людей. Вошли в строй «Челябинский комсомолец», «Ленинский комсомол» и другие лодки типа «М» — «малютки», как окрестили их на флоте.

Десятки боевых выходов, десятки тысяч тонн вражеского тоннажа, пущенного на дно, — вот итог их боевой деятельности в годы войны. И сейчас в составе флота есть корабли, носящие эти имена. Конечно, они теперь далеко не «малютки». Достаточно вспомнить хотя бы легендарный поход атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» к Северному полюсу. Но как и в пору войны, на эти лодки приходят служить парни по комсомольским путевкам. И нет среди них слабых духом, как не было их в годы суровых военных испытаний.

Есть неподалеку от Комнаты боевой славы обелиск в память о погибших героях-подводниках. Создал его автор памятника Карлу Марксу — лауреат Ленинской премии Л. Е. Кербель в бытность свою краснофлотцем. Скорбно и мужественно стоит возле приспущенного корабельного флага моряк-североморец, как бы олицетворяя верность памяти погибших.

Живы традиции моряков-подводников, жива память об их боевых делах в сердце каждого североморца. До сих пор поют подводники песню, написанную Героем Советского Союза И. И. Фисановичем:

Нет выше счастья, чем борьба

с врагами,
И нет бойцов подводников
смелей,
И нет нам тверже почвы
под ногами,
Чем палубы подводных
кораблей.

Вот, пожалуй, и весь рассказ о Комнате боевой славы подводников-североморцев, погибших, но незабываемых, мужественных покорителей студеных глубин моря Баренца, чьи жизни светят нам, как маячные огни...

Виктор ИЛЬИН

КЫЗЫЛКУМСКИЙ извозчик

В Газли, откуда начинался мой путь к геологам пустыни, мне предложили на выбор два вида транспорта: вертолет или «танк» — огромные вездеходы такого типа тянут обычно на парадах по Красной площади самые большие ракеты. Я выбрал «танк»: хотелось поближе увидеть пустыню.

День уже клонился к вечеру, а Юра Корнев, водитель вездехода, не спешил с выездом:

— Ведь в спину же ветер!..

— Попутный, значит. Быстрее доедем.

— Только не в пустыне. И он рассказал.

Это случилось в феврале. Юра вез геологам продукты. Дорога шла по крутому берегу над Аму-Дарьей. До поселка оставалось полчаса езды, когда вдруг потянул ветерок, подобный сегодняшнему, легкий, но в спину. Пыль, поднятая гусеницами, обгоняла машину, и водитель не видел даже край капота. Переждать ветер было бессмысленно: он мог продолжаться и сутки и двое.

Юра сбросил скорость, двигался теперь буквально на ощупь, по звуку мотора определяя, когда вездеход сползал с накатанной тракторами дороги на барханы.

Обрыва он не увидел и не мог увидеть. Он просто почувствовал, что вездеход начало кренить, а через мгновение очистилось ветровое стекло: пыль осталась наверху, машина падала с обрыва. Последнее, что он успел увидеть, — это уступ, и как-то спокойно подумал, что об него машина ударится непременно. Он падал с высоты 38 метров.

Очнулся от холода. Машина упала в ледяную воду Аму-Дарьи, рядом с берегом. Потом он снова терял сознание и ненадолго приходил в себя. Раза два ему слышалось, что вдалеке кто-то кричит его имя. Его действительно искали, но он не мог отозваться...

...Когда мы добрались с Юрой до поселка геологов Кыз-Калы, мне пришлось ночевать в радиорубке. Это была беспокойная ночь. На одной из буровых произошла авария, и туда спешили тракторы, вездеходы — тянули необходимый инструмент, оборудование. В динамике бились взволнованные голоса — мужские, женские: из одного поселка ушла машина, в другой еще не приходила. Многие не спали в ту ночь, тревожась за шоферов, которые находились одни в пустыне. И было очень приятно ощущать эту солидарность людей, и мне уже было легко представить тревогу геологов в тот день, когда машина Юрия Корнева не пришла в поселок.

...Вездеход удалось разыскать спасательной группе, в которую входили шофер Утеген Картманбетов, медсестра Надежда Горазова и рабочие нефтеразведки Зульнар Тураев и Владимир Родионов. Они не очень-то верили, что водитель жив, когда, стоя по колено в ледяной воде, лихорадочно выламывали заклинившиеся двери кабины. У Юрия была разбита голова, поломаны четыре ребра, ключица, лопатка, но он был жив. Они

провели рядом с ним долгие, тревожные часы — ждали, пока утихнет ветер и придет вертолет...

Наш рейс был ею первым рейсом после того падения с обрыва. Мы дождались, пока ветерок прекратится, но была уже ночь, и мы немного заплутались. Я вообще удивлялся, как можно ориентироваться в этом однообразии рыжего песка, поросшего колючками саксаула. Юра же смущенно извинялся:

— Просто я впервые за девять месяцев еду.

А потом по горизонту запылали свечами вышки геологов. И вдруг совершенно неожиданно свет фары уткнулся в стенку: вагончик, за ним другой — поселок Кыз-Кала.

Утром мне уже не пришлось увидеть Юрия: он повез на одну из буровых глину. Я очень жалел, что не удалось его сфотографировать и даже как следует поговорить: рев вездехода мешал.

Потом я знакомился с работой геологов, такой романтической со стороны, а на самом деле просто тяжелой. Тяжелой не столько из-за природных условий пустыни: пятьдесят градусов жары, песчаные бури, — а потому, что план торопит, что постоянно летит какой-то подшипник, а ждать, пока подвезут новый, некогда, потому что буровая дает вдруг фонтан и надо очень спешить: в любой момент может случиться взрыв или пожар. Так вот, знакомясь с работой геологов, я вспоминал слова Юры Корнева:

— Какая уж тут романтика? Просто пустыня, и я в ней вроде извозчика.

А. КРАМИНОВ

С ПОРТ

Инга Воронина (Артамонова)

«...Я учусь
ходить по земле»

Четырехкратная чемпионка мира по скоростному бегу на коньках Инга Воронина (Артамонова), трагически погибшая в начале этого года, заканчивала автобиографическую книгу «...Я учусь ходить по земле». Выдержки из этой книги комментирует журналист Анатолий Юсин, который помогал Инге работать над рукописью и подготовил эту публикацию.

На. вопрос, как ты, Инга, стала четырежды чемпионкой мира, я отвечаю обычно, что выросла в старом московском доме на Петровке, из окна которого виден каток.

Впервые я встала на коньки, когда мне было шесть лет. Жила в нашем доме девочка Валя Рожкова. Мы считали ее богатой и интеллигентной, потому что у нее в квартире на стенке висел телефон. А еще у Вали были коньки «английский спорт». Она прикручивала коньки к валенкам и носилась по двору. Нам всем казалось, что проехать хотя бы на одном коньке — самое большое счастье,.. Но двор был большой, ребят много, и Валя установила очередь. А сама была за тренера, кричала: — Не гнись! Не отклоняйся назад! Только через год мне посчастливилось: Валя дала сразу оба конька. Я забежала к ней утром еще до школы и целый час каталась по темной улице. И ни разу не упала. Но когда в школе я похвалилась, что катаюсь лучше других, меня подняли на смех. Я злилась: смеется тот, кто смеется последним. И решила, что обязательно буду кататься лучше всех во дворе, а может быть, и на Петровке...

Мама обрадовалась, что я увлеклась коньками: для моих больных легких был необходим свежий воздух, физкультура. Ведь до этого, несмотря на требования врачей систематически заниматься спортом, я упрячилась и кричала, что ненавижу спорт.

Но вот где достать коньки? Мама вспомнила, что у женщины, которая с ней работает, сохранились коньки сыновей. Сыновья тети Лизы не вернулись с войны, и эти коньки были бесконечно дороги ей. Глотая слезы, она долго рассказывала нам о сыновьях, показывала коньки.

— Дайте мне их на неделю, — вдруг решила я, — научусь кататься и принесу вам.

— Какой у тебя размер?

— Тридцать четвертый.

— А здесь самый маленький сороковой, — сказала тетя Лиза и опять заплакала. — Они ведь уже большими были, мои мальчики..

И я стала обладательницей «английского спорта». Вечером, когда мама ушла с моим младшим братом Вовкой, я, утопая в сороковом размере, три часа ходила по паркету, подражала скороходам, за которыми следила из своего окна.

Увидав истерзанный паркет, мама наказала меня.

— Целую неделю не будешь ходить на каток. Поняла?

В тот день, когда истек срок наказания, я прибежала из школы и... заметила на паркете свежие следы от коньков. Я подлетела к братцу и дала ему затрещину.

— Ты наследил, — закричала, — а мама опять меня на каток не пустит!

— Я сам признаюсь, — пообещал Вовка.

— Так она тебе и поверит!

— И поверит!

Когда мама вошла в комнату и увидела исполосованный пол, она направилась к моей кровати, под которой обычно лежали коньки. Мама уже искала их, когда из другого угла выполз на коньках Вовка, Он сумел натянуть ботинки с коньками на свои валенки. Было смешно, и мама забыла, что она хотела наказать меня.

Брат подал идею. Я обходилась теперь без веревок: ботинки и без того плотно сидели на валенках. Я выглядела, очевидно, комично. Но какое мне было дело до этого!

Так каталась я примерно лет до двенадцати. Коньки целиком захватили меня, и в шестом классе я отвечала на школьную анкету:

«Ваше любимое занятие?»

«Катание на коньках».

«Ваши любимые книги?»

«Учебники по конькобежному спорту».

«Ваши любимые писатели?»

«Ипполитов, Кудрявцев и Соколов (авторы учебников по конькам)».

«Ваши любимые герои?»

«Струнников, Мельников, Капчинский, Аниканов, Кудрявцев (чемпионы мира и Советского Союза по конькам)».

А знаете, как проводила я воскресенье? С восьми утра и до трех бегала на нашем динамовском катке. После трех, наскоро перекусив, мчалась на лед парка Центрального Дома Советской Армии. Вечером возвращалась на Петровку, где к тому времени уже собиралась компания москвских пижонов, которые фигурили, прыгали через скамейки... Я не отставала от них.

Денег на билет у меня, разумеется, не было. Я перепрыгивала через забор. Однажды, только я перемахнула через ограду, меня окликнул высокий мужчина. «Наверное, переодетый милиционер, — подумала я, — надо бежать». И убежала. Но вскоре заметила, что за мной гоняется другой парень. «Ага, сговорились!» — мелькнуло в голове. И я помчалась против движения, а затем, когда опасность миновала, озорства ради подошла к «переодетому милиционеру».

— Что, не поймал.Г?

— И хорошо, что не поймал, — засмеялся незнакомец.

— Чего уж хорошего!

— А то, что ты мне нравишься, — сказал он.

— Вы мне тоже! — отрезала я.

— Вот и отлично, — сказал он и протянул руку, — будем знакомы. Павел Михайлович Санин, тренер «Юного динамовца».

— По конькам? — спросила я обрадованно.

— Нет, я тренирую гребцов.

— Значит, вы обратились не по адресу.

— Это почему?

— Я люблю только коньки.

— Но ты же не знаешь других видов спорта. Попробуй — и тебе обязательно понравится академическая гребля, да и речной воздух полезен тебе. Договорклись?

— А вы и про туберкулез знаете? — удивилась я.

— Я знаю про все. И с этого дня ты будешь меня слушаться. Ладно?

— Попытаюсь...

Так Инга занялась греблей и снова вернулась к конькам, когда ей было уже восемнадцать. Приведу выдержки из главы, в которой Инга рассказывает, как десять лет назад, в 1956 году, она стала впервые чемпионкой страны по конькам. Эта история началась на летних сборах конькобежцев, где Инга оказалась благодаря счастливой случайности. Она приехала позже других.

...Поезд пришел вечером. Ну надо же! Где устроиться? Переночевала прямо на берегу моря.

Утром узнала, где остановились конькобежцы, и пошла на их базу. В тот же день начала тренироваться. Меня поразило, что конькобежцы трудились на тренировках гораздо меньше, чем гребцы: побросали камни, которые им заменяли диски и ядра, попрыгали, постучали в волейбол, сделали несколько имитаций — и все.

— И это все? — спросила я у Рыловой.

— Неужели тебе мало?

— Мало! У нас, гребцов, прогулки по сорок километров в день считались нормой.

Я взгрустнула, вспомнив гребцов. Действительно, там, несмотря на колоссальные объемы тренировок, было легче. Нас на восьмерке было восемь друзей. Если я уставала, то могла немножко «подсачковать», отдохнуть. А когда уставал кто-то другой, я работала. Здесь же, в коньках, другое. Каждый спортсмен тренировался самостоятельно, следил только за собой. Если ты чего-то недоработывала на тренировках, то сама расплачивалась. Каждый, работая отдельно, улучшал свой результат. А это настораживало его! Я товарищей, и они хотели сравняться с ним. Перестраивали свои тренировки, улучшали технику, делали гибче тактику...

Эти свои мысли я высказала вслух. Известной мировой рекордсменке (не буду называть ее имени) мои рассуждения не понравились. Вспомнив о своих заслугах, которые я отлично знала, мировая рекордсменка спросила меня:

— А ты почему здесь? Разве тебя включили в сборную страны? Странно все это: сюда приехали мастера и заслуженные мастера, а ты ничем не примечательная перворазрядница. Ты хоть в сборной? — повторила она вопрос.

— Не знаю, — искренне ответила я.

— А заслуги? У тебя есть какие-нибудь заслуги? — не успокаивалась мировая рекордсменка.

— Я такой же мастер спорта, как и ты!

— По гребле? — засмеялась мировая рекордсмен-1 ка. — Ты бы еще шахматами хвалилась. Я про коньки говорю.

— Таких заслуг у меня пока нет.

— Девочки, вы слышали, она сказала «пока нет»! — обратилась рекордсменка к Нине Ясашиной и Гале Савинцевой.

Девушки промолчали. Я же, задетая за живое этими словами, не хотела смириться с мыслью, что в спорте может быть разделение на ранги. Ведь у нас в гребле такого не могло случиться! В пятьдесят втором году меня, неопытную школьницу, тренер команды мастеров Янина Наумова посадила за гребной в восьмерку, посадила на самый ответственный номер. И никто из подруг не вздумал возразить. Раз тренер считает, что на этом месте может работать перворазрядница, значит, это правильно, и никакого обсуждения быть не может. То, что тренер была права, подтвердилось на следующий год, когда наша лодка первой пришла к створу на чемпионате страны, а я завоевала звание мастера спорта... Все эти воспоминания только распалили меня, и я сказала очень обидные для рекордсменки слова:

— Я тебя очень уважаю как бойца, преклоняюсь перед твоими рекордами, но я хочу тебе сказать: если ты желаешь, то уже этой зимой мы встретимся на беговой дорожке и поборемся на равных. Посмотрим, кто будет впереди: ты или я.

Сказала, и мне стало стыдно, неловко за себя, свою несдержанность, хвастливость...

Готовилась я к чемпионату страны в Москве. Нина Ясашина, свидетельница того злосчастного разговора, меня спрашивала:

— Ну как?

Она спрашивала, готова ли я к спору с мировой рекордсменкой.

Я отмалчивалась, но упорно тренировалась. Обычно пристраивалась на беговой дорожке к Олегу Гончаренко и каталась за ним. Олег делал свое дело, не обращая на меня внимания. И это было отлично. Я старалась копировать каждое движение двухкратного чемпиона мира. Училась у него настойчивости, трудолюбию. Я тренировалась так много, что, когда приходила домой, не хотелось ни есть, ни спать. И вот первенство страны. Стать чемпионкой я даже не мечтала. В Свердловск после своей блистательной победы на последнем первенстве мира приехала Соня Кондакова, здесь же были экс-чемпионки мира Римма Жукова и Лида Селихова. И все они сильны, уверены в себе. А я?..

Рекордсменка мира, с которой я поспорила, бежала в группе сильнейших. Она уверенно заняла первое место на пятисотке, а я была лишь одиннадцатой. Меня «убило» мое время — 50,8 секунды. Три с половиной секунды проиграла я победительнице. Чтобы догнать ее, мне надо на «тройке» (дистанция 3 000 метров. — А. Ю.) выиграть почти двести метров!

И снова я поняла, насколько погорячилась летом. Отыграть потерянное почти невысказано. Больше того, важно не проиграть и тысячу метров, а именно здесь моя соперница не знала себе равных в мире.

«Звезды» первыми стартовали на «полуторке». Выяснив отношения между собой, они ушли в раздевалку, дожидаясь церемонии вручения медалей, а в это время мы, аутсайдеры, продолжали борьбу на льду.

Никто не следил за моим бегом, не помогал мне. Лишь судьи кричали, сколько осталось кругов до финиша. Когда я закончила дистанцию, диктор, откашлявшись, сказал в микрофон:

— Кажется, не обошлось без сенсации. Спohватившись, он выключил микрофон и стал дожидаться решения судей-секундометристов. Наконец я услышала:

— Второе место и серебряную медаль завоевала юная москвичка Инга Артамонова!

Какая-то дебютантка опередила чуть ли не всех «звезд». Бывают же случайности на белом свете! Теперь у меня появилась надежда. После двух дистанций Соня Кондакова занимала первое место, рекордсменка мира — четвертое, а я — скромное пятое.

«Хорошо бы завтра выиграть лишь у рекордсменки. Пусть я займу четвертое, а она пятое место». С этой мыслью я уснула.

Наступил решающий день. Опять же «звезды», выяснив свои взаимоотношения, ушли в раздевалку. И снова, как и вчера, во время моего забега не было ни одной спортсменки из сборной страны: очевидно, они расценили мою серебряную медаль как случайность. Они не верили, что после унылых секунд в спринте я смогу пробежать хорошо тысячу метров.

На льду я увидела Нину Ясашину. Она шепнула:

— Помни о споре. А чем бес не шутит! Ах, этот уговор!

Выстрел. Я зачатила ногами, стала работать руками, стремясь вырваться. Работала я неумно, неэкономично, но была сила, задор...

После финиша я упала — стукнулась о вешалку. Шубы посыпались на меня. Я еще лежала на льду, когда диктор торжественным голосом, работая «под Левитана», объявил:

— Новый мировой рекорд установила москвичка Инга Артамонова...

В раздевалке ко мне подбежала Нина:

— Ты умница! Теперь станешь чемпионкой страны.

— Скажешь тоже!

Для этого мне нужно было ни много ни мало — опередить двух чемпионки мира. Но ограничиться только победой в споре я уже не могла. А что, если замахнуться на абсолютную победу? Но затем я испугалась этой мысли. Такого еще не было, чтобы с первым разрядом выигрывать у всех в стране. А все же...

Когда я вышла на старт последней дистанции, на стадионе творилось что-то невообразимое. В раздевалке не осталось ни одной участницы. Было приятно сознавать, что все заслуженные мастера признали во мне соперницу и ждут моих секунд.

Я не помню, как бежала, как выигрывала. Сейчас, я за далью десяти лет, вижу лишь пьедестал почета и себя, гордую, красивую. Обязательно красивую.

Я набрала тогда 206,016 очка. Сегодня, когда любая уважающая себя спортсменка выбегает из двухсот очков, этот результат вызывает улыбку. Но тогда эти 206 очков были мировым рекордом.

Два года спустя, в Швеции, Инга защищает свой титул чемпионки мира. Да, к тому времени она была уже королевой льда, выиграв в пятьдесят седьмом году в Иматре чемпионат мира.

На льду Кристининхамна судьба лаврового венка решалась в марафоне.

...После трех дистанций я шла на втором месте. Чтобы повторить прошлогодний успех, мне нужно было выиграть у Тамары Рыловой две секунды. Задача для меня вполне выполнимая. В тот год я не встречала сопротивления на «трешке». И все же перед стартом поволновалась изрядно.

Рыловой не повезло: она бежала передо мной. Я составила свой график с таким расчетом, чтобы выиграть у Тамары три секунды. Не больше, но и не меньше. Забег был последним. Опередить меня, если я уложусь в график, уже никто не мог. Мне не хотелось «выкладываться» до конца. Ведь сезон не кончался первенством мира. Впереди были нелегкие старты.

Со мной в паре — молодая шведская бегунья. В этих соревнованиях она выступала не лучшим образом, и у нее не было никаких шансов попасть даже в десятку. Тем не менее шведы, которые оба дня болели только за меня, в этом забеге хотели видеть победительницей свою землячку.

Я встала. Приготовилась. Замерла на линии. «Тебе нужна только победа. Спокойно. Не рвись. Держись графика Тамары. Сейчас услышишь - выстрел — резко уходи и спокойно катайся все круги», — говорила я себе.

Вместо выстрела я услышала собачий лай. Оглянулась: на меня с трибун смотрели зеленые глаза собак. Этих собак было много, шведы берут с собой как трибуны собак.

«Собаки! — успокаиваю себя. — Милые, ласковые друзья человека! Никому не бросятся на спину. Всегда предпочитают только честную борьбу, встречаются с обидчиком лишь лицом к лицу. Что ты разволновалась?»

Но собаки почувствовали, что я их побаиваюсь: они заерзали, начали скулить. И теперь я не на шутку испугалась.

«А вдруг шведы, которые хотят победы своей землячки, спустят собак? Что будет?» — пронеслось в голове.

А у стартера как назло заело пистолет. Я не знала, когда раздастся выстрел. Стою, не смотрю на собак. О беге уже не думаю. Весь график вылетел из головы.

«Будь что будет, — решаю. — Убегу, если надо».

И только я так подумала, как один пес вырвался из рук хозяина и помчался к старту. Едва успели перехватить...

Вместе с выстрелом я рванулась вперед, так яростно заработав руками, что ни одна собака уже не в силах была догнать меня. Пробегая мимо того места, где собаки никак не хотели успокоиться, я закрывала глаза и чистила ногами. Хватит ли сил на три километра? Я не думала. Хотелось быстрее закончить бег, чтобы отделаться от тошнотворного чувства страха.

Я выиграла у Рыловой не три, а десять секунд! На пресс-конференции меня спросили:

— Что помогло вам так быстро пробежать три километра?

— Собаки.

— Кто? — переспросил редактор вечерней газеты.

— Собаки. Помните, перед стартом они залаяли, требуя отличного результата?

— Вы боялись этих собак? — спросил швед, загадочно улыбаясь.

— Я ведь женщина, господа!

— Но вы советская женщина! — сказал кто-то торжественно.

— Ваш намек поняла: нет, я не боялась собак, но все же они помогли мне выиграть.

Такой ответ вас удовлетворит?

— О, о'кэй! Ол райт! — сказал редактор вечерней газеты и заторопился к выходу.

Вечером в городском клубе на банкете в честь участниц чемпионата мира он протянул мне пахнущий краской свежий номер своей газеты. Под большой шапкой, которая возвещала о том, что Инга Артамонова снова стала чемпионкой мира, я увидела странный снимок. Это был даже не снимок, а фотомонтаж. По моим ногам, безжалостно удлинненным при печатании, бежали собаки. А подпись гласила:

«Только наши шведские собаки помогли очаровательной Инге стать чемпионкой мира!»

Уезжая из Кристининхамна, я обратила внимание на собак, которых вели по другой стороне улицы. Собаки были в ярких бантах. Они ступали величественно и гордо, чувствуя свою собачью неотразимость.

— Какая прелесть! — удивилась я. — Кто эти собаки? Почему о них так заботятся?

— О миссис, эти собаки — ваши друзья! — воскликнул переводчик. — Не будь их, вы не стали бы дважды чемпионкой. Теперь собаки стали гордостью города. Муниципалитет будет заботиться о них. О, мы в Швеции умеем ценить заслуги!

И тут величественные собаки, которым посчастливилось в день чемпионата полаять на будущую победительницу и тем заслужить уважение современников, эти собаки, как по команде, подошли к телеграфному столбу, задрали ноги, радостные и счастливые, сделали свое дело, а потом залаяли дружно и визгливо: «Ав-ав-ав!»

В переводе на человеческий язык это означало: «Мы самые великие собаки в мире! Мы можем дослать, что хотим и где хотим. Мы гав, гав, гав!..»

Феноменальные рекорды, которые Инга установила на высокогорном катке Медео за два январских дня 1962 года, будут не скоро побиты. Л если учесть, что до этого у Инги была трехлетняя полоса неудач, и что Ингу уже «списали», и почти никто не верил в нее, и никто не ждал от нее таких потрясающих секунд!..

Может быть, рекорды Инги на 500 метров (44,9 сек.) и на 1 500 метров (2 мин. 19,0 сек.) еще более удивительны, чем ее рекорд на 3 000 метров, во я предлагаю этот заключительный эпизод потому, «о в нем рассказывается о поединке двух великих спортсменок нашего времени: волею жребия Инга бежала в одной паре с Лидией Скобликовой.

Утром я бегу после Лиды. Разрабатываю с тренером план. Стараюсь не волноваться. Честно говоря, уверена, что побью олимпийскую чемпионку и на дистанции 1 000 метров! Ох уж эта мне самоуверенность! А что? Разве плохо? А если эта уверенность Ют сознания силы? Оттого, что летом ты набегала кроссов больше, чем Лида, и подняла больше тонн металла!..

Сейчас важно сохранить энергию до выстрела, стартера. А потом — суметь ринуться в атаку. Победить и успокоиться! И ждать любимого марафона. Вот где будет генеральное сражение. «Трешку» я бегу с Лидой в одном забеге — лицом к лицу. Надо взять реванш за все прошлые неудачи. И не только победить, но и выиграть с-таким преимуществом, чтобы не оставить места для любых разговоров о случайностях и везениях, чтобы сказать себе: «Ты победила потому, что сильнее! Вы бежали на одной дорожке, при одинаковом ветре! Лицом к лицу».

— Не хватит ли патетики? — прерываю себя. — Делить шкуру неубитого медведя! Нетерпеливая! — но почему-то последнее слово я говорю, кокетничая. На таких соревнованиях, как первенство страны, важна разумная и гибкая тактика. Пробеги я тысячу метров в полную силу, у меня не осталось бы сил «тройку». А ведь встречаться-то с Лидой Скобликовой! Ее не победишь только одной силой, одной техникой. Мне необходимо было выработать новое секретное оружие — разумную тактику. И МЫ решили с тренером: пусть я не покажу на тысяче метров отличного результата. Мне важно выиграть дистанцию. Я уже буду чемпионкой страны. А Лида решит, что, очевидно, я не в такой боевой форме, как вчера. Устала. Кроме того, Лида должна подумать, что, уже будучи чемпионкой страны, я не очень-то стану стремиться к победе. Следовательно, если Лида составит график забега, ориентируясь на мировой рекорд, я не буду ей особенно мешать. В А что при таком «раскладе» должна делать я? В Мы бежим в паре. Надо немного похандрить, сделать вид, что тебе все надоело, что ты не чаешь, когда закроется чемпионат. И еще — это очень важно — надо на первых порах отстать от Лиды. Пусть она поработает в полную силу, а я уже на второй половине дистанции, «отсидевшись», сделаю резкий рывок и помчусь на побитие третьего мирового рекорда.

Как же этот план осуществлялся? Я выиграла тысячу метров без мирового рекорда, но выиграла. И, скромно говоря, набрала после трех дистанций великолепную сумму — 138,033 очка. Можно ли желать лучшего? Если учесть, что Римская империя погибла от роскоши...

На разминке я пытаюсь выглядеть усталой и безразличной. И лед мне не нравится...

— Зря вы на лед обижаетесь, — говорит мне Алексей Васильевич Загоскин, знаменитый мастер подготовки льда, который ушел было на пенсию, но, узнав, что очередное первенство страны состоится в Медео, махнул рукой на свои фикусы-цветочки и залил нам совершенно сказочный лед.

— Чувствуете, подмораживает! Верьте моему опыту: разменяете сто девяносто очков.

Я было оживилась, но в ту минуту мимо проехала Лида, и снова, изобразив безразличие, я сказала Загоскину:

— Видимо, не придется мне разменять сто девяносто. Устала. Вот, может быть, Лида...

Старый заливщик бегло взглянул на меня:

— Слова-то говоришь, а глаза бегают и щеки пунцовые. Кого обмануть хочешь? Скобликову, к примеру, обманешь, а меня и не пытайся.

Перед стартом мне принесли телеграмму: «Поздравляю штурмом рекордов. Так держать! Римма Жукова».

Какая же она умница, Римма Михайловна! Десять лет была среди сильнейших, а, уйдя из спорта, оставила после себя рекорд на «тройку». Он равен 5 минутам 13,8 секунды. И до сих пор не побит. И вот сейчас Римма присылает мне телеграмму, в которой желает фактически побить ее рекорд!..

...Лида начинает бег по малой дорожке. Я уже вижу, что она приложит все силы, чтоб победить. Отпускаю олимпийскую чемпионку вперед. Два с половиной круга — Скобликова впереди. Проигрываю ей две секунды. Не поздно ли будет спуртовать? Тренер подает знак: все хорошо, не рвись, не волнуйся!

Это означает, что мы обе опережаем график Риммы Жуковой, идем выше мирового рекорда.

Пять кругов позади. Лида маячит впереди. Ценой больших усилий она сохраняет преимущество в одну десятую долю секунды до последнего круга.

— Может, пора? — смотрю на тренера.

Он кивает. И, хотя силы уже на исходе, я сразу же достаю олимпийскую чемпионку.

На последнем круге я выиграла у Скобликовой 2,8 секунды. Для любого, кто имеет представление о коньках, ясно, что значат эти секунды!

Итак, задача выполнена! Вместе с третьим рекордом пришел и четвертый: первой из женщин мира я разменяла рекорд многоборья, выбравшись из ста девяносто очков.

Как же мне удалось это? Весну ли зимой повстречала? Не знаю. Знаю другое: все это я сделала на Медео — до сих пор самом несчастливом для меня катке. Медео — это мой рок, Медео — свидетель отчаяния, Медео — самый опасный мой соперник. Высокогорный Медео постоянно напоминал мне о туберкулезе, которым я несколько лет болела. Здесь и родилась легенда о том, что мне не по силам высокогорье.

И вот я победила тебя, Медео. И не только тебя. Я победила Лиду Скобликову, которой именно здесь, на Медео, я проиграла два года назад, перед Олимпийскими играми в Скво Вэлл.и.

Медео! Ты стал для меня теперь катком рекордов, счастья!

...Из самой трудной главы. Трехкратная чемпионка мира вновь не попала на Олимпийские игры! Мы обдумывали эту главу двадцать вечеров. Ссорились, убеждали, обвиняли друг друга в трусости и неискренности. Наконец решили, что Инга будет писать, ничего не скрывая.

Вот теперь думай, сопоставляй, вспоминай. Для меня високосные годы не радостны: я или болею, валяюсь по госпиталям, или плохо бегу, перестаю верить в себя. Странно, все эти метаморфозы происходят со мной именно в високосные — олимпийские — годы. Жизнь спортсмена не очень уж долгая. В двадцать семь тебе уже готовят замену, называют тебя ветераном. Хорошо, если ты выигрываешь, остаешься по-прежнему на голову сильнее противников. Тогда ты можешь тренироваться спокойно, не форсируя нагрузок, не ломая настроения. Но когда у тебя появляются достойные соперники?.. Собственно, так и должно быть. Раз есть соперники, значит, будут борьба и новые рекорды. Плохо лишь, что когда у тебя есть замена, то тобой не очень уже дорожат, придираются к мелочам, треплют нервы, дают понять, что спорт мало потеряет, если ты уйдешь из него.

А что делаешь ты? Пробираешь остаться в спорте, показываешь такие секунды, которые тебе не снились и в двадцать лет. Ты все отдаешь спорту, но... тебе-то уже двадцать семь. Глупо этого не видеть... Сплошной понедельник...

Сборная страны сейчас в Иркутске. «Тренируются, счастливики», — завидую им. Я тоже должна была лететь со всеми, был уже билет на самолет. И вдруг неожиданный приступ, больница, тоска от ожидания.

Сдав летнюю сессию, я уехала отдыхать к морю. Бегала по песчаным дюнам, тренировалась. И тогда-то впервые почувствовала: что-то во мне сломалось, болит и жжет внутри. Но я продолжала тренироваться.

И вот приступ перед отлетом в Иркутск. Меня положили в клинику, нашли язву.

Вот теперь думай... Я достигла вершины спортивной формы в подготовительный период, готова была выйти на лед — время торопило. Ведь в последних числах января в Инсбруке вспыхнет олимпийский факел. Я мечтала об олимпийском золоте. Но, видно, зря: я забывала, что начался високосный год...

Профессор лечил меня сном. Это ужасно, когда заставляют спать человека, который не любит спать.

Целый месяц я оставалась наедине со своими мыслями, нервничала, завидовала, подчас в мыслях была несправедлива по отношению к подругам, которые уехали в Забайкалье. Я стремилась вырваться из больницы, но профессор не шел на уступки. Да я сама все понимала: три недели назад могла пробежать кросс в двадцать километров и не устать, а тут стоив мне подняться на четвертый этаж больницы без лифта, и прямо рвется сердце, а задыхаться начинала уже на втором этаже...

«Быть может, уйти из спорта, поставить жирную точку? Сколько можно побеждать?». Я думала и об этом. Думала, ворочаясь на больничной койке, думала, когда вышла из клиники. И наконец решила: все, довольно, тренироваться не буду. Сказка кончилась. Две слезинки — конец ее. И все!

Я решила не тренироваться. Но не учла, что уже не могу жить без коньков. И я выстаивала очереди на массовый каток в Лужниках, брала билет за 25 копеек и терялась в толпе конькобежцев. Никто не знал, что я чемпионка мира, и я могла кататься свободно, не напрягаться.

Однажды я увидела на льду человека лет сорока. Он учился стоять на коньках. Рядом с ним был мальчик, который все время показывал на меня и делал какие-то движения, пытаясь копировать мой бег. Но, очевидно, педагогических способностей юному тренеру не доставало, его ученик чувствовал себя ваз льду по-прежнему неуверенно. Я подъехала к этому мужчине, показала технику посадки, прокатилась с ним круга два и ушла в раздевалку.

Дня через три мы снова встретились на льду. И опять я помогала ему, советовала. Невольно разговорившись, мы познакомились:

— Воронина.

— Мосолов.

— Тот самый летчик?

— Та самая чемпионка?

— Как ваше самочувствие? — спрашиваю я Мосолова. — Беспокоят ноги, руки? — Говорила что-то не-: связанное, краснела, никак не могла поверить, что передо мной Мосолов, самый быстрый и самый «высотный» летчик мира, который недавно попал в тяжелую катастрофу. У меня сохранилась газета, в которой сказано: «После авиационной катастрофы медики так определили состояние здоровья Мосолова: перелом костей правой голени и левого плеча, левая рука сломана в трех местах, тяжелая травма головы, сотрясение мозга, открытый перелом бедра». Девять месяцев он пролежал в больнице, четыре раза у него было состояние клинической смерти — и каждый раз врачи возвращали ему жизнь!..

И он не только выжил, но и решил опять летать! Он начал с катка, потому что когда-то хорошо бегал на коньках. И вот Мосолов не мог сделать ни шага на льду — качался, падал. Даже не верилось, что всего полтора года назад он хорошо катался. Он снова учился бегать на коньках!..

Как хорошо, что я познакомилась с таким человеком: мне стало стыдно за свое безволие. А, будь что будет!

Я позвонила в конькобежную федерацию:

— Хочу бежать в отборочных.

Я знала: еще осталось одно место в сборной команде страны. Можно было сделать последнюю попытку: выиграть отборочные старты, вылететь в Австрию, а там... Правда, не привыкла я бороться за место запасной участницы. Ну, да что же делать? Хочется побывать на олимпиаде. Хочется, и все тут! В Австрии я за неделю вошла бы в форму. Главное — знать, что ты нужна.

Руководители сборной пообещали:

— Если выиграешь у Гулите и Пановой, то можешь считать, что полетишь в Инсбрук.

— Только у них? — переспросила я.

— У нас нет других кандидатов. Так что выигрывай...

Свой график я составила исходя из результатов обеих соперниц. Хорошо «прокатила» дистанцию, опередила их, но... проиграла Кларе Нестеровой. Я обрадовалась: путевка добыта, проигрыш Кларе не играет никакой роли: ведь Нестерова не специалист в «марафоне». Итак, я еду на олимпиаду!

И вдруг тренер сборной Елена Степаненко сказала:

— Не обижайся, Инга. В Инсбрук поедет Клара.

— А как же обещание? — растерялась я.

— Изменились обстоятельства...

— Но ведь меня берут не за прошлые заслуги, ведь я выиграла!

— Изменились обстоятельства...

«Все! — подумала я. — Все кончилось, самое время уйти из спорта. Неужели уйти? Боже мой, ведь уйти — это самое легкое!..»

Она не ушла из спорта, и в начале марта, победив олимпийскую героиню Лидию Скобликову, Инга в пятый раз стала абсолютной чемпионкой страны.

В который раз перечитываю последнюю страницу неоконченной книги. В прошлом году в финском городе Оулу Инга стала четырехкратной чемпионкой мира. Такого в истории коньков еще не было.

Инга рассказывает о своем последнем вечере в Оулу...

Я бродила одна по заснеженному городу, стояла над морем... Фонари, захлестнутые темнотой. Снег лежит мягкий, но ненадежный. Океан воздуха плывет над Оулу — бури остались позади, и очень хочется жить, работать...

Снег кажется красным — северное сияние полыхает над Оулу.

Ах, жизнь! Радостная, справедливая, совсем хорошая!

И снег!

Снег!

Снег!..

На этом рукопись обрывается.

Я помогал Инге в работе над книгой. Последнее время мы встречались чуть ли не каждый вечер: спешили закончить книгу до очередного первенства мира, которое, кстати сказать, Инга собиралась выиграть. Она мечтала победить и на первенстве мира 1967 года, а затем, выступив на Олимпийских играх в Гренобле, заняться спортивной журналистикой. К тому времени Инга была намерена изучить все скандинавские языки — языки, на которых говорят сильнейшие конькобежцы мира, — а английский она уже знала. Я удивлялся, как быстро и цепко Инга постигает новое для себя ремесло — журналистику. Работа над книгой буквально ее захватила.

Мы должны были встретиться четвертого января, но Инга, всегда пунктуальная, не позвонила! Тогда я сам позвонил ей. То, что я узнал, не укладывалось в сознании: Инга трагически погибла...

ПЫЛЕСОС

Гр. Горин

ПОЧЕМУ ПОВЯЗКА НА НОГЕ?

Рассказ

Есть один анекдот. «Приходит больной к доктору. У больного забинтована нога.

— Что у вас болит? — спрашивает доктор.

— Голова, — отвечает больной.

— А почему же повязка на; ноге?

— Сползла...»

Я как-то рассказал этот анекдот, сидя в гостях у знакомых. Просили рассказать что-нибудь смешное. Вот я и рассказал. Все засмеялись.

Только пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно посмотрел на меня, задумался и затем, перегнувшись через стол, сказал:

— Простите, я, вероятно, что-то не понял... У больного что болело?

— Голова.

— А почему же повязка на ноге?

— Сползла.

— Так, — грустно сказал мужчина и почему-то вздохнул. Потом он снова задумался.

— Не понимаю! — сказал он через несколько минут. — Не улавливаю здесь юмора... Давайте рассуждать логически: у больного же болела голова, да?

— Голова.

— Но почему же повязка была на ноге?

— Сползла!

— Странно! — сказал мужчина и встал из-за стола.

Он подошел к окну и долго курил, задумчиво глядя в темноту. Я пил чай. Через некоторое время он отошел от окна и, подсев ко мне, тихо сказал:

— Режьте меня, не могу понять соль анекдота. Ведь если у человека болит голова, на кой черт ему завязывать ногу?!

— Да он и не завязывал ногу! — сказал я. — Он завязал голову!

— А как же эта повязка оказалась на ноге?

— Сползла...

Он встал и внимательно посмотрел мне в глаза.

— Выйдем отсюда! — вдруг решительно сказал он. — Поговорить надо!

Мы вышли в прихожую.

— Слушайте, — сказал он, положив мне руку на плечо, — это действительно смешной анекдот или вы шутите?

— По-моему, смешной! — сказал я.

— А в чем именно здесь юмор?

— Не знаю, — сказал я. — Смешно, и все!

— Может быть, вы упустили какую-нибудь деталь?

— Какую еще деталь?

— Ну, скажем, больной был одноногим!

— Это еще почему?

— Если принять возможным, что повязка действительно сползла, то она, проползая по всему телу, должна была захватить обе ноги!.. Или же это был одноногий инвалид...

— Нет! — решительно отверг я это предположение. — Больной не был инвалидом!

— Тогда как же повязка оказалась на ноге?

— Сползла! — прошептал я. Он вытер холодный пот.

— Может быть, доктор был Рабинович? — неожиданно спросил он.

— Это в каком смысле? — не понял я.

— Ну, в каком смысле можно быть Рабиновичем?.. В смешном смысле?

— Нет! — отрезал я. — В этом смысле он не был Рабиновичем.

— А кто он был в этом смысле?

— Не знаю! Возможно, англичанин или киргиз...

— Почему киргиз?

— Потому что папа у него был киргиз и мать киргизка...

— Ну да, — понимающе кивнул он, — если родители киргизы, тогда, конечно...

— Вот и славно! — обрадовался я. — Наконец вам все ясно...

— Мне не ясно, что у больноного болело!

— Всего хорошего, — сказал я, надел пальто и пошел домой.

В час ночи у меня зазвонил телефон.

— Это вам насчет анекдота звонят, — услышался в трубке его голос. — Просто не могу уснуть... Эта нога не выходит из головы... Ведь есть же здесь юмор?!

— Есть! — подтвердил я.

— Ну, вот и я понимаю... Я ж не дурак! Я же с образованием... Жене анекдот рассказал — она смеется. А чего смеется, не пойму... Просто не знаю, что делать!

— Спать надо! — сказал я и по-, весил трубку.

Он позвонил мне на следующий вечер.

— Я тут советовался с товарищами, со специалистами, — сказал он. — Все утверждают, что повязка сползти не могла!

— Ну и черт с ней! — закричал я. — Не могла, так не могла! Что вы от меня-то хотите?!

— Я хочу разобраться в этом вопросе, — сердито сказал он. — Для меня это — дело принципа... Я ж на довольно ответственной работе нахожусь... Я обязан быть остроумным!..

Я бросил трубку.

После этого он в течение нескольких дней звонил мне по телефону и даже приходил домой.

Я ругался, плевался, гнал его — все безуспешно.

Он даже не обижался.

Он смотрел на меня своими чистыми, ясными глазами и бубнил:

— Поймите, для меня это необходимо... Я ж за границу часто выезжаю... Я должен понимать юмор!..

Тогда я решил написать о нем рассказ.

Написать о человеке, у которого нет чувства юмора. О человеке, который таинственные законы смешного хочет сухо разложить, как таблицу умножения.

Свой рассказ я отнес в сатирический отдел одного журнала,

Редактор отдела долго смеялся.

— Ну и дуб! — говорил редактор. — Неужели такие бывают!

— Бывают, — сказал я. — Сам видел.

— Что ж, будем печатать, — сказал редактор.

Потом он обнял меня и, наклонившись к самому уху, тихо спросил:

— Ну, а мне-то вы скажите по-секрету: что же у больного все таки болело?..

— Голова... — еле выдавил я.

— А почему же повязка на ноге?!

Я понял, что этот рассказ вряд ли напечатают.